ВСЕВОЛОД ИВАНОВ У L'AGE D'HOMME

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ



роман

L'Age d'Homme



ВСЕВОЛОД ИВАНОВ



РОМАН

L'AGE D'HOMME

Текст подготовил к печати Шарль Бург

© Copyright 1982 by Editions l'Age d'Homme
10, Métropole, 1003 Lausanne, Suisse

". . . Через Я показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность; через О, У, Ы – страшные и сильные вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль".
(Михайло Ломоносов. Риторика. 172. СПБ. 1742 г.)

". . . У! уу! у! – кричал он на разные интонации. Он начал кричать "не хочу" и так продолжал кричать на букву "у".
(Л. Толстой. "Смерть Ивана Ильича")

". . . X, У. . . – знаки индивидуума".
(О.П. Флоренский. "Столп и утверждение истины", глава "Простейшие формулы логистики". М. 1914)

Некоторые подумают, – увидев в начале книги комментарии, – что мы поступили подобно Ю. Цезарю, который, будучи неглупым человеком, ограничился "Commentarii de bello Gallico", но затем, дескать, мы, опомнившись, учтя подлинные свои силы, решили приписать к комментариям роман; некоторые же романов современных не дочитывают или совсем не читают. Утверждаем: как те, так и другие соображения глубоко ложны. Несомненно, имелись у сочинителя кое-какие честолюбивые мысли вроде того: почему, если все его соратники комментируются, примечайничают, ссылайничают, цитатничают, великанствуют и кажется им, что слава их гремит от океана к океану, он. . . свирепо уничтожил эти мысли при самом их зарождении!

Соображение, что пухлые и вязкие книги моих современников не дочитывают, ложно уже потому, что прилагаемая книга будет не менее пухлой, излишне касаться и вязкости, – это определение страдает явной расплывчивостью, требуя уточнения, толковать данный термин мы будем при другом, более удобном случае; сейчас же, воздвигая комментарии, мы хотим сказать: роман – романом, черт его знает, удачный ли он, интересный ли, грустный ли, веселый ли или просто чепуха на постном масле, а комментарии – верное дело: мысли в них чужие, а, значит, и полезные, можно их без вреда сообщить всем своим знакомым; касаясь остального печатного дела, идущего за комментариями, очень возможно, что вы с ним целиком и не ознакомитесь: книга большая, а несчастий еще больше, и несчастий самых удивительных: так ли давно читали мы в "Вечерней Москве", что грузовик, проломив кирпичную стену дома, скатился на жилплощадь человека, совершенно чуждого шоферу. Представьте, что человек этот читал наше сочинение! А стрелочники? . . Извините нас, милые стрелочники, но почему вы так любите выпивку? А консервы, исполняющие совершенно не свойственные им обязанности?

Или просто-напросто книгу стащат, если, скажем, человек, страдающий бессонницей, увидит, что вы заснули над сочинением, и, наконец, разве было мало случаев, когда роман, сегодня совсем идеологически выдержанный, на другой день претерпевал крушения, и стрелочник, не дочитав, отбрасывал его в страшном негодовании, напивался, – и в поезде иная книга иным читателем отбрасывалась в страшном негодовании, правда, по иной, чем у стрелочника, причине.

Исходя из вышеизложенного, мы и нашли распронаилучшим поместить в начале нашего труда примечания, ибо, будучи до ломоты в мозгу продолжателями славных литературных традиций, мы решительно встали на точку зрения редакторов, для которых более важны комментарии, чем текст. Кроме того, неизвестно – будет ли окончена эта книга, и тогда, что же, жить ей без комментариев? Боже упаси! Честолюбие – огонь эпохи, если не жизни вообще.

Итак, комментарии.

К стр. 2-й, строка 4 1/2. – Цитируется из книги Хуан Бо-ду "Сборник мнений для выяснения истины", – "Когда однажды приказали ему вымыть ночной горшок, то он мыл его, вывернув наизнанку и, вымыв, снова вывернул его налицо; при этом горшок был мягок, как баранья или свиная селезенка" (стр 219, Пекин, 1885 г.)

К стр. 7-й, 16 строка сверху. Л.И. Черпанов переиначивает слова А.Ф. Вельтмана из романа "Счастье – несчастье" (М. 1863, гл. VI, ч. I): "Науки мудрости человеческой до сих пор не определили: что такое счастье? Трудно и определить. Счастье есть что-то такое *вовремя* и *кстати*, с присовокуплением еще чего-то".

К стр. 35-й, второй абзац. Составитель, в перевранном виде, приводит слова Стерна из "Сентиментального путешествия", ч. I, глава "Способ примечать" (М. 1806): "Я не знаю, послужит ли мой труд чему-нибудь доброму? Может быть, другому удается лучше. Какая нужда! Я делаю только один опыт о свойстве человека. Потеря не важная: одни труды, зато – я нахожу *удовольствие* в испытании". С этим никак согласиться нельзя. Ясно для каждого, что автор, как и большинство писателей, страдает преувеличением своих достоинств.

К стр. 77, левый абзац. Здесь с чрезвычайной яркостью видно бергсонианство Л.И. Черпанова. Сравните сказанное им со следующими словами А. Бергсона из "Творческой эволюции" (М. 1909, пер. М. Булгакова, стр. 217): "Роль случайностей вообще очень велика в развитии жизни. Чаще всего случайными являются формы приспособления или, вернее, изобретения. Случайной и относительной

к препятствиям, встретившимся в определенном месте и в определенный момент, является первоначальная тенденция, раздробленная на определенные и дополняющие друг друга тенденции, создающие создающиеся линии развития. Случайные остановки и обратные движения в широкой мере являются случайными приспособлениями. Только две вещи необходимы: во-первых, непрерывное накопление энергии, во-вторых эластичная канализация этой энергии, в различных, не поддающихся определению, направлениях, в конце которых находятся свободные действия". Как жаль, что Егор Егорыч отделывается зубоскальством!

К стр. 90. – Дядя Савелий ссылается на Б. Спинозу: "Политический трактат" М. 1901, гл. VII, 5): "Кроме того, несомненно, что каждый предпочитает управлять, нежели быть управляемым". "Ибо никто не уступает добровольно власти другому" – как говорит Саллюстий в своей первой речи к Цесарю".

К стр. 102 – Л.И. Черпанов, касаясь своей деятельности, приводит басенку стихотворца 18 в. Марина:

"Вверху, на дереве высоком,
Увидев червяка, орел
Спросил с надменным, гордым оком:
"Ты, дерзкий, как сюда зашел?"
– Вы, как орел, сударь, взлетели,
А я. . . дополз до той же цели!"

К стр. 120.– Д-р М.И. Андрейшин, говоря о таинственности, хочет сказать "Forma ideel Purissima Della bolessa eterna" (Arigo Boito. Mefistofele, 47).

Дальше цитата из "Логики" Гегеля (М. 1928. Т. 1. § 80): "Образованный человек не удовлетворяется туманным и неопределенным, а схватывает предметы в их четкой определенности; необразованный же, напротив, неуверенно шатается туда и сюда, и часто приходится употреблять немало труда, чтобы договориться с таким человеком – о чем же идет речь, и заставить его неизменно держаться именно этого определенного пункта". Д-р, видимо, желает сказать, что его поступки ведут к закреплению той "определенности", которую он вызвал у обитателей дома № 42.

К стр. 15. Из "Пролога" аристофановских "Всадников":
Демосфен: Ах, нет, не надо брюквы эврипидовской
Как нам уйти, придумай, от хозяина.

Никий: Так говори: "дерем" – слоги подряд связав.
Демосфен: Ну вот, сказал: "дерем".
Никий: Теперь прибавь еще
"у" перед "де" и "рем"!
Демосфен: "У".
Никий: Так, пори теперь
"Дерем", а после "у" – скороговоркою.
Демосфен: Де-рем, у-де-рем, у-де-рем!
Никий: Ага, ну, что?

К стр. 48. – Вспомните книгу Ф. Аттара "Бульбуль-нимэ" (24)?
Ответ соловья попугаю:

Попугаю он сказал: "О птица, пожирающая сахар, ты никогда не болела сердцем, как я. Ты торгуешь красноречием, лишенным остроты, а ведь сначала нужна острота, а потом уже красноречие. Если бы ты не болтал так глупо, ты не стал бы никогда пленником клетки. Если ты изучишь науки всего мира, но не узнаешь любви, ты не узнаешь ничего!"

К стр. 160 и далее. – Для сопоставления слов Черпанова и Дарвина уместно было б привести слова известного противника социализма д-ра А.З.Ф. Шефле из книги его "Капитализм и социализм" (М. 1871, стр. 242): "Коммунизм ведет к уничтожению *семейного* элемента и *всякой* собственности; обвинение это всего чаще повторяется, но и оно несправедливо. Коммунизм не требует уничтожения "всякой" собственности; он восстает только против "частной собственности", вместо которой он хочет упрочить коллективную собственность рода или общины. Коммунизм отнюдь не требует также совершенного уничтожения общепринятых брачных отношений; напротив, он стремится освободить эти отношения от развращающего их в настоящее время элемента, когда все брачные решения определяются деньгами. Что же касается дикого полового общения, то коммунисты желают и могли бы обуздать его. Во всяком случае богатому современному миру либералов, где распутство возрастает в омерзительной пропорции, где скандальные хроники достигают колоссальных размеров, где нарушение супружеской верности становится обыденным явлением, этому миру не приходится делать никаких упреков коммунистам". Не забудьте, что это написано более 60 лет назад яростным врагом коммунизма!

К стр. 171, середина. – "У", так называется одна небольшая сибирская река, текущая с востока на запад, верст с 200 и впадающая в реку Иртыш с правой стороны. Верховье ее в Томской губернии в

Нарымском уезде, а исток в Тарском уезде Тобольской губернии". (Словарь географический Российского государства. М. 1808, часть 6).

По наведенным справкам (Геогр. стат. Словарь Российской Империи, СПБ, 1863, Атлас Азиатской России, СПБ, 1914. Большой Атлас Маркса, 1905 и т.д.) таковой реки нами не обнаружено. Одно из двух – или врет Л.И. Черпанов, или по каким-то причинам с 1808 по 1928 река У была законсервирована.

К стр. 200. – Д-р М.И. Андрейшин упоминает труды Aster E. "Grosse Deuker" Buuke, O-Psychologische Vorlesunger 1919, а также труды Фрейда, Кречмера, Ганушкина П.Б. – "Психиатрия", 1924, Корсакова, Осипова В.П., Павлова И.П., Бехтерева Б.М., Э. Крепелин, Н. Баженова, В.И. Яковенко, в общей сложности 1700 трудов.

К стр. 250. – "Граф Нулин" отдельным изданием выпущен в 1827 г., а сам автор скончался в 1837.

Великая империалистическая война началась в 1914 г.

"Пустыня" – необитаемое место.

"Рефрактор" – астрономическая зрительная труба.

"Сурочина" – мясо сурка.

"Минеральные воды" – город.

Ко всем страницам и предыдущим примечаниям

И вот, наконец, с грустью мы должны сознаться, что дальше в предлагаемой книге напрасно любители точности поищут, соответственно примечаниям, подходящих текстовых установок. *Их нет!* А если и найдутся похожие места, то они выросли сами собой, и с трудом вы вольете в них цитатные дрожжи. "Зачем же вы нам морочите голову! – воскликнет иной любитель точности. – Этак я обжалую если не поступки составителя, то издательства". – "Затем, – ответит автор, – чтоб ты уважал составителя, ценил его деликатное обращение с печатным словом. Есть здесь вводная статья на 700 страниц? Нету. А критико-биографическая на 970? Нету. Указатель имен на 130? Словарь древнегреческих слов, хотя и не упоминаемых, но необходимых для упоминания в 121 страницу? Статья о частном капитале в реконструктивный период 550 страниц? Положение и экономика православной церкви в связи с разрушением Храма Христа Спасителя и рассказом о Жаворонке – 70 страниц? Нет, нет и нет! Если даже и откинуть сорок одну страницу, как преувеличение соста-

вителя, то и тогда он сберег вам 2500 страничек чистоганом. Умейте писать, молодые люди!"

Сэкономив 2500 страниц, мы имеем возможность сказать откровенно, что помимо прочего, приятно продемонстрировать свою начитанность, ибо цитаточки подлинные, незаношенные, из книг составителя, а значит, и книги тоже не цыпленок собирал; приятно будет поднести книгу, где имя наше представлено самым достойным образом какому-нибудь высоковзнесенному товарищу или нежноласкаемому существу, коим, в данном случае, мы наметили младенца нашего, родившегося в те дни, когда назревали события, описанные в "У" и когда составитель расколол очки и, грустно глядя на стекляшки, вспомнил "магический кристалл", трудноразбиваемый, потому что. . .

(Примечание к предыдущему примечанию: "магический кристалл" древних суть некий отграненный камень, который употребляли близорукие. Нерон, по преданию, смотрел пожар Рима сквозь изумруд. Из детских воспоминаний – хрестоматийных).

Продолжение "Ко всем страницам и ко всем предыдущим примечаниям"

. . . но, прислушиваясь к удивительно выразительному реву новорожденного, составитель понял, что и в древнем Риме он едва ли обладал бы "магическим кристаллом", и он склонился попросту ниже с тем, чтобы выписать из "Учебника математики":

. . . "когда независимая переменная – X и функция ее – Y связаны между собою уравнением, не решенным относительно Y, тогда Y называется неясной функцией от – X. . ."

Вошел профессор и, вытирая полотенцем мокрые руки, сказал:

– У, какой большеголовый! Психиатром быть. Психиатрия, дорогой мой, самая сложнейшая и темная наука. Вот куда потребуются большеголовые, да-с, милый мой составитель!

Составитель откинул "Учебник математики":

– Вы находите, профессор, что женщины более пригодны для психиатрии? Пожалуй, вы правы. Их мягкость, нежность, ласковость! . . Приятно, когда она в белом развевающемся халате, похожем на утреннее облако, проходит мимо мрачных и темных душ. А сад, где больной встречает ее мягкое лицо? Цветет сирень. Желтые дорожки сада словно из того крепдешина, который она, скинув ха-

лат. . . А ее глаза цвета моих любимых чернил? Я уже обожаю свою дочь, профессор, хотя, черт побери. . .

– Он мальчик, мальчик, успокойтесь. Ему быть психиатром, он большеголовый, у! . . Тише, вы.

Я его назову Вячеславом! В честь моего отца, которого спасли психиатры. Это было лет двадцать назад. Надеюсь, мой сын будет более удачным психиатром, чем те, которые спасали его деда. Решено, профессор. Я его называю Вячеславом. Большеголовый Вячеслав, у! . . Но пристойно ли к большой голове – Вячеслав? Не подходит сюда Лука, Пров, Сил, Савватий, Зосима, Ермил, Аким? Короче, чтоб сразу каждый мог запомнить имя большеголового психиатра. Нет, зачем перерешать? Назовем его Вячеславом!

– Пожалуйста, пожалуйста, дорогой мой. Однако, вам пора продолжать вашу работу. Я помешал вам? Но рождение сына не столь даже часто, как рождение романа. Добро, если роман ваш не будет большеголовым.

– Воспринимайте детей, а не отбивайте хлеб у критиков, – сухо сказал я: – Преимущество моего сына перед моим романом состоит в том, что счастье сына я еще могу увидеть, а что такое счастье романа? Тиражи? Вербицкая читалась больше Л. Толстого, а сейчас Е. Зозуля кажется иным мудрее Хлебникова. Долголетие? Улови его. От Гомера уцелело только одно имя, хотя книги его у многих и стоят на полках. А кто читал Данте? Прибавьте к этому еще то, профессор, что десятилетие будущего родит гениев чаще, чем столетие прошлого. Что же такое счастье моей книги, профессор?

– Смех.

– Над чем?

– Над своим несчастьем.

– А если оно выдумано?

– Так над выдуманным несчастьем только и смеются.

– Бергсонианство, профессор, бергсонианство!

– А я бы предпочел воспринимать еще одного вашего ребенка, чем роман. Пожалуй, желая снять с себя ответственность за высказывания о судьбе современного романа, вы печатно назовете мою фамилию, – так и не поняв моих возражений.

– Вы лезете в роман, профессор! А у нас и без вас что-то слишком много профессоров в романах. Кающегося дворянина заменяет кающийся профессор! Вы столь же неправдоподобны, профессор, как и моя книга. Вы восприняли ребенка, и счастье его вам неизвестно. Я воспринял книгу, и счастье ее тоже неизвестно.

– Пускай растут. Может быть, кого-нибудь да и вылечат.

– Позвольте, лечить выдумкой удастся только выдуманные болезни. А как же быть с реальностью?

– Все реально в этом мире, дорогой мой. Выдумка, миф, роман, сказка – созданы человеком и в человеке. Материя, организованная человеком, есть время. Движение материи есть пространство. Материя и человек – вот главная сказка, от нее да не отыдешь. И смех – смех человека над побежденной материей – не есть ли главное счастье и заслуга человека, и книги, конечно. Итак. . .

– Профессор! Были бы младенцы, а восприемники подбегут!

Ко всем примечаниям, ссылкам и прочей ерунде
(обобщение)

Савелий Львович ложился ровно в десять вечера и вставал ровно пятнадцать минут шестого. Десять минут он крестил лоб и грудь, восемнадцать минут умывался, а все остальное время до восьми часов пил чай и зашивал подтяжки. Это расписание, созданное в иное время, он не изменил и ради Октябрьской революции, разве что отнял из восемнадцати минут умывания четыре минуты на растирание поясницы. Поясница не то, чтоб болела или ныла, просто в его возрасте она дала себя чувствовать. Многие в его возрасте начинали и раньше потирать ее.

В это утро, держа белесые подтяжки на мизинце левой руки, а большим и указательным – иголку с ниткой, он вступил в комнату племянниц своих, которая была одновременно и комнатой племянников его и складом дров, вступил с удивительными для него торжествующими словами:

– Наконец-то, советская власть победила!

"Почему эти слова вложены в уста врага?" – может подумать некоторый легкомысленный слушатель.

Ну, почему так уж – сразу-то? Савелий Львович сам себя не считал и другие не считали его врагом. Много лет назад он первый пошел на службу к советской власти. Когда разрешили НЭП, он спекулировал скромно. Когда припихнули НЭП – он притих и поступил на службу. Когда вычистили, он не протестовал, он не имел никаких разрушительных планов, ни о чем не мечтал, даже о пышках, хотя любил пышки и сливки. Он и в друзья к большевикам не лез, хотя и обожал парады. "Просто произошел какой-то поворот истории и я

понял, что выкинут; таких людей не так чтобы много, но есть. На этом повороте я выкинут!"

Впрочем, так он думал из-за того, что он забыл натянуть подтяжки. Он их теперь зашивал ежедневно. Но выходить по делам было некуда.

Вы, наверное, помните этот год: ломали храм Христа Спасителя. Это было для обывателя, пожалуй, пострашнее, чем октябрьский переворот. Тут же завершалась коллективизация, строились заводы, перло поезда с импортным оборудованием. "Лимитрофы", задыхаясь от злости, пропускали их. Москва внезапно перекрасилась, вредители каялись и строили удивительные самолеты, домны, – и все-таки для обывателя было самое удивительное – разрушение храма Христа Спасителя. Эту громаду! Громада символизировала бога. Золота на восемьсот тысяч рублей на куполе! Это вещь. Весь мрамором обложен, – когда вокруг Москвы нет ничего, кроме кирпичных заводов. Здесь-то обитал бог и его прогнали, обнесли сиреневым забором, взорвали. Ходил слух, что не взорвали, а он самым благополучнейшим образом ухнул и пополз вниз. И серенькое оловянное небо по-прежнему блестело над Москвой. Этим-то мы объясняем, что чесоточные души и клоповьи души поверили тем удивительным событиям, которые мы желаем рассказать и вам. Итак:

Семейные смотрели на него с удивлением, а Савелий Львович поднял высоко над головой палец, на котором моталась нервно подтяжка, и повторил:

– Наконец-то советская власть победила! В чем ее победа?

Здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов о семействе и ближайших родственниках Савелия Львовича.

I

Если в дальнейшем я ничего не упомяну о Савелии Львовиче и его семействе – считайте вышесказанное за символ. В наш век точных знаний и точной чепухи это не так-то уж плохо.

Простите, можно начать по существу?

Легонько подскочив, – вернее не подскочив, а осторожненько, но быстро, что и дало впечатление скока, так пробираются

скользкой жижею, каковой в данном случае было для него решение заговорить с Л.И. Черпановым, – доктор Матвей Иванович дерзко махнул рукой у лица Черпанова, словно сковыривая ему прочь усы сконсового вида; удивительного вида, если принять во внимание, что обладателю их никак не более двадцати двух лет. Вот сколехонько мне боязно думать, что я сколочу вам плохое объяснение поспешности, с которой доктор Матвей Иванович Андрейшин покатился перед Леоном Ионовичем Черпановым, покатился, выбив у меня бедром узелок из рук и смяв в пыльный комок жареную курицу. Естественно, – Черпанов на попытку сблизиться с ним посредством сбивания его невероятных усов ответил кулаком, но выводить отсюда, что мы – Матвей Иваныч и я – хулиганы, смогут люди, охваченные глубокой скорбью или недугом. Началось с того, что доктор М.И. Андрейшин, он же "Сковыриватель", не доходя до "сковырыша" метров двадцати, остановился в полуоборот, левой рукой двигая в направлении ко мне, давая понять, что сейчас произойдет какое-то сковырянье. На расстоянии двадцати метров трудно, – особенно идя улицей, – разглядеть кого-либо, если б то был не Черпанов. Еще у вокзала доктор Матвей Иванович, доказывая "надобность с ним свыкаться", упомянул о мягкой чванливости бесчисленных его карманов, его сконсовых усов особой маститости, его двадцатидвухлетней способности истолочь, взбить в комок любое препятствие, сгубить рецензией любое предприятие или мысль, – одним словом – сковырыш был "человек-барокко". И точно, с гигантской пышностью обработаны его губы, совмещающие древний мотив висячей арки (посредством сконсовых усов) с обычными в барокко вычурными "разрезными фронтонами" – я говорю о его синем велосипедном костюме и бесчисленности его карманов, – сопровождаемыми колоннами рук и ног, сплошь увитыми так же, как и фронтон, – подобием виноградных лоз, – масляными пятнами. Отколе-то из барокко проскальзывала на его сухое лицо богатая розовость и жажда сковырять, сплести, сделать. Такие люди с младенчества обвешиваются вещами. Вначале вы замечаете перочинный ножик, прикрепленный к поясу на чудовищной медной цепочке, затем записные книжки с ассортиментом карандашей, бумажники, пробочники, зеркальца, – и к двадцати годам он таскает всевозможной дряни вряд ли меньше четверти веса своего тела. Здесь вы найдете несколько часов, не считая тех, которые на руке, запасные стекла и части к часам, потому что такой человек считает себя способным починить любой механизм, фотоаппарат, фонарь, десяток ножей, чернильницу, складной

волейбольный мяч, "вечное перо", берестовые портсигары, резиновые. Он обрастает карманами, сумками, и как скоп всего — портфель. И как скоп портфелей — чемодан. Чемодан с необычайной быстротой подвигает его к какому-либо дивному действию, пока не превратится он в недотрогу, описывать которого вовсе не тема наших воспоминаний. Скажу короче: я уважаю таких людей, они часто сбреховаты, бестолково скоростны, но умеют они сберечь в себе что-нибудь мудреное, да и скопытить их с места трудно. Сейчас, приглядываясь к сковырьшу с помощью телескопа, каким по отношению к людям был доктор Матвей Иванович, я бы сказал, что в запасе у сковырьша уже имелись мыслишки и делишки, но для полного поднятия его на ноги ему мешала некая провинциальность прискорбная и страждущая, требующая проверки. Экое огорчение, провинциальность, — скажете вы. Уверяю, что это самое ежистое для подобных людей. Дабы одолеть это горе-горькое, этот штамп отсталости, они возьмутся за невероятнейшее, за чудовищное дело. Поглядеть бы вам, как он наблюдал черный, разбиваемый купол храма Христа Спасителя, и какое недовольство было на его лице. "Что бы приехать пораньше, — думал он, — не меня ли страждали здесь для разбора храма? А теперь десять лет будете разбирать и не разберете! Кому я выложу свои сомнения, перед кем облегчу себя, как мне не унизиться, не сконфузиться, не упасть в общем состоянии? Позвольте, — скороного мчался он, — но разве мала ценность поручения, данного мне, разве оно скорогибло? . ."

В противовес "сковырьшу", "сковырятелю" свойственен был некий "московский классицизм", поскольку сопутствует классицизм двадцатишестигодовалому. Доктору столько же нужна была бедность украшений, подчеркивающая общую величавость его масс, сколько тяжелая аркада его ног высила, как стройный портик, его туловище, где на глухом и низком барабане его плеч вздымался купол, расплывчатые формы которого оживлялись узкими полузакрытыми глазами и острогубым ртом, качество которого состояло в "умении снимать, расстегивая, путаницу и подделку". Имел ли он к этому способности, покажут мои дальнейшие строки, по возможности применить свое умение он искал усердно. Среди прочих способов разговора с незнакомыми, которых он, не без основания, сплошь принимал за оппонентов, Матвей Иванович ценил несколько: "лукавый способ", это когда он считал, что прикидывается простачком. Основной удар здесь направлялся на то, чтобы верить всему говоримому оппонентом. Обычно, знакомство оканчивалось крупной ссо-

рой. "Трескучий" – когда он сыпал цитатами. Он был великий мастер цитат, особенно в области философии и техники. Оппонент балдевал, отдавался в полное распоряжение или сбегал. "Научный" от трескучего отличался только большей длиной цитат, содержа, в промежутки, меньшее количество собственных мыслей. Насколько способ этот увеличивал докторское удовольствие и веру его в слово, настолько же оппонент возвращался домой как бы одряхлевшим, как бы из изгнания. И, наконец, – "сказкообразный". Доктор презирал этот способ разговора, прибегая к нему в крайнем случае, когда объект казался ему антипатичным, малокультурным, тупым, но внимание которого необходимо было разбудить. Он шлепал оппонента по затылку, трепал по щеке, дергал за уши, орал, стучал каблуками, Аристотеля, Канта, Гегеля, Фейербаха, Руссо и прочих он откидывал, здесь он сыпал Чеховым, Мопассаном, Толстым, поэтами и анекдотистами. Отношения портились сразу, но дурные стороны характера оппонента он слагал перед собой – и тогда он произносил заключительную речь. Должен сказать, что я еще не встречал человека, которому так, как доктору сопутствовали речи, особенно заключительные. Доктор составлял речь, когда угодно и сколько угодно. Стоило ему поднести правую ладонь на уровень уха, и двигая ею вдоль и поперек, как бы пропуская в ухо ритм, – и объяснения, почему в данном случае содержится то, заключается, находится сущность, служит или числится и что состоится, исполнится или сбудется и чем оно завершится, – двинет он на нас мощным фронтом. Не беда, если он отнимал руку от уха почесать затылок или достать папиросу, качество речи оставалось на прежней высоте, к тому же рука быстро возвращалась в основное положение. Высказывалось много вариантов о причине брожения правой руки доктора подле его правого уха. Утверждали, что он в детстве страдал глухотой, но утверждали также, что он был влюблен, и невеста осмеяла на всю жизнь его уши, хотя, по-моему, этот вариант мало правдоподобен, так как, если и было, действительно, в докторе что-то от "московского классицизма", так именно его безукоризненно красивые уши. Говорили, что доктор подражает знаменитому доктору Б., фиксируя внимание слушателей на "современном", ибо профессор Б. едва лишь начинал говорить о достижениях современной науки, как немедленно подносил к левому уху правую руку. Утверждение этого тоже не покрывает поступки доктора, потому что, во-первых, профессор Б. физик, а не психиатр, а во-вторых, подносит правую руку к левому уху, в то время как доктор подносит правую руку к правому уху, какой жест, по-

моему, гораздо изящнее жеста профессора Б. Хотя, как физик, он бы должен знать законы тонких движений!

Итак, "сковыриватель", приблизившись к "сковырьшу" еще метра на три, положил левую руку ко мне на узелок с продовольствием, а правую руку поднес к уху. Сковырыш стоял в воротах дома № 42. В Москве много таких деревянных особняков, выстроенных давно, грубо и плоско "под ампир" с кривыми деревянными колоннами, с узкими окнами. Ремонтировать их невыгодно, да и невозможно; их или сносят, или они неблагополучно догнивают. Различные ступени разрушения можно было наблюдать здесь, ибо всю эту группу домов, встававшую вокруг нас, санитарные характеристики, составленные при помощи новейших статистических способов, отнесли бы к "району невропсихологической вредности", — буде удалось бы сюда проникнуть врачам и сестрам социальной помощи для психопатологического обследования. Попросту говоря, в таких домах доживают свой век или неудачники, или нетрудоспособные, или, особенно в последнее время, в них селятся провинциалы, приехавшие в Москву на работу, или, чаще всего, сезонники, а в данном случае, судя по намекам доктора Матвея Ивановича, жили люди "пограничных случаев малой психиатрии". "Да, — думал я, — не задача доктору Матвею Ивановичу Андрейшину влюбиться в девушку, обитающую в таком доме. Впрочем, что ж, оно даже и любопытно — попрощаться с девушкой, поболтать четверть часа — и на трамвай, и на вокзал и за границу, на съезд по вопросам криминальной психологии!

II

— Бывали ли вы здесь раньше, Егор Егорыч? — начал доктор. — Видали ль вы Черпанова? Отведайте его! Выдающийся homo. Уже сочетание букв в его имени указывает на игру каких-то особых обстоятельств. Сейчас он уполномоченный по вербовке рабсилы для Урала. А кто он был раньше? Ему двадцать два, но люди с такой душой рано отрываются от сосцов. Я проходил здесь вчера. Мимо! Я бы вошел в дом и вчера, попадись мне в голову более удачная формулировка причины моего появления. Проходя, я заметил его горесть. Сегодня он спокойнее. Вчера я ему сказал, что по-видимому, он за-

вербует нас первыми. Вчера он шел ко мне, а сегодня он стоит в воротах, и я иду к нему.

Доктор отмерил еще несколько метров. Я сказал ему, что, возможно, ему скучно уезжать за границу, но мне хочется использовать свой железнодорожный билет и свою путевку. Доктор возразил, что он склонен использовать благоразумно и свой билет, и мою путевку. Мы поровнялись с воротами. Булыжный двор дымился жаркой пылью. Доктор приподнял шляпу. Черпанов обратно приложил руку к кожаной фуражке, и не знаю, то ли он просто хотел потереть ухо, то ли с нетерпением желал услышать от доктора его сообщение, но как бы то ни было, – он поднес правую ладонь к правому уху. Доктор еще раз колыхнул шляпой, теперь уже пренебрежительно. По тому, как он беседовал со мной, я склонен был думать, что к Черпанову он применит способ трескучий или, на худой конец, научный. Однако, поступок его с правым ухом и правой рукой доктор счел признаком или подражания или насмешки: то и другое требовало скачкообразного способа. Вот почему доктор остающиеся пять метров пробежал вприскочку – и ковырнул возле сконсовых усов, как бы желая их сорвать.

Без малейшего противоборствования Черпанов вынул портфель, икнул – и рухнул на колени.

Доктор привык спорить и побеждать, но осилить так быстро показалось даже ему странным. Он наклонился к Черпанову: не убился ли тот. Черпанов стоял на четвереньках, выпятив синий зад, украшенный маслянистыми лозами. Он попятился, едва доктор приблизился к нему. Он очищал место! Бок о бок с ним жаркий ветерок покачивал дряхлые ворота.

Доктор поднял руку к уху: левую к левому. Я понял это как крайнюю растерянность.

– Мои интересы близки вашим, Черпанов. Будем соседями. Соседи характеризуются обычно ссорами. На какой-то короткий промежуток мы обойдемся без ссор. Наконец, мы обсудим, ехать ли с вами на Урал, если вы для упрашивания считаете необходимым принять столь унизительную позу.

Черпанов поднял голову, вгляделся, отнял руки от булыжника. Присел на корточки. Потянулся было к портфелю. Доктор тщетно водил левой рукой возле левого уха.

– Позвольте, – воскликнул, приглядываясь, Черпанов. – Позвольте, мы поверстаемся! Вы же не Лебедевы, честное слово, не Лебедевы!

– Не Лебедевы, – скромно ответил доктор.

Черпанов вскочил. И тут кулак его в пагубном бешенстве понесся по всему пространству ворот и опустился на голову доктора! Матвей Иванович присел. Я устремился к Черпанову. Вторично кулак нарисовал параболу ворот, приближаясь к моему уху. Я поднял навстречу узелок с провизией, который мы запасли в дорогу. Кулак пробил узелок. По тротуару покатились булочки, пирожки, куски колбасы, яйца.

– Нужно ловить яйца! – воскликнул лежа доктор. – На них сделал карьеру Христофор Колумб. Мы будем питаться яйцами в далекой дороге к вам на Урал.

– На Урал? – переспросил Черпанов, сдерживая кулак. – Удивляюсь!

– Да, я пришел с тем, чтобы поехать с вами на Урал.

Черпанов опустил кулаки.

– Да ты что, безработный?

– Безработный, и мой товарищ тоже.

– И товарищ безработный? Три дня хожу по Москве – и нашел впервые безработных. Инженеры?

– Нет.

– Техник?

– Доктор. Уха, горла и носа.

– Матвей Иваныч! . . – воскликнул я. – Куда махнули?

– Уха, горла и носа, Егор Егорыч. Что же касается моего товарища, Леон Ионыч, он рожден секретарем.

– Беру и его! – И Черпанов, разжав кулаки, уже не приседая, а склонившись корпусом, кинулся собирать яйца. Доктор сел на скрещенные ноги, поднял правую руку к правому уху. Оно у него явно отличалось цветом от противоположного, но доктор был скорее широк, чем низок. Отпала какая-то частица, "сковырушка", – и доктор мог говорить.

– Удивительно наблюдать, – начал он: – когда уже открыты все новые земли, человечество еще бредит Колумбом. Путешествия вдоль земли кончились, пора вглубь, и недаром хитрый Колумб разбил яйцо. Он боялся, что его забудут. И теперь он постоянно напоминает нам о себе. Мы разбиваем скорлупу планеты и скорлупу наших чувств. А он, древний, стоит подле нас и хочет нас увлечь вдоль пространства. . . Как вы относитесь к Колумбу, Черпанов?

– Уважаю, – сказал Черпанов, помогая мне завязать узелок.

III

Вернусь назад, обозревая ненаписанные главы. Приятны такие возвращения; мелькают перед тобой годы; люди стареют, растут или вообще их не замечаешь; не нужна мебель, одежда, да и насчет описания физиономий тоже туго: или спутаешь, или явно наврешь. так что и самому противно перечитывать; от разговоров остается только главное (по твоим понятиям, конечно); от любви – наиболее легкое и приятное; от злобы – бегство и ничтожество твоих врагов!

Последние два года я провел в должности счетовода психиатрической больницы имени Э. Крепелина, что в полутора часах езды от Москвы. Больница наша почти отлично оборудована, с прекрасным медицинским персоналом, великолепно снабжается благодаря своему хозяйству: имеем свою молочную ферму, огороды, птичий двор, где гуляет удивительно рослый племенной петух, серый с синим – до того налит густой и мощной кровью – гребнем, прозванный "Наполеоном", есть лесопилка, кузница. Директор, выдающийся специалист клинико-нозологической психиатрии проф. Ч., пользуется отменным авторитетом среди общественности. Работы у меня было много, но работы легкой, я хорошо питался, занимался спортом и – в силу свойственного мне честолюбия, которого мне до сего времени никак не удавалось не только насытить, но даже вот этакенькую – с горошинку – капельку, проглотить, – я мечтал, бродил берегом Москвы-реки, рыбачил, читал: то по химии, то по ботанике, то по стиховедению, а в общем-то считал себя посредственностью, в силу чего и мечтишки мои были посредственные. Однажды, на теннисной площадке, я познакомился с доктором Андрейшиным, ординатором палаты "полуспокойных".

Матвей Андрейшин, сын сельского учителя, еще в юности обнаружил редкий дар красноречия. Летом 1918 года, под Казанью, его старший брат председательствовал на каком-то Уисполкоме. Семья Андрейшиных славилась храбростью, – председатель Уисполкома превосходил всех. Случилось, что чехословаки напали на городок. Часть уездных красногвардейцев защищалась, а часть струсила и бросилась к пристани, где груженный продовольствием и снарядами, стоял пароход "К. Колумб". Председателя отправили остановить дрогнувших. Он вскочил на коня столь взволнованный, что не заме-

тил, как младший брат уселся позади седла, вцепившись в хвост. Поскакав к пароходу, который дымился, шипел, клокотал и собирался показать великолепное "драпала", председатель остановил круто коня, выхватил маузер (утверждают, что он держал его в правой руке, подняв до уровня правого уха, я этому не верю: рука дрогнет) и потряс всю пристань удивительной и ловко склеенной, как соты, бранью. Красногвардейцы тоже бранились и тем временем втаскивали дрожащие трапы и торопили кочегаров. Тогда Матвей – это было его первое изречение (говорят, оно заимствовано, – какая беда! – первые работы А. Пушкина были тоже зело робки и подражательны) – сказал, держась за хвост: "В ругани побеждает тот, кто молчит!" Брат обернулся к нему: "Выпалю я!" – сказал он. Матвей ответил ему, что вряд ли выпалит больше одного патрона, а пусть-ка он говорит, что ему будет подсказывать Матвей, так как сам Матвей не обладает сотрясающим голосом.

Через полчаса трап, дрогнув, потащился обратно, а через час красногвардейцы вскинули винтовки – и "чехи сотряслись и полки их разверзлись" – так сообщала передовица походной газеты. Матвей вернулся с конем, подаренным ему красногвардейцами (коня они по дороге отняли у богатого колониста); он променял через день коня на казанском базаре на связку философских книг – и уплыл с красногвардейцами. Пароход, по его предложению, переименовали вначале "Э. Кант", затем "Гегель", "Юм", "Спенсер", "Ницше", закончив "Ф. Лассалем". Он поехал в университет. Окончив университет, он пришел к выводу, что в своей медицинской работе он должен применять методы душевного уговаривания и доказательств на основании хороших логических выводов, словом, он был поклонником Дюбуа и его системы "переубеждения". Если бы, думается мне, не обаяние его молодости, его мягкого овала лица, его почти прямого носа, что в нашей стране телесной расплывчатости уже одно является заслугой, его глубокосидящих, почти постоянно полузакрытых малахитовых глаз, его летящей походки, которая часто оканчивалась сидением на скрещенных ногах и манерой, во время разговора, поднимать ладонь в уровень с лицом, чуть потрагивая мочку уха большим пальцем, – вряд ли б ему прощали его диалектику, его щедрость на слова, его красноречие, которое, казалось ему, опираясь на объективные данные, одно может исчерпать вопрос. Но, мало того, он вписался часов на шесть в вашу субъективную душевную установку, освещал ее с такой бесцеремонностью, что у вас дня два болели зубы, – и под конец – он самым тончайшим

образом расчленял ваши психофизические связи и механизмы. Я не поклонник – ни системы психоанализа, ни систем, противоположных ей, я считаю, что кто умеет лечить, тот пусть и лечит, даже смешивая в кучу все системы мира. Поэтому, однажды мне пришло в голову попросить доктора Андрейшина "переубедить" меня курить отвратительный табак. Я курю много, и мне кажется, что если я буду курить плохой табак, так это мне занятие скоро надоест. Я покупаю табак на самых грязных рынках и у самых грязных продавцов, так что когда он сыплет мне эту бурую чепуху в карман, я закрываю глаза от отвращения. Доктор с величайшей готовностью и необычайно веселым лицом согласился исполнить мою просьбу.

Он провел со мной семнадцать обстоятельных собеседований, не считая случайных бесед на теннисе, на купании или при игре в городки. Он натаскал и к себе, и ко мне гигантское количество литературы, я никак не предполагал, что о табаке могло быть столько написано. Он доказал мне совершенно непреложно, что табак знали и до открытия Америки, причем, по дороге, два дня провел сражение с Хр. Колумбом, к которому он питал крупную антипатию, считая его симулянтом, лгуном и человеком самых низких моральных качеств. Он подошел вначале к табаку биологически, указал на его наглую жизнеспособность, затем направился к нему социально. Что здесь было! Мне и сейчас страшно вспомнить те минуты, которые мне пришлось пережить под канонадой его диалектики. Какие армии искалеченных и несчастных катились мимо нас! Какие сплетения недоразумений мучали людей! Но все это оказалось пустяками перед тем, что он обнаружил во мне, особенно с патолого-сексуальной стороны. Оказалось, что не зря я хожу на рынки, вращаюсь среди отвратительных продавцов и, особенно, зажмуриваю глаза. Он заставил меня вспомнить, что еще в двухлетнем возрасте я был склонен, если не к убийствам, то к насилию над своей няней, во всяком случае. Моя жизнь представилась мне сплошным изуверством, вокруг меня создалась такая атмосфера, что я дико напугался и у меня вдруг обнаружились явные признаки отравления. Я не видел путей преодолеть мои немощи, мои душевные конфликты, мои социальные комплексы. А доктор уверял, что в сущности терапия его еще не начиналась. Я попросил его прекратить "переубеждение" и вернуть мне хотя бы часть моего душевного мира. Он сказал, что согласен, что воздействие убеждением более пригодно для зрелых и разумных людей или при более сложных неврозах, чем мой. На это я ему ответил, что последним замечанием он мне доставил живейшее удовле-

творение. Доктор улыбнулся с лучезарной восторженностью, и мы прекратили лечение.

В конце нынешнего лета получил я отпуск и путевку в дом отдыха где-то под Минском. В эти же дни доктор Андрейшин уезжал вторым секретарем – советской делегации на съезд криминологов в Берлин. Честолюбие мое и тщеславие заставили меня подумать: "Что б поехать тебе, Егор Егорыч, вместе с доктором до Минска. Побеседуешь в дороге, сдружишься, и, кто знает, может быть, какие-нибудь удивительные пути он укажет тебе. Возьмем, хотя бы, должность секретаря. Разве ее сравнишь с должностью счетовода? Секретарь всегда на виду, секретарь может многое услышать, выбрать какую-нибудь ударную профессию, подучиться, наконец!" И я направился к доктору Андрейшину. Мог ли я ожидать, что этот ничтожный повод заставит меня столкнуться с удивительными событиями, узнать удивительных людей, увидеть удивительные и даже неправдоподобные страданья и самому испытать совершенно уже неправдоподобные муки и сомнения; встретить Леона Черпанова с его сконсовыми усами – и без оных; Савелия Львовича; замечательное семейство Мурфиных и все остальное, что побудило меня написать эти искренние строки.

IV

В светлой высокой комнате, в белоснежном халате, бритый, причесанный, точный, хотя и многословный, сидел за письменным столом доктор Андрейшин. Против него, в плетеном кресле, в хаки, багровый от негодования, возвышался М.Н. Синицын, рабочий, недавно назначенный к нам, – говорят, в связи с делом ювелиров А. и Н. Юрьевых, – заведующим хозяйственной частью больницы.

Доктор оканчивал речь. Из этого конца я понял, что во-первых (доктор покраснел при этом признании), он влюблен и влюблен в объект, который имеет, по его мнению, прямое отношение к болезни ювелиров, а, во-вторых, он настаивает, что и предложения профессора Ч. о диагнозе болезни и предложения М.Н. Синицына о той же болезни – ошибочны. Необходимо исследовать всю совокупность обстоятельств, – со стороны психической! Например, если бы, по его предложению, вызвали девушку, в которую восемнадцать лет назад

влюблены были ювелиры и если б эта девушка оказалась блондинкой, это обстоятельство пролило б свет в историю их болезни. Ибо та девушка, с которой он должен непременно проститься перед тем, как уехать за границу, – блондинка, и она знала ювелиров, хотя никаких юридических доказательств, кроме пуговицы, у него нет.

И я, и М.Н. Синицын, правда, по различным совершенно причинам, смотрели на доктора в крайнем изумлении. Я – потому что те еще плохо уловимые, но уже странные формы, в которые выливалась любовь доктора, никогда не встречались мне и казались для моего честолюбия и тщеславия как раз-то необходимыми для меня; М.Н. Синицыну с его конкретным, хотя несколько и суховатым разумом, – сводить всю сумму жизненных явлений только к явлениям биологическим, как это проделывал доктор, – было не только бесполезной, но вредной растратой тех знаний, которые приобрел доктор Андрейшин.

– Любопытно, – сказал он со злостью, держа в руках пуговицу, которую ему передал Матвей Иванович.

Оно точно: болезнь ювелиров была любопытна. А. и Н. Юрьевы, направленные в нашу больницу и попавшие в палату "полуспокойных", знаменитые мастера так называемой ост-индийской гранки (когда бриллиант гранится сообразно форме натурального камня), особенно славились по работе над бриллиантами черной воды. Само собой, – они отлично исполняли и чекань. Говорили, что вся история началась с того, что государственная мастерская, где они работали, вдруг оказалась ограбленной. Не утверждаю, но передавали, что исчез ящик с золотыми часами, штук этак двести. Поискали, пошарили, но так ничего и не нашли. Братьев никто, конечно, не заподозрил, слыли они за честнейших людей, страстно влюбленных в свое дело, полнейших бессеребренников, и тем более удивило всех, что – когда братья выявили явные признаки сумасшествия и квартира их была опечатана (они жили одиноко, даже не имея работницы), у них обнаружили несколько часов из того ящика, который пропал. Отсюда и начинается удивительное и непонятное.

Еще за месяц до того, как я услышал о болезни ювелиров и о краже ящика, покупая табак на Сухаревке, я уже уловил болтовню о короне американского императора. Вам знаком, наверное, гомон этой многотысячной сухаревской толпы, эти странные напряженные лица, этот пот алчности, этот страшный и жалкий сброд, – они не воспеты еще достойным пером, эти базары революции! Я услышал, – тогда я не обратил на говоривших должного внимания, – разго-

вор, что большевикам, мол, у которых нашлись самые лучшие ювелиры в мире, влиятельнейшей политической партией Америки заказана корона для будущего американского императора, причем за работу будет уплачено дефицитными товарами, то есть как раз теми, которыми торгует рынок. Высказывалось мнение, что слух этот пущен для того, чтобы понизить цены на товары, произвести панику, но находились и сомневающиеся, которые говорили, что это обычная болтовня вроде знаменитых грабителей на пружинах или черного автомобиля, хватавшего в прошлом году на улицах Москвы и Ленинграда женщин, коих привозили в неизвестный дом и заставляли мыть окровавленные полы, а затем с благодарностью отвозили обратно. . .

Но тут, вдруг, слух и подтвердись! На двух высоких табуретах перед тысячной толпой встали братья А. и Н. Юрьевы и вперемежку, потому что орать надо было сильно, чтобы быть услышанным всем рынком, произнесли речь. Сущность этой речи, как мне передавали, заключалась в том, что по общему мнению Америка медленно, но непоколебимо побеждает и победит весь мир, начиная с Англии и кончая Советским Союзом. Для этой великой войны там производятся огромные приготовления, но так как для победы и для удержания власти необходимо сосредоточить полноту властвования в одних руках, то в Америке неизбежно появление императора. Однако, какой же император без короны? А заказать корону американским ювелирам нельзя в силу их бездарности и в силу того, что противная партия может разоблачить, поэтому-то глава партии, под видом интуриста, приехал в СССР, нашел их, лучших ювелиров XX столетия, и заказал им, тайком от советской общественности, корону. Им нужны деньги? Нет. Против славы не могли устоять они, — в чем теперь и раскаиваются! На вопрос же, где корона и не передана ли соответствующим врагам, они заявляют, что корона — на которой осталось только поставить имя ювелиров, их марку, — то, ради чего они только и производили работу, — обманно похищена заказчиками! Спрашивается, зачем же обращаться им к Сухареву рынку? "За помощью, — отвечают они, — бегите вместе с нами, догоним и отнимем корону, помогите поставить на ней нашу марку! Корона в два кило червонного золота удивительной чеканки, по низу украшена "увороватым" зеленым гранитом Урала, а на верху — сплошь розетами из горных бриллиантов, сообразно количеству штатов Америки. Для правильной организации погони, они предлагают избрать комитет! . ." Казалось бы, что такое вздорное заявление должно

было рассеять все слухи о короне, возникшие на Сухаревом, а оттуда распространившиеся по Москве, да и к тому же многие узнали в ораторах тех людей, которые и раньше много бродили здесь, болтали о короне. Но оказалось наоборот, выступление ювелиров Сухаревка рассмотрела как маневр к тому, чтобы замять слухи! Обследование, которому подверглись ювелиры в нашей больнице, выдвинуло диагноз проф. Ч., по которому заболевание ювелиров являлось органическим следствием механического инсульта за счет основной инфекции, каковую определили как процесс бокового аммотрофического склероза, так что травме, если она и имела место, принадлежало второстепенное влияние. На этом диагнозе, собственно, и разгорелся спор. Часть врачей, к которым примыкал и наш директор, принадлежали к последователям З. Крепелина, отстаивая теорию "нозологических единиц" против новейшей теории симптомокомплексов, то есть грубо говоря: за возможность подведения болезней человека, его психики, под твердые и неколебимые разновидности с точно установленными патолого-анатомическими признаками, как сказал Гохе: "искание раз навсегда установленных процессов, однородных по этиологии, течению и исходу". Другая часть, а к ним принадлежал и доктор Андрейшин, отстаивала борьбу за детальное углубление в психику и в частности случай с ювелирами находила явлением психогенным, следствием неизвестной нам эмоции — шока, считала, что ставить диагноз, особенно такой, какой поставил проф. Ч., едва ли предприятие не легкомысленное, что надо разобраться, да разобраться, что прежние неудачные исследования врачей внушили больным мысли о их неприспособленности к жизни, о необходимости "бегства в болезнь".

Пока шли эти споры, — естественно, что до меня доносились только слабые отзвуки их, да и нельзя же, на самом деле, устраивать в больнице диспут, — положение больных ухудшалось, постельный режим не помогал, зрение ослабевало, тоска увеличивалась, а разговорчики насчет американской короны все росли и росли. Я получил несколько писем от знакомых, предлагающих зайти к ним на чаек, причем я уже давно и забыл об этих знакомых. Я, догадываясь о предлоге их приглашения, промолчал, — тогда они явились сами. Родственники какие-то обо мне вспомнили. Если ко мне, счетоводу, было такое внимание, причем всех нас, когда мы на станции садились в дачный поезд, расспрашивали о больнице и об ювелирах, то представляете, каково же было медперсоналу? Все мы ожидали крупного медицинского скандала, особенно при страстном характе-

ре доктора Андрейшина, возглавлявшего течение "увеличенной психотерапии", но тут неожиданно профессор Ч., приглашенный в числе других психиатров на съезд по криминальной психологии в Берлин, предложил доктору Андрейшину поехать с ним в качестве второго секретаря советской делегации.

V

Любопытненько, – повторил М.Н. Синицын, разглядывая пуговицу. – Вот здесь и указание имеется: "Пуговичное заведение С. Мурфиной". Это для нее, что ли, они корону-то делали? По ее заказу? Вы, значит, Матвей Иваныч, в нее и влюбились? И теперь, перед отъездом за границу желаете зайти проститься? Любопытненько. На часок, говорите? Поезд отходит в три, а вы придете в час? Любопытненько. Только вот зачем вам Егор Егорыч понадобился, он ведь совсем пустой человек.

Я так и знал, что он придерется к случаю, чтобы обидеть меня. Я смолчал.

– Али жениться, для свидетельства? Тоже любопытненько.

– Она выходит за другого.

– Красива, что ли?

– Очень! – и доктор покраснел.

– Умна?

– Очень. – Доктор покраснел еще сильнее.

– Зовут-то как?

– Сусанна.

– Любопытненько. Плохой, должно быть, фининспектор в районе, я б на его месте всю красоту с нее согнал.

– Предприятие пуговичное давно закрылось, принадлежало оно не ей, а ее матери, и все они теперь служат.

– Выгнать со службы! Все равно вредят: зачем нужного нам доктора влюбляют. Небось, сама на улице подошла. То, се, пожалобилась на жизненку, а вы и хвост распустили?

– Я встретил ее один раз, на Петровке, и даже оробел поклониться.

– Ишь ты, а в дом зайдешь?

– Она улыбнулась мне, Синицын. Не в комнате, – мало ли кому улыбается женщина в комнате, – а на улице. После этого я начал подчитывать кое-какую литературу о любви, и вышло так, что мне совершенно необходимо проститься лично.

Я счел необходимым вставить и свое слово:

— Мало ли кому улыбаются женщины. Вот мне однажды тоже улыбнулась, а оказалось, что мой широкий нос походил на нос ее приятельницы, и она злорадствовала. Тем не менее, я женился и страдал три года.

М.Н. Синицын попытку мою вступить в разговор принял чуть не за подхалимаж. Он багровым взглядом уставился на меня. И опять я смолчал.

— Робкая у тебя на баб выдумка, Матвей Иванович, — продолжал Синицын с прежним негодованием. — Тебе бабу под лад трудно выбрать. Ты, вон, с сиделками разговариваешь, опустив глаза, а они грязь развели. Четырех клопов давеча на подоконнике поймали. Для бабы более постная пища требуется, а ты бабу больше по чертежам мыслишь. Вот насчет улыбки: совсем вздорная вещь. Езжайте вы без прощаньев за границу, а мы тут клопов пока выморим. Ученые спорят, а клоп он себе, стерва, плодится да плодится.

Доктор схватил опять пуговицу:

— Один взгляд только, Синицын, один взгляд на то, как она шагает по своей комнате — и для меня будут ясны истоки болезни ювелиров. Согласитесь, если в отделение больницы, руководимое вами, под различными предлогами появляются любопытствующие, если весь город наполнен слухами, если эти слухи, появившись вначале в белой прессе, захватили затем европейскую и американскую, если вам предстоит удовольствие дать десяток интервью за границей и все это организовала девушка, которую вы имели несчастье полюбить. . .

М.Н. Синицын вскочил, оттолкнул ногой стул и, схватив доктора за плечи, крикнул ему в лицо:

— По моему, лечить надо, а не по вашему. — Он обернулся ко мне: — Ты вот, Егор Егорыч, чистый болван, так хоть ты ему объясни, если он считает меня таким хозяйственником, который кроме как в клопах ни в чем не смыслит, что если мы отняли у буржуев все, то право ворчать и болтать чепуху, сколько им влезет, мы оставили им. Услышит он в рабочих кварталах Берлина о короне американского императора? Никогда!

— Вспомните, — наставительно сказал доктор, — что ювелиры были тихие, робкие люди, совершенно не имевшие знакомств, их квартирка из двух комнатенок выходила прямо на двор, где постоянно — зимой и летом — играли ребятишки, знавшие всех жильцов и всех их знакомых, причем, задачей ребятишек было стеречь двери от воров — и это они исполняли успешно. Окна квартирки были

заставлены железными решетками, как во многих первых этажах, следовательно, через окно попасть к ним было трудно, если б даже и пришла кому-либо шальная мысль подкинуть им часы. По-моему, истоки их болезни находятся в часах. Вспомните, что они жили замкнуто, стыдились своего жалкого вида, бедной комнатенки, в провинции на их попечении находились мать и три больных сестры, большинство заработка ювелиров уходило на лечение сестер. Однажды в жизни они любили, — она, несомненно, была блондинкой, теперь она состарилась, мать нескольких детей. Я попросил послать мне ее карточку, девичью. Она прислала их несколько. У меня возникла мысль: не перенесли ли они свою любовь на другой объект и не могло ли так случиться, что этот объект поступил с ними подло? Но до сегодня они его любят, боятся причинить ему боль — и больная память выкинула имя его, воспоминание о нем. Кроме того, они питали к этому объекту нежность, он должен быть слабым, не физически, а морально, волево. Было бы чрезвычайно просто передать им снимок невесты в юности и сказать, что такая-то похожая на снимок девушка просила вручить. Можно было б таким путем вызвать известные намеки, но можно и увеличить болезнь, заставить пациентов замкнуться, увеличить свое сумеречное состояние — нам грозила бы опасность приблизить час их душевной смерти. Препротивнейшие часы провел я, Синицын, размышляя о них, к тому же споры с профессором! .. Но однажды совершенно ничтожное обстоятельство толкнуло мою мысль на правильную дорогу. В палате появился больной, страстно любивший открывать форточки. Сырым ветренным днем я совершал обход. Вам известно, насколько больные обожают жаловаться. Палата заявила протест против открывания форточек и, в частности, потребовала, чтобы к халатам немедленно пришили пуговицы. Я обещал удовлетворить их желание, но внезапно против пуговиц восстали братья Юрьевы. Порыв их быстро угас, но самое появление его мне показалось странным. Я потребовал из кладовых костюмы, в которых их привезли. Все пуговицы на костюмах были выдернуты с корнем. Комнату их передали давно другим жильцам, жалкое их имущество увезла мать, — все же я искал пуговицы, на которые они перенесли свое негодование. Я написал матери. Она нашла одну, поломанную. Вы ее видели, Синицын? Итак, на Петровке я встретил Сусанну. В этом холодном, почти мраморном взгляде, в этом алебастровом лице, я прочел дикую волю и великолепный ум. Она — дочь той женщины, которой принадлежала пуговичная мастерская. Ее не удовлетворяет жизнь! Она хочет прорваться в иное, и вот она

накануне преступления. Разве обязанности доктора лечить, а не предупреждать болезни, ибо преступление против общества – социальная болезнь, Синицын. Я должен предупредить развал человека и для этого достаточно будет одной фразы.

– Какой такой фразы? Не воруй, что ли?

– Я еще не сформулировал ее, но к завтраму она будет готова. Этой фразой можно исцелить и ювелиров, и Сусанну, и вообще весь дом, где она живет.

– Любопытненько. Здорово ты в слова веришь, Матвей Иваныч. А что, если нам взять да этих ювелиров к станку поставить?

Теперь нам пришла очередь изумленно уставиться на Синицына:

– К станку? – переспросил доктор. – Вы предлагаете их выпустить, Синицын?

– Вот и обмозгуем вместе.

– Я категорически против, – вскричал доктор. – Необходимо произвести детальнейшее обследование и как раз на основе того, что нам скажет Сусанна.

– Красивое имя-то. За одно имя которые влюбляются. И это все?

– Все, – ответил доктор. – Три недели, которые я проведу за границей, Сусанна будет размышлять над моей фразой, на четвертой, – возможно, она даже придет сюда справляться, Синицын, относительно меня, так вы скажите ей точно, когда я возвращусь и, самое главное, не допускайте ее до ювелиров, – на четвертой мы произведем последнее обследование и целый ряд людей будет возвращен к разумной жизни.

– А парни так и будут пока лежать в постели, вытянувшись, как селедки?

– Какие парни, Синицын?

– А ювелиры?

– Да, они будут пока лежать.

– Вам бы полежать! – вскричал Синицын, вскакивая и опрокидывая стул.

Хлопнула дверь. Доктор расстегнул халат.

– Как великолепно, что вы меня провожаете, Егор Егорыч, – сказал он протяжно, видимо, размышляя о своем.

Вот кратко те причины, из-за которых мы очутились возле дома № 42, увидели Черпанова, и доктор выдал себя за ”ухогорлоноса”.

сить ему обиды, а просто усы показались ему ложными, несомненно. Черпанов одарен более крупными данными, чем ношение усов. Доктор приносил ему крайние извинения! Черпанов удовлетворенно хлопнул доктора по плечу, заявив, что рад иметь на своем строительстве хорошего врача, и добавил:

– Москва – торопливый город. Чуть что – за усы! Выводы, может быть, и меткие, но механические.

Я нашел необходимым по этому поводу сообщить:

– Один поп похоронил на кладбище любимую собаку. Епископ решил наказать его за такое безобразие. Привели попа к епископу на допрос: – Ваше преподобие, – говорит поп, – если б были знакомы с ней, вы б по иному оценили ее разум. Судите по такому факту. Зная, что вы обожаете чай, она, по духовной, оставила вам серебряный сервиз и серебряную полоскательницу, из которой сама изволила кушать. Разрешите его вам вручить". – "Предадим твой грех забвению, – ответил епископ, – только сними с ее могилы крест, а поставь плиту. Пускай думают, что она была католиком, перешедшим в православные". Передают также, что некий полководец, – я не могу сказать, к сожалению, с усами он или нет, – направляя своих бедно одетых солдат в бой против неприятеля, превосходящего его не только оружием, но и одеждой, сказал: "Солдаты, постарайтесь отлично одеться!"

VI

Итак, Черпанов присел на корточки! Доктор возле него. Что же мне оставалось делать? Соорудив возможно умное лицо, я тоже присел. Доктор, высказав несколько резкостей в сторону Хр. Колумба, катая по тротуару яйцо, пустился рассуждать об усах:

– Несомненно, Леон Ионыч, вы думали о значении усов, но занимались ли вы этим вопросом вплотную, скажем, месяца два-три?..

– Да что я, парикмахер? – огрызнулся Черпанов.

Оказалось, что доктор имел такую возможность, – о чем радостно и оповестил. Он пришел к выводу, что усы – это признак посредственной воинственности, образ двух флангов, которые может уничтожить полководец, ударив им в центр, – попросту говоря: забрать усы в рот. Все великие полководцы – Александр Македонский, Цесарь, Наполеон, не носили усов. Они обходили фланги! По пути он объяснил, что, схватив за усы Черпанова, он не думал нано-

Не знаю, то ли голос у меня слабый или говорю я слишком торопливо, или выражение лица у меня унылое, но только рассказы мои никогда не вызывают смеха, в то время как эти же рассказы, но в устах других лиц, имеют крупный успех. Так и в данном случае. Черпанов посмотрел на меня недоуменно. Доктор счел необходимым объяснить:

– Вообще-то, Егор Егорыч – отличный секретарь, но обладает слабостью, которая превратится несомненно в достоинство, как только он будет секретарем высокого человека, – рассказывать некстати смешные повести. Итак, вы экзаменатор, Леон Ионыч?

– Именно, Матвей Иваныч. Экзаменую Москву на предмет поездки на Урал.

Доктор поднес ладонь к сияющему своему лицу:

– Слышал, слышал! Удивительное строительство. Незабвенное строительство. В сущности, вы развозите людям счастье, Леон Ионыч. Я подозреваю, что вы спрашиваете у каждого встречного: счастлив ли он и знает ли он, что такое счастье? Представляю, как вы смеетесь над современными писателями, которые каждого провинившегося героя отсылают для отрезвления в провинцию, тогда как только провинция, утверждаете вы, дает полную сумму счастья. Бесспорно, что зачастую счастье мы начинаем строить после того, как изломали свою жизнь, исковеркали тело, но что поделаешь, если в большинстве для людей нет иного способа поумнеть!

Мы сидели в воротах. Они были раскрыты. В глубине двора уныло стоял ветхий высокий особняк с широким крыльцом, узкими окнами, булыжный двор зарос жесткой травой, до твердости камня засушенной знойным летом. Доктор указал ладонью на дом:

– Вот, к примеру, сколько надо приложить труда, чтобы увести этих людей к счастью! Да, вам тяжело, Леон Ионыч, но крепитесь, мужайтесь, – раз, два, раз, два! – Сколько вам лет? Ответственная миссия! Я уже от многих слышал: едет Черпанов. Кто такой Черпанов, спрашиваю я? "Увидите", – отвечают мне.

Он положил ладонь в его руку. Сухое лицо Черпанова выразило еще большее удивление, чем даже тогда, когда доктор дернул его за усы. Скрипучим своим голосом он встревоженно спросил:

– Их? К счастью? Это кто же тебе сказал, что я кого-то должен к счастью вести? Я мало с кем делился.

– Многие говорили, однако.

– Небось, инспектор труда?

– Инспектор труда тоже говорил, – радостно заулыбался доктор, – он очень доволен вами, Леон Ионыч.

И спереди и сзади росло удивление Черпанова: он розовел лицом, свивался спиной и задом, голос у него был глухой, стесненный, а глаза колючие. Доктор сыпал небрежно, без заискивания (я передаю вкратце его разговор), со специальными знаниями, относящимися к роду и к частностям работы Черпанова, а также с подробностями науки литейного дела. И когда только он успел так заткаться?

– Чего ему быть мной довольным? Скрытный он какой-то. В глаза меня крыл, требовал разрешения Наркомтруда на вербовку рабсилы, а когда я ему заявил, что и без него навербую, инспектор говорит – "катись".

– А вы не вслушались, Леон Ионыч, каким он голосом сказал "катись"?

– Самым подлым, по-моему. Задержать хотел. Я, говорит, выясню твои документы. Документы? Пожалуйста.

Черпанов выложил бесчисленные свои записные книжки из бесчисленных карманов своего синего велосипедного костюма, украшенного серыми чулками и футбольными бутсами – белые с желтым. Записные книжки разинули бесчисленные свои пасти и выкинули бесчисленные удостоверения. Доктор положил на них ладонь.

– Я верю, Леон Ионыч, вашим полномочиям.

Черпанов задумался! Он еще не верил своей славе.

– Или он о другом Черпанове с тобой говорил?

– Да нет, о вас. У него просто грубая манера разговора. Чем он грубее, тем более он, значит, потрясен. Это типично для застенчивых людей, а для инспектора труда – в особенности.

VII

Черпанова мало удовлетворили эти объяснения.

– О другом! – сказал он решительно, собирая записные книжки.

– Как же о другом? Разве может быть у другого такая важная миссия? У кого хватит столько решительности? Кому дадут такие полномочия?

Черпанов растерянно вытер лоб. Он, видимо, всеми силами ста-

рался осмыслить слова доктора. Наконец, он прервал чахлое молчание, исторгнув из себя:

– Ты где живешь?

– Нигде. Я провинциал. Куда вы намерены собрать, временно, конечно, завербованную вами рабсилу? Для нас было б просто исцелением поселиться там. Средства у нас есть, но вы знаете – квартирный кризис.

Исход из возникшего затруднения Черпанов нашел в "квартирном кризисе"!

– Вот в том-то и дело, что квартирный кризис! Бараки обещали, а разве с этими лопоухими договоришься? Истребил бы я всех бюрократов без следа!

Но от доктора не так-то легко можно было освободиться:

– Но поскольку вы ловчий и мы первый ваш улов, постольку ваша прямая обязанность, Леон Ионыч, позаботиться о нас. . .

– Пошли, – с исступленной решительностью сказал Черпанов, направляясь через двор. Доктор весело всплеснул руками и понесся за ним летящей своей походкой.

Искусная исподволь, с которой подбирался доктор к Черпанову, расстроила меня. Если можно было кое-как объяснить робостью перед двумя хулиганами согласие на дергание за усы, то совершенно необъяснимо, почему так мгновенно Черпанов принял нас на службу, не посмотрев даже наши документы, и тем более, почему он повел нас устраивать в этот дом, куда его самого-то, наверное, приняли с трудом. Объяснение – провинциальностью казалось мне списанным, чужим и плоским, слишком уж много в нем было от барокко, слишком он умел спихнуть, сдвинуть, ссунуть кого угодно, слишком быстро мелькали спицы экипажа, собственного экипажа.

Положительно – мне нравился Леон Ионыч со всеми свойственными двадцати двум годам толчками мышления!

По высокому крыльцу из толстых и гнилых горбылей мы сразу вошли в громадный темный коридор, украшенный деревянными колоннами. Их было семь. Ободранные, изрубленные, изгнившие, тусклые, они напоминали пожарище. Не знаю, чья нелепая воля поставила их сюда, в чем заключалась их обязанность и что они должны были изображать? Был ли это вестибюль или зала, или просто какая-то незаконченная архитектурная мечта? Сразу же бросилось в глаза, что дом раньше был одноэтажный, с расчетом на вышину, углубляющую сердце, а теперь вышину эту укоротили, использовав колонны для приклепления балок и настилки полов, возможно, уничтожив

чердак, с тем, чтобы соорудить второй, очень низенький, этаж, в который из коридора вела широкая лестница с громадными дубовыми перилами, заваленная невероятным барахлом: я успел разглядеть извозчичьи сани, дырявые корыта для стирки белья, ободранный секретер красного дерева, поломанные "американские" книжные шкафы, тут же торчали грабли, крыло лобогрейки, сундук, обитый жестью, дрянная железная кровать, какие-то гигантские рваные масляные картины без рам, — по лестнице можно было пройти только боком. Налево мы увидели громадную кухню с невероятной — почти в товарный вагон — русской печью, потрескавшейся, нетопленной, наверное, добрый десяток лет; вдоль печи шла плита с дюжиной круглых отверстий; единственное окно — кухня почему-то не пострадала, когда дом делили на два этажа, — помещалось высоко, тускло освещая искрошенный пол, круглое кольцо у дверей в полу, ведущих в подвал. Рядом с кухней — ванная, в ней, как я узнал позже, жил Черпанов. Вслед за ванной, как раз против каждой колонны, шли чуланчики для дров, по отдельному чуланчику на семью. Направо — двери в комнаты. С трудом, по преданию, можно было установить, какую обязанность выполняла каждая из комнат. Они были перегорожены фанерными перегородками, иная комната делилась на четверо, иная на трое, а иные на восьмеро и больше. По следам в полу, по вытоптанной дорожке вы догадывались, что здесь когда-то суетились, играя вкруг биллиардов, стругающими кругами носились шары, исполински меряли пространство полосатые кии; в другой на потолке уцелели круглые рожи апостолов, ясно — домовая церковь и по сие время, казалось, стены исторгали ладан молебствий и лживость исповеданий; овальности и казацкий шик обоев как будто намекали на гостиную; каземат замкнутых стен выдавал кабинет: казнокрады, торгаши, лицемеры и просто убежденные мошенники величественно размышляли здесь. Воспоминаний о них в моем сознании осталось не больше, чем от ихтиозавров, однако какая-то сгнившая кайма их жизни тащится за мной!

Черпанов скрылся в одну из казусных дверей.

Мы присели неподалеку от громадного гардероба, упиравшегося казеннокоштным туловищем в колонну. Рядом с гардеробом исчернамутное, чудовищной высоты — в три человеческих роста — возвышалось трюмо, чем-то напоминая кабана, если вообразить, что его можно поставить на задние ноги. Но если как-нибудь мы объясняли стояние здесь гардероба, для комнатенок он был, пожалуй, чересчур громоздок, массивен, даже вряд ли его удалось бы разобрать, столь

крепко сошлись его скрепы от вечности, — то появление здесь трюмо стоило отнести, для успокоения пытливости, к тому хламу, который украшал лестницу. Но как бы то ни было, чьи-то тщеславные глаза пользовались им, поверхность его — до высоты плеч — была неудачно очищена от пыли, и возле него на засиженном мухами проводе свисала похожая на старинный камзол лампочка.

Я нервно заметил, что бесцельно нам дальше ждать Черпанова: до отхода поезда оставалось полтора часа.

— Полчаса трамваем, сорок пять минут пешком до вокзала, — ответил доктор так, как будто это ему доставляло крайнее удовольствие: — Разве вас, Егор Егорыч, больше не занимает причина, почему я дернул Черпанова за усы и рассуждение о воинственности усов не показалось вам плоским?

— Если б на голове Черпанова вместо волос рос камыш, это меня бы заняло.

Но возмутить доктора труднее, чем раскачать каланчу. Он приниженным голосом, каким говорят врачи, чтоб не услышал пациент, начал разворачивать предо мной свои соображения. Черпанов, по его мнению, долго не посещал Москву, может быть, даже совсем в ней никогда не был. В силу ли своих обязанностей или случайно, он увидел московское строительство. Оно вкатило в его мысли необычайное количество калорий. Его провинциальный камелек треснул, а заменить его калорифером он еще не умеет. Попробуйте дернуть его за усы недели через две-три; посмотрите, что он будет думать через день по поводу своего смешного велосипедного костюма и своих футбольных бутс! Его влечение к власти еще достаточно не откалено, но дайте какой-нибудь срок, — "он вас научит натирать полы воском". Небывалая красота девушки, — доктор, оказывается, и ее имел в виду, когда дергал за усы, даже не заставляет его щетиниться против. Словом, он весь в себе. Черпанов? Это какой-то льготный билет. Право, его хочется дать взаймы для исследований кому-нибудь поплосче.

— До поезда — час.

— Какие у вас ограниченные требования ко мне, Егор Егорыч!

Я обиделся. Едва ли доктор верил в "провинциальность" Черпанова, едва ли придавал какое-либо значение своей беседе о "даровании счастья".

— Лучше получить кромку платья, чем обещание, Матвей Иваныч.

Доктор, по всему видно, желал продолжать "вскрытие" Черпа-

нова. Но нам помешали. С улицы вошло несколько молодых женщин. Доктор встал. Трое поднялись по лестнице, а остальные направились к нам. Все они были с чемоданчиками, кожаными и веревочными сумками, корзинками из прутьев. Впереди шла в черном шелковом платье, вышитом алым гарусом, чем-то похожая на шлюпку, высокогрудая мощная девица.

– Не человек, а сверло какое-то, – сказал я тихо доктору. – Поставьте ее как бакен, предупреждающий мель, и пойдемте на поезд, доктор. Пароходы для нее найдутся. Она и есть Сусанна?

Доктор отодвинул меня в сторону и вышел вперед.

– Не эта, Егорыч, третья. Видите третью?

– Борзая?

VIII

Но приглядевшись, я и сам должен был признаться в ограниченности моего определения. Высота ее и тонкость действительно чем-то могли напоминать борзую, но тело ее с удивительной мягкостью замыкалось узким лицом, по борту обшитым белыми кудряшками, темные глаза ее походили на пустой патрон, а бесчувственная ловкость движений подводила под лицо ее незыблемую и, признаюсь, непонятную высокопарность. Одета она была так, словно боялась встревожить вас сполна представленной злокачественной своей красотой; на ней был ситцевый сарафан, дырявый платочек на голове, а на ногах шелковые чулки и прекрасные замшевые туфли. Я к женщинам отношусь, как к пожару несгораемый шкаф, но когда она мельком взглянула на меня, то я сразу почувствовал какую-то подвластность, какое-то скольжение под откос. Внутренний ожог, с которым доктор направлялся в этот дом, стал мне понятен.

– Нам давно пора встретиться, Сусанна Львовна, – начал было доктор шепотом, оробело.

Но девицы, не дойдя до нас шагов пяти, вошли в комнату, в которую скрылся Черпанов. Вряд ли они слышали доктора. И все же – вот натура! – я больше, чем когда-либо, понял, что ни при каких обстоятельствах доктор не признает себя забракованным. Ну, лопнул обруч, ну, не подошла какая-то отрасль его многообразного производства, но чтобы злонамеренно и целиком его уничтожить? . .

— Бульонная девица, — сказал я. — И гангренная встреча. Ибо мы на поезд опоздали.

Доктор весело потер руки.

— Прокомпостируем билеты на завтра, Егор Егорыч. Возможно, что и наша делегация сегодня не уедет.

— Что ж вы полагаете, делегация займется обжигом кирпичей вроде вас?

— Сусанна сейчас будет, Егор Егорыч. Сусанна поняла, зачем я стою в коридоре. А! Егор Егорыч, изучаем мы психоанализ, делаем опыты, а женщины, при набате любви, далеко и давно опередили нас в понимании.

Он опять присел возле трюмо. Как мне ни обидно было опоздание, но все же я с любопытством ждал встречи доктора и Сусанны. Ожидания наши оказались пустопорожними. Вышел Черпанов, пробормотал — "хозяева согласились дать ночлег", — доктор подмигнул мне: дескать, Сусанна настояла! — Черпанов повел нас. В конце коридора, под вторым этажом, — который почему-то здесь прыгал вверх, сужаясь до размеров голубятни, — оказалась надстройка, клетушка из тесин, годная разве для пары собак не особенно крупного размера, ходить по ней можно было только склонившись в пояс. Половину клетушки занимал матрац из рогожи, набитый ветками и полынью, — последней, как я узнал позже, — от клопов. "Необработанное помещение, — пробормотал Черпанов, уходя, — да я и сам живу в ванной". Доктор утешил его, сказав, что мы опытны по этой части, таким помещением надобно хвастаться, что это куда лучше, чем бульвар или асфальтовый чан. Манера доктора сидеть на скрещенных ногах оказалась здесь чрезвычайно пригодной. Я растянулся на матраце, выразив желание, чтоб "невеста" появилась скорее.

— Пора вам и перебродить, — сказал доктор: — Поезд уже ушел.

— Да вы ветренник, Матвей Иваныч!

Что началось! Доктор поджарил меня на тысячах сравнений. Оказалось, что я нуждаюсь в коренном лечении; что мои полезные способности стоят не дороже съеденного леща; что я тухну, как зажигательная ракета, пущенная ошибочно; что на мне клеймо пепелища; что я слаб, как печеное яблоко; что к тому времени, когда опыт жизненный меня сделает годным к употреблению, поджарит, старческий склероз уже съест меня! .. Назвать "ветренностью" дело психологического учения; шипеть на то, что любимая девушка одевается, советуется с матерью, с братьями, с отцом — он у нее инва-

лид 2-й категории, переходящей в 1-ую! – а с такими людьми, знаете, как надо осторожно говорить, советуется с сестрой своей Людмилой Львовной, "той, которую вы обозвали сверлом и шлюпкой"; девушки склонны к колебанию, да, наконец, просто встретиться и разговаривать в этой комнате, где и выпрямиться невозможно, – смешно, здесь надо бы подобрать какие-то особенные выражения. Вдобавок, тут торчит третье лицо, бурчащее, бушующее, не умеющее смекать, в чем дело. Нет, зачем же, уходить нельзя, теперь, после намека, вы сами догадаетесь, когда нужно уйти. Прибой ее страсти сгонит вас, как разбитую рюмку, оставленную на берегу после морского пикника!

Я возразил ему, что, судя по его сравнениям, его прошлое рассматриваю я не выше прошлого содержателя шинка.

– Не совсем так, – сказал он. – Но у вас есть данные к анализу, Егор Егорыч. На короткое время я был выдвинут как директор винокуренного завода. Все же меня больше прельщал Университет.

В такой ленивой беседе мы провели часа четыре.

Скрипнула дверь. Доктор поднял ладонь к лицу. Я вскочил и стукнулся черепом об окно.

– Не тормозите своих чувств, Егор Егорыч, – сказал доктор наставительно. – Держитесь бравурно. Она поймет.

В дверях показалась широкая и квадратная, словно письменный ящик, голова картофельного пюре с вялым носиком, похожим на молочный детский рожок. Киселеобразный рот раскрылся; плоская, длинная атлетическая рука протянулась к нам с явным приветствием.

– Браво! Прекрасно! Молодец! – крикнул доктор. – Если б вы нам не мешали спать. Хотите сигару?

Письменный ящик, обмазанный картофельным пюре, немедленно скрылся, не пожелав взять сигары, приобретенные доктором на вокзале. В жизни своей я не встречал подобных сигар. Боюсь, что "Союзтабак" выпустил их скорее в качестве агитационного средства против никотина, чем для наслаждения. Размер их чуть поменьше снаряда гаубицы. Если их пробовали закурить, то вначале вы получали во рту неистребимый запах горючего вещества вкуса тухлого мяса, затем у вас вспыхивало ощущение, словно вас стукнули доской по голове и вы приобрели пролом черепа. Наконец, тело ваше присваивало себе странную особенность, словно в нем кто-то играл чугунными шашками и в доказательство реальности игры оставлял

за собой пачки булавок. Я убежден, человек, выкуривший три сигары, мог бы не бояться любой смерти.

— Впечатления дня не совсем точно преломились в моем сознании, — сказал доктор, укладываясь рядом со мной на матрац, — или она придет завтра. Или у меня есть подлинный соперник, и я полагаю, что именно он-то и заглядывал сейчас к нам. Властолюбивый, важный, он ломает ее психику, заставляя ее жертвовать собой ради семьи. Возможно, что он уже насладился ею и теперь, как сквозь зажигательное стекло, направил фокус своей воли в желаемом для него направлении. Положение трудное, Егор Егорыч, но завтра же утром вы будете его знать. Как прекрасно, что мы сегодня опоздали! . . Отвага, смелость, Егор Егорыч, преодолевают и растягивают. . .

— Сон, — сказал я.

— Ну и спите, — весело отозвался доктор, — я еще подожду.

— Ну и ждите, — сказал я, засыпая.

IX

Естественно, что заснув так скоро и заснув больше от раздражения, чем от желания насладиться покоем, я мог присвоить себе почетную особенность проснуться раным-рано. Доктор спал, как невинный голубь. Я беру это сравнение не потому, что доктор чем-то походил на голубя и тем более на невинного, мне вообще мало удавалось наблюдать быт и нравы голубей, но то малое, что я заметил, дает мне право обвинять голубей в полнейшей и недосягаемой для человека половой распущенности, — нет, — сравнение это возникло из утреннего раздражения, из желания причинить неприятность — и себе, и доктору. Катился бы я с шумом и грохотом, приближаясь к дому отдыха, готовился б к сварливым компаньонам по комнате, к частым купаниям, которые сопровождает дождь как раз в тот момент, когда вам хочется одеваться, дождь, превращающий ваш костюм и ботинки в нечто эластичное и влажное, чем с исчерпывающей полнотой обладают водоросли; дождь, сопровождаемый прохладным бризом; дождь, укладывающий вас в постель и доводящий до принятия чего-либо лечебного. А теперь я лежу в этой комнатушке, похожей на конверт, и оба мы с доктором, как забытая пере-

писка. Нет, скучно вставать в комнате, в которой нельзя выровняться во весь рост! И почему, думал я, глядя с раздражением на лицо доктора, такое счастливое, как будто он с необычайным успехом научился заодно давать уроки веселья, – почему он назвал себя "ухогорлоносом"; почему не вызвал Сусанну, почему даже купил пачку этих дурацких сигар, почему мешает мне насладиться покоем месячного отпуска, лишает удовольствия поваляться в постели, завести будильник на 7 часов? Вот он аккуратно отобьет эти часы, а я лежу и смотрю, как стрелка бежит за положенную ей черту. Проходит час, другой, уже в учреждении по столам разложены бумаги, уже старый бухгалтер тов. Б-в, – немец, знаменитый тем, что собрал все копии заполненных им когда-либо анкет, и этих копий у него 18 287 штук, но в общем ябеда и скупец, с мордой, похожей на пресс-папье, – ловит на лицах подчиненных лень и разгильдяйство с тем, чтобы подобным субчикам подсунуть сложнейшую работу, с тем, чтобы затем сказать: Er hart es zu nichts gebracht – из него ничего путного не вышло; помкассира – блистательная красавица, лучшая теннисистка нашей больницы, уже присваивает взгляды кавалеров розовым маникюром, который у нее исполняет обязанности дистанционной трубки: если она направляет пальчики в вашу сторону, – бойтесь обстрела, ходить вам не переходить с ней на теннисные матчи, купить вам не перекупить почтовых марок и тщетно вам стараться, быть причиной того, чтоб руки ее нежным крендельком легли вкруг вашей шеи. Ибо, говорят, что она – зажигательное стекло – но никто еще не подобрал на нем фокусного расстояния. . . . Да, а я лежу себе на кровати, как будто лежанием своим могу дослужиться до чина замзавотдела, и произвожу в уме своем оптический по точности выбор: кого бы мне посетить вечером, с кем бы передернуться в картишки или, на худой конец, в шахматы. . .

Я вскочил и отправился искать ванную. Хрупкий человечек в полотняном костюме с лицом, раздробленным в крошки семейными дрязгами, заботливостью, похожий на инкубатор, назвавший себя: "А.М. Насель", напомнил мне, что с разрешения квартуполономоченного Степаниды Константиновны Мурфиной ванную занимает временно Черпанов, ответственный товарищ с Урала. – "Впредь до его пробуждения, – добавил А.М. Насель, – спешащие жильцы умываются на кухне. . . если вас не беспокоит стряпня!"

Я побрел на кухню.

Общая кухня! . . Да не такая кухня, где копошится жалкое барахлишко двух-трех семейств, а кухня, подобная той, которую я

увидел: где ревело пятнадцать или двадцать домохозяек, неслось рыкание полсотни примусов, где гудело бесчисленное количество кастрюль; где в одном углу стирали белье, рядом мыли ребенка и тут же на керосинке варили ему манную кашу; где в другом вы имеете шаловливый запашок свинины, приправленной свежим лучком, морковкой и украшенной салатом. Вы прерываете наблюдения и спрашиваете: кто получает такой пленительный завтрак? И сразу высокое окошко кидает золотой свет 56 пробы на того, который вчера просовывал в дверь к нам лицо свое, похожее на почтовый ящик, обмазанный картофельным пюре. Он возвышается подобно устою моста, присмотритесь: какие у него плутовские глаза, имеющие в то же время обаятельность минеральных вод. Его фамилия Жаворонков, по профессии он мороженщик, да не частный мороженщик, а торгующий из кооперативной будки кооперативным мороженым, значит, с профсоюзным билетом, со значками и льготами, подобающими этому званию. Он со своими семейными и друзьями занимает верхний пристроенный этаж, опирающийся на колонны. Говорят, он был церковным старостой, — а мало ли что говорят завистливые люди. Женщины обожают его пылкий и самодовольный почтовый ящик, его минеральность глаз, его рот, кашеобразный, но в то же время убедительно говорящий о братской любви и пагубе братоубийственной вражды, которая охватила всю планету! Известна ли вам одышка А.М. Населя, этого человечка, похожего заботливостью своей на инкубатор? Вот он во главе выводка своих родственников идет вместе с полком других жильцов за дровами. Разом распахиваются двери всех чуланов! Каждый жилец берет по полену. Степанида Константиновна, квартироуполномоченный, — понтонная фигура которой, соединившись с Львом Львовичем Мурфиным, ныне государственным пенсионером, некогда кассиром одного из отделений Государственного банка, первым перешедшим на сторону совласти и за это теперь почтенным, позволила проскакать с одного берега жизни на другой двум удивительнейшим ловцам с птичьим садком, — она наблюдает за точным размером полен. Никто не больше, но и никто и не меньше! Каждый кладет в плиту одно полено. И вот чья голова не затрещит от рева плиты, от кипения кастрюль и чугунов, от размышляющих меланхолических чайников? Какие разнообразные бульоны, какие похлебки от картофельной до бараньей, какие отвары, какие соусы! "Э, вы переложили из моей миски в свою мое мясо. Видали ли вы ее, совсем обалдела от жара! Я буду перекладывать мясо? У меня честная "очередная" говядина, а она жрет свинину. Моя говяди-

на, если хотите знать, отмечена химическим карандашом. Это потому, что вы видели, как я отмечала!" – Мария Васильевна, Шурочка, Геничка смотрят. – "Нет, вы ошибаетесь. Кто ошибается? Вы рады придраться к Жаворонковым, вы со своей Степанидой Константиновной все время против нас наводите мосты, в религиозности нас упрекают, подумаешь – безбожники, а кто на Пасху куличи пек? Все пекли! И будем печь!.." Оказывается, – между квартироуполномоченным и верхом, возглавляемым пылким и атлетическим Жаворонковым, – трещина, клокочет разрыв. Какое поднимается брюзжание, ворчание, гудение – миллионы больших мух жестко, словно волчки, врезаются в спор. Валовое мошенничество! Бездельники!.. Страшные счетные книги готовы раскрыться, какое брутто мы сейчас узнаем. Но – ст! Цыц! . . Жаворонков бьет в грудь, самодовольно украшенную голубой фуфайкой, его лицо страдает, сооружая необычайную суровость. На шум ссоры появляются сыновья квартироуполномоченного – Валерьян и Осип. Они ошпаривают кухню взглядом, из кармана у них торчат футляры финок. "Прекратите тянуть канитель, – говорят они, как бруствер становясь между матерью и бушующей кухней: – вы введете дом в затруднительное положение!" Но не так-то легко снять с Жаворонкова гордую самодовольную фуфайку: "Меня не запугаешь финками. Хватит. У нас поселился авторитетный товарищ Черпанов. Ему передать ссоры! Милиция и та удивляется: что это за дом, где нет ни одного коммуниста. . . Спросите, говорит, ваш местком, почему он не мог вас переработать в коммуниста? Потому, что у меня гадкое и гнилое окружение". – "Ах, так вы намекаете на свой верх!" – "Мой верх чист и опрятен, а вот ваш низ сплошная грязь". Жар разгорается, грудные клетки, в поисках обязательной убедительности, разрываются. Страсти приобретают, – думается мне, юридический характер. "Гражданка, прекратите мычание!" – "Нет, вы заставьте умолкнуть свой приплод!" – "Ага, женишков дочерных на подмогу вызвали. . ." – "Здорово, Мазурский". – "Здорово, Ларвин". – "Граждане, я за нравственность!" – восклицает первый. "Граждане, – утешает другой, – вы же и без того все желудки расстроили дрязгами. Желудок любит спокойствие, вот испробуйте хоть декаду вдоль поваренной книги!"

А.М. Насель задышливо замахал руками:

– Черпанова разбудили вконец! Пора знать, – у ответработников очень ломкий сон, граждане.

По всему видно, – Черпанов пользовался здесь отменным уважением. Даже мне, узнав, что я завербован им, уступили кран. Прав-

да, умыться мне так и не удалось. С мохнатыми полотенцами через плечо, с эмалированными тазиками в руках пришли за водой Людмила и Сусанна. Черно-шелковая Людмила Львовна, мельком, как привычный наездник стремя, кинула мне:

— Вы женаты?

— Нет, Людмила Львовна.

— Но любили? . . Куролесили? Хотите, женю? А доктор женат?

— Для провинциала у него слишком крепкий взгляд, — с ленивой злостью, холодным голосом протянула Сусанна, как бы продолжая прерванный разговор, из чего я вывел, что приход доктора был сестрами, а то и всей семьей, — обдуман и сейчас обдумывается.

X

Сестры? Как вы и вправе ожидать, я чрезвычайно заинтересовался сестрами: Людмилой, если помните, в черном шелку с отделкой алым гарусом, и Сусанной похрупче, похолодней, медлительной и стройной, но, пожалуй, дальше этого поверхностного наблюдения я не двинулся. Одна — пылка, другая — холодна, сколько таких определений существовало в литературе! А поистине, если присмотреться, то и Людмила Львовна была не настолько пылка, сколько любопытна и жадна, и Сусанна холодна в силу каких-то непонятных ни для кого обстоятельств, обстоятельств, заставляющих сестру ее Людмилу Львовну смотреть на сестру с завистью, ибо чем больше холоднела Сусанна, — а я бы сказал, что похолодание ее увеличивалось после нашего прибытия ежечасно, если мерить чувства как-то физически, градуса на два, на три, — тем привлекательнее была ее красота, и так как она любила свою красоту, как подобает красивому человеку, то она, понимая свою возрастающую власть, влюблялась одновременно и в свою холодность, отчего эта холодность еще более увеличивалась, и вот почему бегство и отказ от нее жениха ее Мазурского обидел ее необычайно, как в иное время никогда не мог бы обидеть, и вот почему она кинулась к Черпанову, забыв даже свою холодность и не столько холодность, сколько утерянные . . . впрочем, обо всем этом я буду писать позже, более подробно и более ясно, здесь же я привожу эти намеки лишь для того, чтобы пояснить несколько зависть к ней Людмилы Львовны и уверить вас, что в характере сестер было много общего и для меня высшей похвалой было б то обстоятельство, если б вы Сусанну с Людмилой путали и чрезвычайно на это путание досадовали б, иначе никак не-

возможно мне объяснить те чувства, которые они испытали в последние дни нашего пребывания в доме № 42 к доктору Андрейшину, чувства совершенно одинаковые, чувства стремительные и... но об этом опять-таки дальше, а сейчас Сусанна подтвердила:

– Нет, он не провинциал, вкладывая в слово это какое-то особое содержание, которое волновало и злило сестру ее и которая тоже с особым каким-то содержанием спросила:

– А что такое, по-твоему, Сусанна, провинциал?

– Особенно, взгляд на ноги, – прошептала Сусанна.

– И Черпанов, по-твоему, не провинциал?

Сусанна попробовала белой рукой своей струю воды:

– А, знаю, – ответила она протяжно, – и вдруг, выплеснув из тазика воду в раковину, убежала с чрезвычайно встревоженными и, я бы сказал, что-то вспоминающими глазами – лицо ее по-прежнему оставалось алебастрово-холодным. Людмила, поставив тазик на пол, направилась за ней. Помимо всего прочего, что я описал выше, кухня имела еще одну особенность: все люди – сплошь – находящиеся в ней, поразительно грязны, а еще более поразительно оборванно одеты и сестры Мурфины – они во вчерашних платьях не вливали особой струи, разве что грязь их была более бодра, но это уж надо отнести за счет молодости, хотя что ж молодость? – если Сусанне не было и двадцати, то Людмила Львовна ушла далеко за двадцать семь, впрочем, возраст ее и мощь ее тела плохо обновляли ее атласное платье – истертое, измызганное, изношенное. Да и глаза ее тоже... Насель тотчас же сообщил мне что-то о ее характере и способностях. Людмила Львовна с юных лет считала, что не зря же растет у нее эта выпуклость за подбородком. Волочиться, кокетничать, буксировать рано вошло в ее бюджет, но по-настоящему она открыла запруду в пестрые дни гражданской войны, бывала она и на фронтах. Наступил мир. Она писала книгу о своих впечатлениях. Бесчисленное количество пустых обойм, встреченных ею, учили ее сжатости изложения. Книгу она назвала "400 поражений". Боюсь, что объективное служение обоим фронтам, за это она даже получила прозвище "Былинки", – сделало ее книгу чересчур субъективной, оттого-то она и не нашла себе издателя, лишний раз доказывая, что биологическая правда не есть еще искусство. "Есть у нее и жених – Ларвин, Евграф Семеныч. Также как и у Сусанны имеется Мазурский, Ян Яныч. Как понять слово – женихи? – Насель явно заискивал передо мной. – Женихи, собственно учителя. Людмила Львовна и сама многих научит, а Сусанна за последние декады отбилась и внушает беспокойство всему

дому. Почему всему дому? Дом у нас крепкий, сподручный. . ." Дальше он забормотал такое без разбора, что я совершенно все спутал. О Сусанне я добился лишь определения, что это-де "букет из поезда малой скорости". Он намекал, по-видимому, на свойственные ей декорационные шатания и медлительность. Бюллетень, например, ее жениха Мазурского очень прост: подобострастный чистильщик сапог, а вот Ларвин – хомут, служит в кооперативе, но увезет далеко. Он мне хотел еще рассказать о гражданине Терентии Трошине, бывшем крупье, но я помешал ему. Я захотел узнать более подробно значение его оговорки: часть квартирантов за определенное вознаграждение от Степаниды Константиновны и Жаворонкова выезжает, когда понадобится, на дачу, а в освобожденных ими, временно, комнатках поселяются жильцы, конкретно изменяющие за это ее смету . . . а сейчас, видите ли, Степанида Константиновна и Жаворонков не поделили Черпанова, отчего и "бузят". Я обеспокоился – и поспешил спросить (да и сестры с тазиками вернулись):

– И от нас они ждут изменений сметы?

– Зачем же доктору с голыми руками ездить?

– Ну, рубля по три в день мы заплатим. Неужели вся эта рвань и голь способна платить? Боюсь, что ей никто не платит. Черпанов еще туда-сюда, а остальные?

– Шутите, – и Насель отошел от меня недовольный. Я обидел его обязательность. Возможно, что он имел и на меня какие-нибудь "сметные" соображения, не из праздности же он со мной болтал? Как приятно было сознавать, что сегодня вагон прекратит эту запутанную кутерьму, это бесплодное чтение по складам и жизненное разнообразие будет коротким и ясным. Однако, бремя моих размышлений должно было увеличиться. Степанида Константиновна, скрывшаяся было, опять появилась, волоча за собой одутловатого старика с короткой багровой шеей, похожего на пестрого дятла, если можно вообразить, что дятел лет тридцать не умывался и не менял костюма, причем вся тридцатилетняя грязь не замазала, а только растерла по его фигуре свойственную ему блудливую хитрость. Она направилась прямо к Жаворонкову.

– Кто его отравил? – закричала она.

Дятел воззрился и долбанул клювом. Приходилось вам наблюдать ручное пахтанье масла? Нечто похожее на этот процесс по медлительности и звуку был разговор Льва Львовича, мужа квартироуполномоченной. Да и весь разговор-то заключался в двух словах:

– Во-он! Контры! . .

Вон, контры, – и больше ничего. Могущественное слово! Брякнут вот такое слово, и перед вами словно опускается окно из матового стекла, вам и низкопоклонничать хочется, и душонку вы свою готовы продать за бесценок, за тартинку, за бутерброд, и бюст ваш изображает готовность и покаяние, и на тело вы натянули власяницу, вы готовы искуплять, удовлетворять, – но уже взъерошенная гузка официальности скрылась за матовым стеклом! Позвольте, но ведь зачем же балдеть, зачем преждевременно платить пени, когда воскликнул это, может быть, каналья, дрянь, мерзавец, и вы имеете все основания его третировать?

Эти соображения я не стал бы и скрывать, – очень мне противна развязность грязного дятла, – но я увидал в руке его тлеющий остаток сигары из тех, которые вчера купил доктор, – и я поспешил покинуть кухню. Доктор в ванной делал гимнастику. Л.И. Черпанов сидел у колонки. Доски, настланные на ванну, заменяли ему постель. Изголовье – из книг по экономике и пятилетке – украшенное "думкой", своей солидной сердцевиной могло ободрить любого из нас.

– Хорошо бы заварить чайку, – сказал доктор, приседая: – чай – величайшее изобретение человечества. После вашего, конечно, Леон Ионыч.

Черпанов скромно возразил:

– Инициатива чужая. Я, Матвей Иваныч, только исполняю ее.

– Смотря как исполнять. Можно приехать в Москву и заниматься отписками, а самому ходить по ресторанам, вместо того, чтоб посещать предприятия, толковать с рабочими. Да что рабочие! Вы правы, Леон Ионыч, когда утверждаете, что классовые прослойки плохо втянуты в пятилетку.

Мне показалось, что Черпанов несколько смутился:

– Матвей Иваныч, будто я иначе...

– А разве я неправильно вскрыл шифр вашего назначения? Разве вы не доставите навербованных вами франко-порт? Нет, вы в людях так тонко разбираетесь, что их выгрузят непременно. Гранильным делом в комбинате не занимаются?

Черпанов построжал:

– Гранильным? Нет. У нас металло-литейное.

– Я плохо знаю технику. Если Урал, так непременно камни, гранит, мрамор, гранильное дело. Значит, вы кое-какие предприятия, Леон Ионыч, посещали?

Черпанов уклончиво мотнул головой.

– Ну вот, видите. А Егор Егорыч утверждает, что видал вас в больнице.

XI

Черпанов вздрогнул, быстро достал записные книжки:

– Я совершенно здоров. Понимая всю сложность и ответственность данного поручения, я запасся и на этот счет удостоверениями. Если вы думаете, что я психически болен, так вот вам бумажка. . .

Доктор отклонил протянутую бумажку:

– Зачем же, Леон Ионыч. Я и так вижу, что шасси вашего организма исправно. Экий вы вспыльчивый. Егор Егорыч видел вас в зубной больнице, а так как зубы и горло области смежные, то я, полагая, что вам зря не стоит терять времени на больницу, лучше показаться мне. . .

– Да не был я в зубной больнице.

– Скажите, пожалуйста. Значит, вы обознались, Егор Егорыч.

– Обознался, – ответил я хмуро.

Доктор подошел к Черпанову вплотную:

– А ну, откройте рот.

Черпанов распахнул широкий свой круг рта.

Доктор постучал ногтем в передние зубы.

– Первоклассное произведение, и ни одной золотой коронки. Вы не любите золотого металла, Леон Ионыч.

Черпанов молчал, сухо глядя доктору в малахитовые его глаза.

– Не выпьете ли вместе с нами крепкого чаю, Леон Ионыч?

– Нет, мне пора.

– На предприятие?

– На предприятие.

В коридоре я спросил доктора, для чего он угостил старика сигарой и зачем выдумал зубную больницу.

– Бесхарактерный старик, – ответил доктор пренебрежительно: – бесхарактерный и подлый. А с чего же вы взяли, что не были в зубной больнице? Были. Месяц назад.

– Но Черпанов-то приехал три дня.

– Забыл, совершенно забыл. Неужели вы, Егор Егорыч, не говорили мне о нем? Ведь редкий, даже по внешнему виду, экземпляр.

Я смутился. Точно, месяц назад я был в зубной больнице! Возможно, я видел там кого-нибудь похожего на Черпанова. Так тому и быть. "Но ведь на кухне из-за вашей сигары разгорается ссора между Степанидой Константиновной и Жаворонковым! . ."

— Прекрасный случай приняться за дело, — сказал доктор, направляясь в кухню.

XII

Ссора не паросиловая установка: пустил, ушел, вернулся, а она работает по-прежнему; ссора — явление чрезвычайно капризное и мало изученное. Хотя из всех ссор квартирные уже поддаются классификации и пора, пожалуй, изложить их законы. У меня на этот счет имеется много соображений. Я, собственно, из-за этого и пришел в кухню с доктором. Но, видимо, с тех пор, как я удалился, многое изменилось в настроениях вокруг основного капитала ссор. Кое-где еще можно было уловить отзвуки того, чего я был свидетелем, все же могущей быть представленной, как нечно цельное, оставалась рыжая кошка, подле громадного помойного ведра, имеющего странный цвет дамасской стали, стремящаяся по-прежнему без ущерба для себя разузнать: в чем же тут дело, что столь гадко может вонять? Но каждый раз, ткнувшись носом, она, от негодования, вынуждена была перепрыгнуть через ведро. Боюсь, что кошка придавала запахам слишком большое значение.

Трудно было, например, установить родство между Мурфиными: они с такой усиленной благодарностью — за бездарно употребленные слова — нападали на отца, такую решили дать ему острастку, что по всему видно старик даже вышел из сигарного обалдения. Внутри себя они тоже лишились согласия: Валерьян тащил его за шиворот, а Степанида Константиновна употребляла все силы оставить все свои знания начертательной геометрии на его животе.

Вокруг Ларвина, Жаворонкова, Населя возникли свои клики. Трудно исполнить их лица, так быстро соглашались они на одно, тут же вмешиваясь в противоположное, жертвуя этим противоположным ради приношения третьему — и мгновенно соглашаясь на поднесение четвертому. Запаленность, удушливость мучили их, но никто из них не хотел быть ниже другого в ссоре, меньше, дешевле. . .

Доктор выступил вперед с веселой решительностью глушителя. Он поднял ладонь к лицу, потрогал мочку уха:

— Будем говорить начистоту, — начал он, глядя на Мурфиных, — поставим на ноги истину. Что такое отец? Империалистическая

война, голод, безработица перед войной лишили меня возможности видеть отца, жить с ним, угнали его неизвестно куда, и в каждом старике, наблюдаемом мною сейчас, я стараюсь разглядеть отца. Попросту говоря, я его не знал совсем, но и в этом страдании, как и во всяком другом, есть свои хорошие стороны: не упираясь в достоинства или недостатки одного моего отца, я обеспечен теперь богатым выбором отцов и останавливаю, как я уже вам докладывал, свой взор на каждом из них. Тяжела участь отцов, граждане! И не потому, что дети к ним мало признательны — быстро теряют к ним уважение: с пятнадцати лет, приблизительно, авторитет отцов переходит на школу и школьных товарищей, еще лет через пять на любимую женщину или на честолюбие или бесчестолюбивое служение своему классу, то есть такое служение, когда честолюбие переключается на других, связанных с тобою не кровным родством, — а тяжело потому, что авторитеты настолько же близки нам, насколько они далеки нашим отцам, ибо эти авторитеты принимают иные формы, чем это было в подобном нашему возрасте отцов, и эти формы отталкивают их зачастую больше, чем содержание. Нам, которые очень сознательно пересматривают опыт поколений, можно и следует задуматься над участью отцов. Почему-то считается модным и страшно революционным отказаться от родителей, часто даже не посоветуясь об этом отказе с компетентными товарищами. И родители принимают такие поступки за должное, часто для того, лишь бы похвалить эпоху и ее формы. А не лучше ли задуматься в этом отношении, изложить, представить самому себе, посчитать себя немного обязанным отцам! Задуматься — не значит попасть под сапог отцов, я был бы величайшим глупцом, если бы призывал вас к этому. С моей точки зрения, нет ничего лучше, как делать попытки, от попытки многое зависит в жизни. В таком случае, представим себе такую попытку: один день в году — причем лучше всего выбрать праздник, и чем этот праздник выше, торжественнее, тем лучше, — мы тратим в пользу отцов. На празднике я настаиваю и потому еще, что сами отцы чувствуют себя в праздник менее терпящими нужду, менее бедствующими, в праздник они обладают тем, чем удивляли нас до пятнадцатилетнего возраста, то есть — наивностью. В этот день за нами очередь испытывать восторг и удивление перед отцами, забыть все ссоры и дрязги, подавить, укротить в себе все дурное, словом, — быть один день двадцатилетними! Только один день в году будем уважать их мнения, их заблуждения, их печали! Как-никак со всеми этими заблуждениями и печалями они воспитали нас, дали нам знания, ловкость в жизни,

смелость и оборотливость, они научили нас шататься с толком по рынку, они сопутствовали войнам, путешествиям, росту капитализма, – не беда, что за письменным столом или конторкой, – но их восхищение питало нашу ненависть или любовь к последнему; их наивные сказки про какого-нибудь там мальчика с пальчика даже и теперь имеют какую-то ценность в обиходе настоящего. Вспомните, как часто мы пытаемся побить великанов! Наше предложение? Да нет, граждане, я выступаю только от своего имени, наряду со мной нет официального общества, нет анкет и бланков, нет отчетности. Просто я, доктор Андрейшин, специалист уха, горла и носа, предлагаю каждому из вас найти в году тот день, который ему нравится, будет ли это начало весеннего равноденствия или середина зимы, или какая-либо политическая дата, не исключен день вашего рождения, но пусть перед вами с утра забрезжится. . .

XIII

– Так ты не официально? – спросил Жаворонков.

– Нет, я ссудил вам свое личное мнение, граждане. Итак, с утра забрезжатся перед нами ваши двенадцать лет. . .

Хохот покрыл речь доктора. Хохот препятствовал ему, хохот из породы долговечных, прочных, добротных мелькнул вначале словно попона, словно скатерть, с тем, чтобы в дальнейшем опуститься, как одеяло, как потолок, кровля. От подобного обеспечения доктор опустил ладонь и прикрыл глаза!

– Ах, черт! Откуда он это взял? Ха-ха! . . О-о. . . Вот дьявол! Отчего нам такое уважение?

Хохот растянул стены кухни; – знак долготы гласного звука вряд ли что определит кому! – звук этот несся по дому, оборонительно и наступательно бился среди ущелий, образованных колоннами; вовлек в соучастие двор; вмешался в разговор прохожих на улице, заставив одних вступить в спор: ”Пьяны? Нет. Футбол. Да какой же с утра футбол! А какое пьянство? Пьянство – с вечера идет”, других – без спора – пойти домой и поделиться с домочадцами рассказом о счастливцах, с утра празднующих свадьбу на новой квартире; третьих – попытаться подхохотнуть. Хохот привлек на кухню мальчишек и старушонок. Старушонки похихикивали, маль-

чонки брали дискантом, а иные простуженные — альтом. И откуда только приперло мальчонок! Они заполнили весь коридор! Они вылезли из-под кроватей, из углов двора, где играли среди лопухов, ржавых листов железа и такой дряни, которая даже в утильсырье не годится. Они орали, визжали, царапали и снабжали друг друга тумаками. Хохот был то далекий, как грохотание трактора где-то за рекой и еле уловимый из-за множества заворотов, лесков и оврагов, то близкий, как гул от бондарной работы, когда рядом с вами бондарь наколачивает последний обруч. Даже кошка, фыркнув, унеслась прочь от ведра, которое по-прежнему выставлялось странным блеском дамасской стали! И какие длились гримасы! Этот — дельфин; там — лакомое кушанье, название которого вам за краткостью времени не удается уловить; эта — колода для корма; тут — ужасный профиль лягушки; там — пролитый компот. И со всем этим хохотала плита кровавой пастью соснового пламени...

Доктор открыл малахитовые свои глаза, выхватив из кармана достопамятную коробку с дервише-подобными сигарами. Хохот умолк.

— Трудно быть хорошего мнения о том, что непонятно, — продолжал доктор. — Я так и думал: формулировки мои неясны и провинциальны, но я теперь закончу свою мысль. Прежде всего, не воображайте, что наслаждение, которое испытывает в назначенный вами день ваш отец — его принадлежность. Правда, он будет жить, утешаясь, что один день в году вы поняли его, вы были к нему внимательны, ласковы и вежливы, его депрессия постоянно будет разрушаться воспоминаниями о том, как вы его снабдили червонцем, посетили вместе с ним пивную, зоосад и планетарий, кстати, все это стоит рядом, — но вам самим в следующем году будет легче провести этот "подаренный" день, да и из года в год отблеск этого наивного дня вам будет все слаще и приятнее. Ложась спать или когда вас будут давить в трамвае и вы заедете кулаком по шее какой-нибудь почтенной старушке, вы вспомните "подаренный" день и подумаете: а ведь, черт подери, отличная штука молодость, а тем более воображаемая! Медленно, но верно таким образом вы воспитаетесь до того, к чему столь упорно зовет вас современность: давать показания себе и другим во всех своих чувствах искренно. Часто отцы ваши живут плохо, в то время, как вы сами отлично питаетесь, вам тепло, хотя и вы жалуетесь на солнце, великолепно сияющее над вашей головой среди облаков, похожих на слоеные пирожки, которые только что

выхватили из громадной кондитерской печи... Простите, вы курите, Сусанна?

И он протянул сигарную коробку Сусанне.

Я не столь крепко наблюдал за происходящим, меня больше занимала деликатная кошка, к тому же меня оттеснили вплоть до помойного ведра. Я плохо понимал, ради чего демонстрирует доктор свой образ мыслей. Я даже обратился к стоящей рядом Людмиле Львовне: как она представляет себе мысли доктора? Категорически утверждаю, что она не смотрела на доктора, а еще менее можно было вообразить ее любящей сигары. Людмила Львовна – мощные руки в боки – пылающая, грязная, в рваном атласном платье, оттолкнула тяжелым коленом меня, приблизилась к сестре. Колено ее требовало движений и действия. Доктор ее оскорбил! Не дав разглядеть себя – как жениха – он, чужой, ворвался в ссору и занимает свою какую-то чрезвычайно выгодную и смелую позицию. Ага, ты не хочешь жениться на наших, так мы приготовили тебе другой венец! Так я понял ее – мощные руки в боки, ее сдвинутые ключицы, иначе чем же объяснить ее поступок, когда она, оттолкнув коленом сестру, схватила помойное вердо и со всем содержимым надела его на широкую голову доктора.

Ясная улыбка доктора скрылась в ведре. Он присел.

Опустела мгновенно кухня. Примуса шипели по-прежнему.

Сусанна легонько стукнула пальчиком по ведру:

– Да, он не провинциал, – сказала она лениво и протяжно, уходя вслед за Людмилой Львовной, которая все так же – руки в боки, все так же – пылающая грязью и доблестью.

С плеч доктора струилась чрезвычайно неприятная по пахучести жижа. Он мотал головой, бил по ведру кулаками. Я растерялся. Детский визг опять объявился в коридоре, на этот раз его загнали в комнаты легкие шлепки. Кастрюли покинуто шипели, одна плыла розовой пеной. Я догадался, наконец, поставить доктора на голову – и он, так сказать, выплюнул из себя ведро. Я повел его было под кран, но он, схватив кипящий мой чайник, устремился в нашу комнату. Понятные всем соображения заставили меня не очень густо торопиться к нему.

Я постоял на крыльце. Облака в небе больше походили на дезинфекционные пары, чем на слоеные пирожки.

Когда я вошел в комнату, доктор мыл руки над эмалированным тазиком. К счастью, широкие плечи доктора плотно закупорили

ведро, и пострадала только его рубашка. Со счастливым лицом он похлопал ладонью эмалированный тазик.

– Все-таки она заботится обо мне, если оставила в коридоре свой тазик. Как жаль, что я растоптал сигары, Егор Егорыч.

– Через три часа на вокзале купите.

– Вы полагаете, что я успею за три часа отмыться, Егор Егорыч?

– Тогда я уеду, Матвей Иваныч, один.

– Невозможно! Главное, как ожидать, чтоб такое невзрачное ведро издавало удивительно густое зловоние, словно оно всю жизнь копило его для меня. Поступок Людмилы Львовны с ведром чрезвычайно поучительный по выводам, Егор Егорыч.

– Еще бы. Передают, что один офицер из кулачков, дотянувшийся к чину, дорвался и до камина и так энергично начал сушить ноги, что обувь зажгло. Денщик, увидев это, говорит: "Ваше благородие, вы шпоры сожжете". – "Врешь, разве сапоги, да и то они сгорели. Благородные не придают значения сапогам".

– Егор Егорыч, стойте! Она хочет сказать: на тебя будет вылита вся гадость, которая окружает меня, все сплетни и мерзости, но ты терпи и умей разбираться. Если даже помойное ведро тщательно почистить, покрасить и дезинфицировать, то и в нем можно носить питьевую воду.

– Пусть она носит!

– То есть, ты можешь надеяться на лучшее, умей бороться и уничтожать препятствия, а самое главное, несмотря ни на что, должен быть весел, приветлив и спокоен. А что вы, Егор Егорыч, централизовали в себе из моей речи?

– Теперешней?

– Нет, в кухне.

– Перед ведром?

– Если вам хочется четкости, то – да, перед ведром, Егор Егорыч.

– Вначале вы наврали насчет своего отца, когда вам и мне известно, кто ваш отец. Меня мало занимает вопрос о "подаренном" дне касательно к вам, но удивительно превратно толкование своих поступков, когда только что отравив отца их сигарой, доведя его до редкого обалдения, вы указываете на желаемость любви к старикам.

– Ну, знаете, Егор Егорыч, ваши придирки относятся больше к методам, чем к выводам.

– Выводы дезавуированы моим носом.

– Понятно ли вам, Егор Егорыч, что мы с вами наблюдаем удивительно крепкую клику, прекрасный кастовый дух, великолепно спаянную семью. Тумаки отцу и мужу? Чепуха! Показное. Смеялись над моим предложением? Да потому и смеялись, что ежедневно они проводят мое предложение с той разницей, что в семье нет разлада и им приходится придумывать разлад, плотность и целостность этой семьи удивительны! Они вас обманули, Егор Егорыч, так же, как они обманывали десятки и сотни до вас. Помимо того, что я только что расшифровал перед вами, почему Людмила Львовна так задушевно пошутила со мной? Да потому, что я намекнул на отраву ее отца сигарами...

– Только на сигары?

– Вы понятливый ученик диалектики, Егор Егорыч. А по-вашему, на что же я мог намекать?

– Сигары вы сублимировали, как образ вашей любви...

– Та-та! Бросьте. По-вашему, она отшвырнула мою любовь?

– А помойное ведро, Матвей Иваныч, если рассматривать, как символ...

– Вот и учи профанов!

Доктор захохотал и, схватив тазик с полотенцем, выскочил.

Психоанализ психоанализом, но я испытывал такое состояние, как будто и меня облили помоями. Нет, многие метафоры ценны именно как метафоры!

XIV

Черпанов брился возле трюмо. Доктор плескался в ванной. По-разному бреются люди. Один бреется от уха к подбородку, другой – от подбородка к уху, иной бреется туго, иной легко, иной любит посвистать во время бритья, а иной вывести такую песенку, чтоб было пожалобнее, и иные придерживаются такого молчания, словно во рту у них девизный вексель, соответственно обставленный проездными документами. Черпанов, видимо, любил бриться с разбросанными разговорами.

– Обождите-ка, – остановил он меня ногой.

– Быстро вы, Леон Ионыч, отделались.

– Не отделался, а вернулся. Осознал – у всех нас глубоко вре-

менное жилище. Все мы в быту кочевники, с трудом переходящие к осмысленной, то есть к оседлой жизни. Вот поэтому-то и надо усы сбрить.

И он действительно намылил усы и взмахнул бритвой.

— Зачем?

— Не орите под руку, — со злостью отозвался Черпанов. — Ваш доктор прав в одном: если тебя направили — действуй решительно вплоть до полного признания. Кочевники? Сади их на оседлость, заставляй их приспособляться к жизни, дестиллируй их.

— Какие же кочевники в Москве?

Бритва отвалила пол-уса, обнажив синюю твердую губу. Он приблизил лицо к зеркалу. Отошел. Опять приблизил. Как бы с сожалением помял в пальцах пол-уса, а затем быстро намылил еще губу.

— Продал я вчера спекулянтику поддевочку синего заграничного сукна. И продешевил, кажись.

— Зачем же продавать?

— Поручили.

— Близкие поручили?

— Какие близкие?

— А чего же грустите, если продешевили.

— Ну вот, характер такой. А сегодня продумал, в связи с решимостью, — и вышло зря продал. Лучше бы обменять. Ну разве на мне костюм? Мог бы, в конце концов, и в поддевку нарядиться.

— Кто же теперь носит поддевки, да особенно в Москве?

— Именно. Кто наденет зеленую поддевку? Ее, небось, на Урале какой-нибудь скотопромышленник носил.

— Почему скотопромышленник?

— Скотопромышленники обожали темнозеленое. Из ихнего сословия происходили самые знаменитые биллиардные игроки. А не сыгрануть ли нам, Егор Егорыч, на биллиарде?

— Сыграли б, да вот сегодня уезжаю.

— Куда?

Я объяснил.

Он уже отмахнул второй ус, присмотрелся, еще раз намылил щеки и, указывая головой на портфель, сказал:

— Отдых? Вот и отдохнем вместе. Первое отделение откройте, Егор Егорыч, лежит там в синем конвертике бумажка. Очень вашего отдыха касается. Прочтите.

Я прочел телеграмму: "Продолжайте комплектовать, — торо-

пили Черпанова из Шадринска, если даже арестуют, сообщи, выручим. Директор строительства Забисин". Кроме телеграммы, в конвертике лежали черпановские полномочия за подписью того же Забисина на оптовое и розничное комплектование рабсилы.

– Да и доктор сегодня не едет, Егор Егорыч, отдыхать с вами.

– Как?

– Только что порадовал. Буду, говорит, ожидать вместе с вами полной укомплектовки вашего, то есть, моего, задания. – Черпанов посмотрел на меня значительнейше и еще более значительнейше проговорил: – Откройте второе отделение! Загляните, но не вынимайте. Документ чрезвычайной важности!

Я заглянул во второе отделение портфеля. Там лежал толстый пакет, без адреса, с девятью печатями, гигантскими и сургучными:

– Пониме?

– Нет.

– Мореплавание знаете?

– Нет.

– А слышали: капитану дается пакет, который он распечатает, скажем, у Манильских островов, и там находит поручение чрезвычайной важности?

– Кто же вам капитан и где же находятся ваши Манильские острова?

– Изучайте навигацию. Изучайте революционную навигацию, дорогой Егор Егорыч!

Я чувствовал, что Черпанов побеждает меня. Нет, зря я думал о его провинциальности и уже совершенно зря поверил доктору, что он намеком своим направил Черпанова на усиление комплектовать рабсилу в таких местах и таких людей, где и кого никто еще за все время революции не комплектовал. Смущало меня, правда, то, что намеки доктора о черпановском костюме оправдались, но мало какие намеки бывают, а затем, возможно, что Черпанов придает свое, особое и возвышенное значение заботе о костюме. Копошась в остатках этих размышлений, я нерешительно сказал:

– Пожалуй, лучше уж мне одному тогда уехать в дом отдыха-то?

Черпанов мял у зеркала толстую свою губу.

– Позвольте, да вы, Егор Егорыч, ознакомились с задачами строительства? Чего вы бунтуете? Что вы знаете? Строительство наше, дорогой мой, и сверхмощное, и сверхбыстрое, а главное – сверхнеобходимое, иначе б мне не отпустили такие полномочия и я бы усы не сбрил.

— Вот еще усы приплетете к строительству.

— А чего нет? Поскольку усы пускают меня в нелегальность, раз я поругался с инспектором труда, постольку они заставляют меня действовать более революционно. Все удавшиеся революции были бритые.

— Да вы, кажись, комсомолец, Леон Ионыч.

— Я?

Черпанов помял нижнюю губу.

— И то и се. Но разнюсь уполномочиями. Помните, что нашему комбинату поручено в виде опыта перерабатывать не только руду, но и с такой же быстротой людей, посредством ли голой индустрии, посредством ли театра или врачебной помощи — все равно. Но чтоб мгновенно! Вот я вам проектики покажу, пальчики оближете. Переделка в три дня. . .

Удивление, должно быть, непосредственно перешло на мое лицо, потому что Черпанов, взглянув на меня, многозначительно добавил:

— То-то.

Становилась понятной его гордость, с которой он встретил нас у ворот — и даже его снисходительное отношение к "сковыриванию" доктора, когда он узнал, что доктор готов идти служить в комбинат.

— Вам, Леон Ионыч, для такой цели нужны, наверное, особые люди.

— Кое-кого собрал.

Он сбоку соединил обе губы, присмотрелся — и остался доволен. Быстро повернувшись, он хлопнул меня по плечу:

— Обдумывал я сегодня и с такой точки зрения, Егор Егорыч, — что ж, если решаться, то надо решаться! Вот хотя бы касаясь особых людей. Где их найдешь, если простых чернорабочих нет на рынке. По правде сказать, так для меня, чем люди хуже, тем лучше. Если у человека хорошие задатки и я его перевоспитаю, то какая мне от него благодарность? Он и перевоспитания моего ценить не будет, он все своими хорошими задатками будет хвастать и, того гляди, в моих действиях дисгармонию может разглядеть, свою линию пожелает загнуть, сам дирижировать собой, диктовать свои реформы. Какая же мне благодарность? Так?

— Так-то так, однако. . .

— Выкатывайте, Егор Егорыч, ваше однако!

Черпанов меня озадачил:

— Однако, почему же за дрянью в Москву ездить?

— Дрянь дряни рознь, Егор Егорыч. Есть дрянь неученая, неграмотная, неловкая, стихийная, так сказать, дрянь. Такой дряни, безусловно, везде много. Но есть дрянь не так, чтоб уж очень дрянь, а полудрянец, который если даже слегка обработать, то он в деле оказывается очень и очень полезным. Вот такой ученой, грамотной дряни, зря пропадающей, много, думается мне, в центрах, где пропадает она без толку и без счастья. Мы ее хватаем — и в домну!

Вспомнив наш наем, я обиделся.

— Не принимайте на свой счет, Егор Егорыч. Иначе я бы пустил вас в отпуск, сказав, — погуляйте, подумайте и приезжайте. Нет. Я вас отнес в свои помощники, а не учащиеся. И как мне раньше в голову не пришло взять секретаря! Я же шестнадцать городов объехал, а и шестнадцати дельных людей не собрал. Что происходит, объясните мне? Сто пятьдесят миллионов в стране, а нету рабочей силы. Что — все лентяи? Или больные? Ну, добро бы квалифицирку искал, а то беремся мгновенно обучить, в кратчайший срок преобразуем из лодыря литейщика первой категории. . .

Он толкнул ногой портфель:

— Вот тут поглубже брошюрку моего сочинения на эту тему обнаружите. Так ведь нет даже людей, которых можно было бы заставить прочитать брошюру. Это подвиг, Егор Егорыч, собирать теперь рабсилу.

У вас редкий подвиг, если я, Леон Ионыч, правильно вас понял.

— Повторите.

Я повторил ему, как я его понял. Он пожал мне руку.

— Иначе б и не взялся, если б не трудность подвига. Если уж совершать, то совершать по-настоящему. При тысячесильном моторе и дурак перелетит через океан, а вот ты его перелети верхом на гусе. Это уже, Егор Егорыч, получается не подвиг, а сказка, но сказка, закрепленная соответствующими полномочиями? Отлично, — ответил я: — нету у вас рабсилы, так наше строительство другой класс за бок хватит.

Я заметил осторожно, что так ли он понял свои полномочия, что нет ли здесь ошибки, хотя, с другой стороны, его партийность позволяет ему уточнить и разъяснить в Москве директивы и, если они ошибочны, — исправить.

— Будьте покойны. Проверил. Директивочки правильные. Но только заметьте в качестве опыта, и вы в них окунаетесь по должности секретаря. Вы тоже, Егор Егорыч, делаетесь до некоторой степени нелегальным.

– Леон Ионыч, а не кажется вам нелепым, что для вполне легального, государственного и даже поощряемого предприятия мы должны жить и действовать нелегально?

– Я и сам так думал, Егор Егорыч, до той поры, пока не сбрил усы, а сбрил, и мне подумалось, что чем крупнее предприятие, тем в нем больше тайн, хотя бы это и предприятие заготовляло одно молоко. Вот хотя бы обратите внимание на сырки, которые выпускает "Союзмолоко". Сырок в мокрой бумажке, и цена-то этому сырку пятнадцать копеек, и едят-то его, преимущественно, дети, а какой лозунг напечатан крупнейшим шрифтом на обертке: "Оппортунизм – худший враг пятилетки". Поройте-ка в Союзмолоке, вы там и не такие тайны найдете!

Стрелка, между тем, далеко подвинулась за полдень. Доктор все еще мылся. "А, прах с ним, – подумал я, – пусть моется, ну, уедем завтра, – кажись, последний день, на который можно отсрочить билеты".

Черпанов двинулся к выходу:

– Оставайтесь, Егор Егорыч. Нам ученые люди нужны, а если они честны, тверды и поворотливы к требованиям науки, высокие цели ждут их.

Почему я не ответил отказом? Сознаюсь, я всегда считал, что быть секретарем большого человека лучше, чем быть самому большим человеком. Ответственности – никакой, а если большой человек покатится, то падать секретарю несомненно легче, хотя бы потому, что высота, на которую вознесен большой человек, неизмерима с высотой его секретаря, как бы он ни был услужлив. Что же касается могущества, то оно всецело зависит от секретаря, по общему мнению, оно часто лучше изобилует благами, чем могущество большого человека. Когда большой человек приходит к славе? Очень поздно. Покуда он до нее доберется, до тех пор его крепко зацепят болезни, изведут бессонные ночи, непрерывная борьба с противниками, родственниками, женой, наконец. Постоянно он торчит над книгами, изучает языки, постоянно должен держать в памяти бесчисленное количество фактов, цифр. Там ему нужно просмотреть и сравнить одно, здесь поехать, проштудировать и процитировать другое, а тут ожидает третье, еще более мучительное. К тому же заботы, измены, предательства. Тот же самый человек, которого ты вчера еще считал своим другом и почти отцом, сегодня из-под угла плюнет тебе в глаза, да еще притом с такой ловкостью, что ты и не разглядишь его лица. Будущий твой ученик, несомненный талант,

вдруг запустит такую подлость, с таким искусством оклевещет тебя, что ты только руками разведешь, если они у тебя еще не отнялись раньше от негодования и непосильной работы. И все-таки, несмотря на все препятствия и трудности, большой человек прет и допирает. Вот здесь-то и ждет его секретарь, молодой, полный сил, решительный — и часто не дурак выпить. Ну, что выпить? От выпивки редкий человек откажется, и это, собственно, никак человека определить не может, да и что, подумаешь, за благо — выпить, нельзя же, скажем, выпить сразу бочку, а раз нельзя, то стоит ли спорить об этом. Нет, секретарь получает другие блага, которыми не может уже пользоваться большой человек. Скажем, живот. Ну разве есть живот у большого человека? Нет живота, заявляю с полной ответственностью за свои слова. Какой это живот, если он не может переварить сразу три порции шашлыка по-карски, поросенка с хреном, рябчика или какой-нибудь десяток стерлядей. Плевать я хочу на такой живот. А костюм? Разве может на большом человеке висеть по-настоящему костюм? Нет, лучше уж вешалку тогда посадить в машину и пустить по улицам. Понимая это, большие люди и натягивают на себя всяческую дрянь, до брезентовых штанов включительно. А девушка? Фу, даже писать не хочется. Что понимает большой человек в девушках? С какими ему силами к ним подходить? Ну, допустим, подошел, ну, сел, взял там за руку, что ли. А дальше что? Дальше он будет думать: э, забыл записать что-то, э, не дочитал того-то, э, запамятовал напомнить тому-то по телефону. И кажется ему, что девушка-то глупа, и порет глупости, и глаза-то у нее не такие прозрачные и приятные, как чудилось раньше, да и вообще походка-то дурацкая, а если попытается молчать, то и молчит-то чрезвычайно пошло. Вообще, не угодишь. То ли дело секретарь! Он ее сейчас в кино, он ее сейчас в Большой театр на балет, он ее на бега, он ее на машину со скоростью в сто пятьдесят километров, так что девушка, хочет — не хочет, а сама виснет на шее. Да, превосходная вещь — секретарь большого человека.

XV

Доктор сидел опять на скрещенных ногах, пришивая к пиджаку пуговицы. Нелепо, конечно, спорить о любимых позах челове-

ка, все-таки, мне кажется, бывают положения, когда собой надо распоряжаться по-иному, чем всегда. Как-никак, а нас обидели, и позорно обидели, – помойное ведро на голове не цилиндр, если даже и считать цилиндр смешным головным убором, – и более уместно было б сейчас, например, доктору лежать, размышляя о нелепости нашего положения. И затем, что это за работа – отпарывать и вновь пришивать пуговицы? Рассматривать подобное занятие, как отвлекающее мысли в другую сторону, тоже странно, хотя бы потому, что доктор явно не умел шить.

– Уезжаю, Матвей Иваныч, – сказал я, – до поезда час.

– Счастливого пути, – ответил доктор, откусывая нитку и принимаясь за следующую пуговицу.

– Я вас не ввожу в дело, так как передают, что вы остаетесь, Матвей Иваныч.

– С тех пор, Егор Егорыч, как я сказал это Черпанову, я продумал вновь свои положения. Силы расположены столь сложно, что мы признаем с грустью – без вашей помощи, Егор Егорыч, трудно одному дисконтировать эти силы.

Я поблагодарил его за любезное мнение, добавив, что вынеси он его в другом месте и при других, более достойных положительного человека обстоятельствах, мне было б слушать это вдвойне или втройне приятно. Если ему угодно, я могу еще вместе с ним произвести пятнадцатиминутный дисконт.

– С меня достаточно, Егор Егорыч.

Я положил перед собою часы.

– Обратили ли вы внимание, Егор Егорыч, на Жаворонкова?

Я ответил, что атлет с почтовым ящиком на плечах легко может заинтересовать каждого, даже и не наблюдательного, для меня же в этой точке некоторым образом сосредоточены воспоминания детства, когда я очень любил в цирке французскую борьбу и мне казалось необъяснимым, почему борцы, – если они действительно желают славы, – не выскочат за арену и не перебьют всех зрителей. Правда, мои понятия о славе похожи на понятия доктора Андрейшина о любви, но ведь то было детство. . .

– Точно так же в этой точке, именуемой Жаворонковым, – начал доктор, поднимая ладонь к уху, – и для меня сейчас сосредоточены многие выводы, но в иной области, чем атлетика. Начнем с того, что мы сегодня достаточно потолкались на кухне, дабы понять те или другие моменты. Окинем вначале общим взглядом присутствовавших там. Кто они? Недавно еще мелкие торговцы, содержатели

мастерских вроде пуговичной, портняжных, переплетных, есть, кажется, владельцы склада машин, словом, остатки нэпа, ныне стертые в порошок и состоящие на государственной службе. Не поразила ли вас странная особенность? Помимо разговоров об еде, все они жаловались на болезни, хотя с виду они не особенно больны, да и жрут здорово. Даже про старичка Льва Львовича, хотя и по пенсионной книжке значится, что он инвалид второй категории, я бы утверждал его здоровье. Разве в состоянии больной выкурить такую сигару и не тряхнуться в припадке? Ну, допустим, он болен. А Жаворонков? Вернемся опять к ссоре между ним и Степанидой Константиновной. Ясно для всякого, что здесь мы наблюдаем борьбу за власть. Благодаря каким особенным своим достоинствам, Степанида Константиновна приобрела власть над жильцами, используя ее для своих целей, а с выдачей Сусанны Львовны за Мазурского, — я тоже не знаю н не догадываюсь, чем он может быть полезен, — власть эта упрочивается. Выходит — пропусти сейчас Жаворонков удобный момент, и власть к нему не перейдет никогда. Откуда у Жаворонкова такое властолюбие, вдруг вспыхнувшее? А я знаю? Несомненно только одно, что он чувствует приближение или уже почувствовал то, что называется волнением пророчества; я склонен, пожалуй, допустить, что он не только почувствовал, но и удачно испытал пророчествование на ком-то из своих. Появившиеся поклонники придали ему сил. Не исключена также догадка, что он использовал, как средство самозащиты и самовооружения — болезнь, а ведь пророки редко попадались здоровые. Уверяю вас, Степанида Константиновна понимает мощь пророка, понимает, почему Жаворонков один из всех жильцов не обращает внимания на Сусанну, будьте покойны, это тоже маскировка перед нападением — и, уверяю вас, страшная маскировка. Сейчас он нашел очень ловкое оружие — сама Степанида Константиновна им давно пользуется, но неумело. Получается, таким образом, что слабость болезни, все эти охи да вздохи в действительности столь же мало признаки телесной немощи, как и то, что зверь, когда видит неизбежную гибель, притворяется мертвым, когда птица, спасая семейство, симулирует неумение летать, а видали вы, когда дерутся петухи и один побеждает другого, как побежденный бьется в истерике, закатывает глаза и квакчет, честное слово, курицей.

— Разве и Сусанна жаловалась на болезни?

— Нет, Егор Егорыч. Более того, полагаю, что она предпочитает молчание. Ей глубоко противна идея болезни.

— Следовательно, вы считаете, что стремление в болезнь есть в данном случае сознательное действие?

— Опять эта игра на бессознательном! Все сознательно в нашем теле, Егор Егорыч, все исполняет взаимно связанную работу, необходим только высокий интеллектуальный уровень и помощь других интеллектов, — заинтересованных в правильной, то есть для разумного общества, работе, для того, чтобы все, так называемое "бессознательное" стало сознательным, ибо человек должен говорить искренно все свои мысли и желания. Чем более человек порабощен самим собой и окружающим, тем он больше лжет и притворяется, тем больше он обесценивает себя. Посмотрим на Сусанну! Это очень хрупкий, нежный, но ловкий организм. Вы сможете в этом, наверное, сегодня же убедиться, так как мы уже просрочили отъезд.

Действительно, на часах было без четверти три.

— Не досадуйте, Егор Егорыч, завтра мы выедем обязательно. Если вас огорчает потеря билета, я плачу за ваш билет. Итак, я продолжаю?

— Обязательно, выедем?

— Э, полноте, не так-то вы торопитесь, иначе не забыли б о часе.

— Продолжайте.

— Мы сказали, что даже там, где — как на случае с Сусанной Львовной видно — крепкий и жизнестойкий организм желает покинуть чуждую ему среду, однако связанную с ним родственными и кастовыми отношениями, этот организм может потерпеть значительные изменения; в частности внутренние колебания, в особенности затянувшиеся, могут выразиться в пасмурности сознания, в диких вспышках гнева. . .

— Вроде ведра, но проделывает это ее сестра.

— Совершенно верно: вроде ведра. Однако Сусанна стукнула пальчиком? Теперь мы спрашиваем вас только — нужно ли к подобному организму подходить вдумчиво, осторожно, учитывая всю его ценность, или трахать его прямо по башке всеми своими выводами, иногда убийственными по своей резкости, как я думаю поступить, например, с Жаворонковым.

Я сказал ему, что мне кажется удивительным, откуда в нем, прошедшем, что называется, огонь, воду и медные трубы, такая излишняя, по моему мнению, деликатность. Девушка тоже не сегодня выпущена на свет и вряд ли ослепнет, если он пойдет к ней и изъяснится в своих чувствах; что же касается Жаворонкова, то, пожалуй,

опыта на кухне достаточно для убеждения о целесообразности диалектики среди подобных субъектов, и я заключил, что чуткость, перерастающая в мордобитие, формула, совершенно меня не устраивающая.

— Егор Егорыч! Уверяю вас, что во мне всегда преобладала чуткость, как в вас грубость.

Я предложил развивать это сравнение на психологии других лиц. Он улыбнулся и лег на матрац. К сожалению, должен признать, что эта поза нравилась мне не больше предыдущей.

— Откуда мордобитие с Жаворонковым? Поверьте, что стоит только приказать ему прекратить пророчества, пресечь сексуальные устремления на Сусанну, разбить его надежды на власть, как вы увидите перед собой мягкого и чрезвычайно нежного человека.

— Короче говоря, вы его вылечите?

— Не знаю, вылечу ли, но что обезоружу и устраню угрозу над Сусанной, — это бесспорно.

— Но если вы его вылечите, следовательно, он будет нормальным гражданином, не будет жаловаться на болезни, страдания и прочее.

Доктор зевнул.

— Ясно.

— Будет весельчак вроде вас?

Доктор молчал.

Я высказал соображение, что если бегство в болезнь есть особенность уничтожаемого класса, то бегство в жизнерадостность и веселье — нет сомнения, принадлежность класса поднимающегося. Судить об этом можно хотя бы потому, что все герои современных романов и драм удивительные бодряки и весельчаки, — не исключая и вас, доктор. Правда, они не всегда убедительны в своих поступках и мыслях, но тут, я думаю, вина уже не героев и авторов, которые, должно быть, сами-то не так-то уж далеко убежали в сторону жизнерадостности и веселья, а отделываются больше словами, чем укрепляют себя поступками, а, возможно, и потому, что оптимизм — область, мало изученная, и то, чему автор должен радоваться сегодня, завтра должно огорчить.

XVI

Доктор ухмыльнулся. Удивительная у него улыбка! Есть улыбки одноногие, инвалидные; есть улыбки двуногие, нормальные, есть улыбки быстрого хода, спокойного и есть торопливые, семенящие; есть чисто животные улыбки, четвероногие, так сказать, грубые, после которых немедленно раздается хохот — тупой и страшный, вроде того, какой нам пришлось испытать в кухне — перед ведром, — но есть очень редкий сорт улыбок, пускай, назовем их треногими. В них — проникновенность, достигают они, тревожат, самую душную темноту твоего сознания, они настойчивы и убедительны, и между тем есть в них устойчивость и задумчивая расчетливость треножника, ты чувствуешь себя так, как будто и здесь ты находишься у себя дома и по ту сторону, еще не доступную твоему пониманию.

— А уезжать-то вам, Егор Егорыч, не хочется. Вот и про часы забыли.

Я действительно забыл. С огорчением захлопнул и крышку.

— Ну, уезжать вам завтра, Егор Егорыч.

— Окончательно?

— Окончательнейше! Чуть лишь два часа — а мы в трамвае. Покамест же, не побывать ли нам у Жаворонкова? Хочется мне сжать его высокомерие.

По лестнице, заставленной затхлым барахлом, бочком мы поднялись к Жаворонкову. Ожидал я увидеть благолепие, чистые полотенца на божнице, лампадки перед образами, благообразных старушек, все еще сохранивших монашеский лик, запах ладана, — а посреди суматошливой вони и сора за грязным столом сидел Жаворонков, и перед ним возвышались три тома "Истории атеизма" и рядом "Переписка Маркса и Энгельса". Стены — в антирелигиозных плакатах и плакаты даже на потолке (центр его квартирки находился, как я уже говорил, в домовой церкви) — там, где я думал найти уцелевшие нимбы евангелистов. Рядом с Жаворонковым скромненько покуривал трубочку на редкость здесь опрятный, но также и на редкость невзрачный старичок, немедля отрекомендовавшийся нам "дядей Савелием, братом то есть Льва Львовича Мурфина, известного ветерана гражданских битв, пенсионера, признанного и почтенного. . ." Доктор не обратил на него никакого внимания, да и все старания Савелия Львовича Мурфина были направлены всегда к тому,

чтобы на него не обращали внимания, и вот в этом-то "необращении внимания", скажу откровенно, была самая главная и самая тяжелая ошибка. "Да что, мол, я понимаю в людях", а вот доктор с его проницательностью, с его психоанализом, с его специальным воспитанием, как мог проморгать Савелия Львовича, – для меня и посейчас непонятно. Единственное тому объяснение – любовь, и так как на любовь сейчас романисты валят не так-то много, то я полагаю, мне удается валить вину доктора на эту самую его любовь, хотя, как увидит читатель в конце нашего романа, и любовь-то у доктора была довольно странного вида и намерений, но вот как раз благодаря этому странному виду авось нам и удастся оправдать или "замазать" его ошибку. Или все-таки, в ущерб истине, ибо тогда мы не так-то уж много занимались психологией и задачами Савелия Львовича, я скажу напрямки, что мне много придется говорить о нем впоследствии, что он непрестанно и все время попадался мне на пути, шмыгал возле колонн всю ночь, – ибо, повторяю, хотя, кажется, я об этом еще и не говорил, но слово "повторяю" всегда заставляет читателя воспомнить и запомнить, чего никогда и не упоминалось автором, так вот: повторяю, жизнь в доме № 42 была, преимущественно, ночная, часов так с одиннадцати. Днем или служили или спали, да и после службы, от пяти до десяти, тоже спали, а затем начинали скрестись, таскать мешки, лазить в погреб, на чердак, вкатывались ломовики, изредка заворачивал грузовик, пахло керосином, медом, мазутом, ситцем, конфетами, из комнаты в комнату перетаскивались узлы, возле колонн шептались, шептались в кухне и во дворе. . . как видите, даже я понимал, что здесь происходит; игра, как видите, велась в открытую или потому, что люди уже перестали бояться, или потому, что они потеряли узду и не имели больше сил скрывать свои жажды. . .

Как я и предполагал, – мои предположения всегда грубее действительности, – и старушки молитвословные нашлись у Жаворонкова, но тоже иные старушки, стриженые, ученые, в очках, с брезентовыми портфеликами и с книжками – тоже по атеизму. Разве жена Жаворонкова, здоровенная и дерзкая баба, имела в себе какие-то неуловимые остатки прошлого, – повадки ее, длинная юбка, пробор буравились сквозь муштру современности, но стоило заиграть большой шейной вене Жаворонкова, как баба немедленно покорялась, изгибаясь в самой забавной наисовременнейшей стремительности и научности.

XVII

Жаворонков, увидя нас, встал, подпирая потолок почтовым своим ящиком, обмазанным картофельным пюре.

— Доктор! Матвей Иваныч! — закричал он, опять грузно опускаясь на скамейку: — Примирителем пришли? А тут уже сидит примиритель... видите? Савелий Львович, говори!

Опрятный старичок торопливо запыхал трубкой:

— Ну, какой я примиритель, Кузьма Георгич. Я сам человек всесторонне запуганный и ничем не почтен. Бесспорно, люблю я вежливость и приятные одеяния... — Он ласково взглянул на веселого доктора и тихонько продолжал: — Меня, Матвей Иваныч, даже за смехотворную вежливость в очередях, без всяких документов, впереди всех пускают. Так как, говорят, везде плакаты, призывающие и продавцов и покупателей к вежливости, то ты иди вперед, старичок, и будь показательно вежлив. Я слушаюсь народа, иду и раньше всех получаю мне положенное...

— Не примирюсь, — стукнул ладонью по столу Жаворонков.

Старичок ласково уставился на него — и он стих.

— Да будет вам, Кузьма Георгич. Пришел я с единственной целью полюбоваться на купленное вами зеленое одеяние. Материал отличный, аглицкий, как говаривали в старину. Показали б. Вот и гости вместе со мной полюбуются.

— Не покажу.

— А зря отказываетесь, Кузьма Георгич. Все-таки, вот купили английского материалу вещь, а ведь могли ошибиться — вовсе она не вашей специальности и даже наоборот.

— Моя специальность — мороженщик! Я профсоюзный билет имею.

— Бесспорно, бесспорно, Кузьма Георгич. Вот я тому и удивляюсь, что вы, будучи мороженщиком, покупаете английского материалу вещи.

Жаворонков опять вскочил:

— Ты что же мне, дядя Савелий, грозишь?

Дядя Савелий попыхал трубкой, вежливейше вытер нос чистым большим платком, разогнал платком же трубочный дым и скорбно покачал головой:

— Чем я могу грозить, несчастный и слабый я человек, из мило-

сти живущий возле брата-инвалида? Поспешно выражаетесь, Кузьма Георгич. Общались вы с богом, и не научил он вас вдумчивости...

Жаворонков схватил "Переписку Маркса и Энгельса":

– Был я божником, теперь стал безбожником! Вот дал ты мне, дядя Савелий, учителя Маркса. А здесь насчет атеизма и его пользы совсем мало написано! ..

Он швырнул книгу старичку. Тот бережно разгладил измятые супер-обложки и обернулся опять к доктору:

– Горячий он, Кузьма Георгич-то. Решил, видите ли, вступить на обучение в Безбожный Институт, а не вышло.

– Кто виноват, что не вышло? Устроил я стройматериалы Степаниде Константиновне? Устроил. Отдал я ей серебряную ризу со своей иконы? Отдал. Я не в целях религиозности, мне ризы не жалко, но ведь это же – металл! Два фунта, минимум, серебра и, кроме того, родительское благословение...

– При женитьбе, – дерзко вставила баба.

– Молчать!

Старичок пожал плечиками:

– Откуда мне, Кузьма Георгич, знать планы Степаниды Константиновны? Подозревать могу – не обрела она тех знакомых, которые могли бы направить вашу карьеру. Кроме того, если уж хлопотать о рабочем стаже, так надо вам было, Кузьма Георгич, идти на завод, а не в мороженщики. И что это за путевка от мороженщиков в Безбожный Институт? Малонадежная путевка.

– Так вы думаете, дядя Савелий, идти мне на завод? Не пойду я на завод! Уничтожить вы меня хотите? Не дамся! Я докопаюсь до планов Степаниды Константиновны. Выгнать вам меня отсюда? Нет! Я больной человек, я до Наркомздрава дойду! ..

– Глаза выцарапаю! – опять было попробовала ввязаться его жена, но Жаворонков поднял в ее сторону "Историю атеизма", и она добавила: – Или показательный товарищеский суд над вами.

– Суд! Правильно, баба! Больного травят! Я припадочный!

Дядя Савелий, с "Перепиской" в руках, тихонько выполз из-за стола и остановился подле нас.

– Очень обидно ему, Матвей Иваныч. Раскаялся в божестве и даже ячейку, из своих знакомых безбожников, организовал, а дальнейшего продвижения нету. Ведь на дому семинарии со старушками проводил, читал им лекции, – знания в нем крупные, он шесть лет церковным старостой при Храме Христа Спасителя состоял, а если повернуть ему свои знания наоборот, то результат должен получить-

ся громадный. Волнения нам его понятны, вдобавок разрушают и Храм Христа. . .

– Плюю я на Храм! – крикнул Жаворонков и как-то беспомощно покраснел. – И на чудотворные иконы плюю! Я могу любую чудотворную икону в антирелигиозный плакат превратить в два счета! . .

– Верю, верю, Кузьма Георгич, – и старичок скорбно махнул ручкой в сторону Жаворонкова. Тот стих: – повернуть свои знания в обратную, Матвей Иваныч, вполне возможно, но вот закрепить этот поворот иным людям чрезвычайно трудно: в ложный пафос впадают, в сплошные выкрики.

Доктор ответил важно:

– У него личная драма, глубокая и замкнутая.

– Личная, Матвей Иваныч? Не замечал. Из-за стройматериалов?

– Нет, из-за любви.

– Скажите, пожалуйста.

Мне показалось, что дядя Савелий улыбнулся пренебрежительно – над доктором, к тому же и голос его потерял мгновенно заискивающую свою тихость. Он достал из кармана сигарную коробку, вручил ее доктору, добавив, что брат Лев Львович приказал поблагодарить и возвращает утерянное. Затем быстро протянул к доктору тонкую и грязную свою руку – "разрешите воспользоваться" – и взял одну сигару. Курить он, впрочем, не стал, а, постукивая сигарой по переплету "Переписки", промолвил, не утаивая пренебрежения:

– Так от любви? То-то я смотрю: излишняя в нем сумрачность, Матвей Иваныч. А вы как изволите относиться к театрам?

– Спокойно.

Старичок подошел к дверям. Постукивая сигарой по дверной ручке, он наставительно сказал:

– Зазря, Матвей Иваныч. Театры могут большую работу проделывать, в вашем духе. . . Возьмите, к примеру, Качалова – какие личные драмы способен развернуть человек, посмотришь – и жить скучно. И другие артисты в том же духе. Передают вот, на Урале произошел небывалый случай перерождения, благодаря игре, подряд, конечно, всего репертуара труппами академических театров. Целый город изменил совершенно свои вкусы и привычки. Ни водки, ни склок, ни сплетен и даже матерного слова! . . И будто бы случай такой столь потряс руководителей, что они решили распространить опыт до неимоверных масштабов. . . Не с Урала будете, Матвей Иваныч?

— А вам Черпанов рассказывал это? — спросил я.

Доктор, кажется, даже и не слушал дядю Савелия. Да и трудно было б его и слушать: старичок просто душил скукой и тоскливой вежливостью. Думал я было спросить о костюме: не черпановская ли это поддевка, но не хотелось дальше ввязываться в разговор. Отвечая на мой вопрос, старичок пробормотал что-то: "Черпанов? А вроде он и вроде не он. Даже не факт важен, мало ли от чего люди перерождаются, а слух!" — и вежливейше пожав нам всем руки, исчез.

Огорчишься на скуку и вялость в мыслях, нагоняемую иным знакомым, но куда лучше она той ясности, которую часто опрокидывают на тебя неудачные твои друзья, словно плохой агроном удобрения в поля, причем степень нуждаемости полей совершенно не изучена. Выйдут люди в поле и только губами шлепнут — какая пакость не тянет из земли: лебеда в сажень, чертополохи, как дубы, васильки шире подсолнухов, а жрать нечего. Думай бы доктор о происшедшем, взвесь бы он спор между Савелием и Жаворонковым, пойми, что убрать Савелия Львовича стоило Жаворонкову большого напряжения и даже страдания (он-таки побаивался Степаниды Константиновны), забудь бы он свои окаянные умозаключения, проделанные им недавно возле тюфяка в нашей клопиной каморке; обрати бы он внимание, каким зверем по мере расширения его речи кралась к своему супругу Жаворонкова и как Жаворонков скисал, наблюдая это выслеживание, и как он искал выхода — и не нашел ни одного, кроме. . . словом, доктор подвинул к сопящему Жаворонкову дрянной стул, расшатанный и скрипучий, уселся на него верхом и поднял ладонь к уху:

— Инженер, впервые наблюдающий за работой установленного им пневматического молота, давясь восторгом, смотрит на брызжущий металл, на новые формы, — тем не менее мало изменилось его лицо и голос его не раскатывается громовыми раскатами от восторга. Он внутренне счастлив, друзья! Это несколько расширенное и, пожалуй, витиеватое вступление нужно мне, Кузьма Георгич, для передачи вам полного моего впечатления, возникшего при данном разговоре. Отнюдь я себя не сравниваю с инженером, инженером является эпоха, но восторг инженера столь заразителен и столь мощен пневматический молот сознания! Атеизм! Человек впервые чувствует, что его воля есть именно его воля, а не кого-то направляющего, грозного или милостивого; человек впервые, с широко открытыми глазами, самостоятельно направляется вперед. Он видит храмы и божества иными глазами: храмы — это бывшие темницы и

самые страшные из темниц; божества – это размалеванные доски и чучела, жрецы, попы – мошенники и психически больные. Он презирает все это. Он предоставлен самому себе – и обществу. Но прежде, нежели он примкнет к обществу, в нем происходит некоторое время легкий процесс брожения и раздумия, иногда выражающийся в том, что человек переоценивает свои силы, чересчур надеется на самого себя. . . с первым пробуждением сознания нужно обращаться так же осторожно, как и с первой любовью, но так же, как и с первой любовью, человек обращается, от неопытности, конечно, плохо с первым пробуждением сознания. Он должен усиленно наблюдать за собою, он должен размышлять наивозможно больше – и быть искренним. Трудно быть искренним, но нужно! И общество, его сознательные работники, должны помогать друг другу, новый класс, идущий на смену, будет беспощадно искренним! Вот почему, Кузьма Георгич, я нахожу в себе мужество высказать вам те несколько соображений, которые и для меня и для вас могут быть чрезвычайно полезными. Приятно, что вы при первых следах работы пробудившегося сознания собрали вокруг себя окружение, несомненно с тем, чтобы помочь не только себе, но и другим. Вы создали ячейку безбожников. Со всем тем хорошим, что имеется в ячейке, созданной вами, она таит в себе чреватые дурными последствиями ошибки. Вот она здесь, не правда ли? Вся? Прекрасно. В чем же ваша ошибка? А в том, что ячейка создана из пожилых, я бы сказал, старых людей. Ими трудно руководить неопытному, они консервативны, особенно в той помощи, которая вам необходима сейчас и где вы должны добиться в себе необычайной ясности. Непонятно? Я говорю про любовь, испытываемую вами к Сусанне. Не смущайтесь, Кузьма Георгич, будьте откровенны и ясны, опирайтесь на молодежь, она поймет и оценит вас, группируйте вокруг себя побольше молодежи!.. Мне грустно уступить вам дорогу, я ее сам люблю, Сусанну, но разве я могу соперничать с ясностью и свежестью вашего сознания и вашего порыва? Я готов даже переговорить с нею, за вас, предполагаю, что она с радостью войдет в вашу ячейку и вдвоем, за плодотворной работой вы оцените друг друга. Я заблуждался относительно вас – и готов признать свои заблуждения, еще сегодня утром, вот здесь присутствующему Егору Егорычу, – я приписывал вам чудовищные замыслы... Любите ее, Кузьма Георгич, но будьте откровенны и ясны!

Темнобурая от злости супруга Жаворонкова обогнула уже стол, а рука её приближалась к корешку "Истории атеизма". Сам Жаворонков сидел словно разжеванный, не пытаясь даже разобрать-

ся в словах доктора. Старушонки, поскидав очки и подобрав портфелики, ребятишки, какой-то тощий длинноногий юноша – шарахнулись в угол. Что их пугало? Гнев ли хозяйки или пронзенность хозяина? Мне трудно теперь даже разобраться во всем этом. Одно несомненно, что одна лишь красота Сусанны позволила прорубить просеку в их непроходимом доверии к Кузьме Георгичу, позволила верить нелепым словам доктора. В голосе его супруги чувствовалась промерзлая собачья хриплость, когда собака рвется с цепи и понимает, что цепь того и гляди лопнет, – супруга извергала необычайные ругательства. . . старушонка выскочила из угла на помощь Кузьме Георгиевичу, но, протопав несколько шагов, испуганно вернулась. Все же хозяин не позволил себе провалиться: он выхватил "Историю атеизма", ударил наотмашь по щеке хозяйку – и она подавилась ругательством.

– Вы это. . . официально? . . – спросил он решительно с последними силами.

Доктору бы улыбнуться, развести руками, промолчать – и Жаворонкову бы не выдержать. Но сплошь да рядом случается, что человек употребляет ясность не там, где ее необходимо употреблять.

– Нет, – ответил доктор, – я по личной инициативе.

– Не тревожь припадочных! – заревел Жаворонков, тут же ударяя "Историей атеизма" доктора по черепу.

XVIII

Стул треснул. Доктор свалился. Я прыгнул через стол на Жаворонкова, тот заорал "заслоняй окна", и тотчас же без того грязные и темные оконца заполнились детьми и женой, в послушании которой я уже понял примирение и недоверие к словам доктора, несомненно, возникшее как результат бешенства мужа. В комнате совсем стемнело. Сокрушительным ударом, который мог бы повалить и церковь, будь обладатель его подлинным безбожником, Жаворонков кинул доктора к моим ногам, второй удар получил я – непосредственно в темя, правда, благодаря этому я понимаю теперь более или менее точно, что такое за выражение "потемнело в глазах", но при всем том мне это было ощущать до тошноты неприятно, вдобавок еще доктор тут же лягнул меня ногами в живот, проползая под столом

на простор. Удар в темя вызвал во мне то, что наивные люди, не понимающие рефлексологии, именуют "рефлексом отпора" – я прыгнул на шею Жаворонкова, который разминал доктора беспорядочными своими кулаками. Жаворонков вскочил. Я стукнулся теменем уже о потолок, но колени мои крепко держали шею Жаворонкова. Доктор, опираясь на спину, почему-то предпочитал орудовать каблуками, крича: "Бейте в ухо, Егор Егорыч, в ухо! Научите их слушать!" Вонь, пыль, топот, опрокинутые столы, кровати, трещащая фанерная перегородка проломилась – из-за нее выскочили какие-то тетки и дяди, ребятишки сыпятся с окон, количество кулаков неимоверно увеличивается – баба укусила меня за колено, и я съехал с Жаворонкова, но, достигнув до полу, я схватил табурет! . . . Не знаю, как в атеизме, но в драках Жаворонков мог прекрасно ориентироваться: он мгновенно вырвал мой табурет, саданул им меня по ногам и затем с такой монументальной последовательностью опустил его на зад доктора, что тот, вышибя дверь хотя и пытаясь удержаться за мой ворот пиджака, вместе со мной вылетел на лестницу. Пропускная способность лестницы оказалась совершенно ничтожной: мы летели по ней самой неприспособленной для полетов данного масштаба частью моего тела: лицом, ногами же – цепляясь и волоча за собой всевозможное барахло: сани, детские коляски, какие-то неимоверные ходули с кожаным хомутом посредине, тазы, корыта, все это грохотало, выло и пело, явно и нагло радуясь своему пробуждению, перепрыгивало через нас, мелькало перед глазами, лезло в рот, явно желая поделиться своими впечатлениями.

Мы очнулись у порога кухни среди кучи пыльной дряни, причем, извозчичьи санки самым странным образом, в виде кашне, были надеты на мне. Ободранный, избитый доктор сидел в тазу, пальцем вместе с кровью и выбитыми зубами выскребая изо рта пыль. Из носа его обильно текло, глаза его были подбиты, громадная шишка начиналась ото лба и кончалась на шее. "Поразительно неприспособленная лестница" – пытаясь улыбнуться, сказал он. Он встал на четвереньки, и все попытки превратиться в двуногое ему явно не удавались. Я подхватил его под руки и поволок в нашу каморку. Здесь я его отмыл водой, разорвал рубашку для перевязок, затянул ему лоб и свое укушенное колено, – и грохнулся на тюфяк. Пыльное и душное солнце светило нам. Доктор лежал, блаженно вздыхая: попробовал он было поднести ладонь к уху – и со стоном должен был отказаться от этой попытки. Впрочем, это не задержало потока его размышлений:

– Кровопускания, совершенно ясно, чрезвычайно полезны для человеческого организма, Егор Егорыч. И почему бы нет? Миллионы лет до того, как появилась современная нам форма цивилизации, человечество неустанно дралось и пускало почти ежедневно себе кровь: с природой, с подобными себе, со зверями, кровь должна обновляться! Нам полезны раны! Нам полезны легкие кровопускания, не милитаристического, а физкультурного или лечебного характера. Какая ясность ума, какая транзитность мышления!

– Вы и посейчас думаете, что, например, Жаворонков искренен?

– Иного прохода ему нет, Егор Егорыч.

– Удивительно! . . И вы с ним были искренни? И припадок? Я никогда не встречал такого организованного припадка.

Доктор потер живот:

– И я тоже, Егор Егорыч. Ну, а велик ли наш опыт? Бегство в болезнь? Есть остатки таковой болезни у Жаворонкова, есть. Но вообще он на правильном пути, и его негодование, хотя и прикрытое "бегством в болезнь", открыло мне, что он не любит Сусанны, а искренно предан делу атеизма.

– Сожалею, но не могу постигнуть ясности вашего ума, Матвей Иваныч.

– Покамест, я недостаточно ясен, Егор Егорыч.

Он, стеная, прощупал свой живот:

– Боюсь, что удар табуреткой нанесен был мне не во время, ничего не поделаешь, приходится расплачиваться за свои логические ошибки, весьма возможно потому, что завтра или сегодня вечером мне вместо международного вагона придется лечь в больницу и слечь настолько, что я буду просить вас, Егор Егорыч, заменить меня здесь.

– Благодарю, – сухо ответил я.

XIX

Полностью мы отдышались часа через три-четыре – "чему помогла, заключил доктор, полная ясность, достигнутая между нами", а я больше склонен был отнести это к отличному состоянию нашего здоровья, хотя кто бы мог понять целиком доктора: ему, при его по-

стоянных душевных осмотрах, так сказать, при постоянном просвечивании себя, разыгрывать хитреца, конечно, невмочь. Велика ли хитрость назвать себя "ухогорлоносом" вместо психиатра и согласиться поехать на Урал, но и тут доктор жаждал ясности: он давно бы сознался Черпанову в обмане, отправился бы на Урал, подвергся бы всем сквознякам черпановских замыслов, кабы не просасывалась через все это белокудрая Сусанна и два тощих ювелира с их оскудевшим разумом. Вместе с тем, – я говорю совершенно искренно, – в данном случае кровопускание оказалось полезным, особенно в последние два часа, когда из носа внезапно выкатилось не менее двух стаканов крови, меня совершенно перестала интересовать история с ювелирами и дурацкая легенда о короне американского императора, ящик с золотыми часами и прочая криминальная дребедень, годная только для того, чтобы щекотать мещанину его тусклые мозги перед сном:

– Я имею крепкое желание, Матвей Иваныч, направиться в Дом отдыха, собраться там с мыслишками и драпануть на Урал. Не пора ли мне перечеркнуть счетоводство? . .

– Пора, Егор Егорыч, давно пора. Мне тоже хочется в поезд. Полагаю, что насчет больницы я перемахнул. Дыра в животе, кажется, исчезает. Завтра, если я доберусь до извозчика. . .

– Да, я вас, Матвей Иваныч, донесу на руках!

– Незаурядное у вас сердце, Егор Егорыч! Если б только вы не рассказывали анекдоты. Зачем ученому анекдоты?

– С чего вы взяли, что я буду ученым?

– А Черпанов? При том курсе, который поручен ему, он вас вывезет в ученые. Вы обязаны быть ученым, Егор Егорыч. Тогда с меня спадет обуза обмана, мне не хочется покидать нашей больницы, я сработался с ее коллективом, но не могу я и сознаться Черпанову: меня выгонят из дома, а следовательно и от Сусанны. Будьте ученым, Егор Егорыч.

– Меня скорее прельщают обязанности секретаря!

– Ну, будьте вы ученым секретарем!

Тут мы и примирились: доктор уступил мне, а я ему. Он повеселел еще гуще, защелкал пальцами и зацедил сквозь зубы какую-то песенку.

XX

Странна наша жизненка

Я медленно ковылял от колонны к колонне.

Черпанов, подтянутый, прямой, солидно колыхая пробоинами бесчисленных карманов, шел ко мне навстречу. Я хотел было проскользнуть мимо него: для будущего ученого секретаря сегодняшнее мое поведение было, пожалуй, несколько легкомысленным. Черпанов наскочил на меня и поволок за собой:

– Кое-кому уже намекнул, Егор Егорыч. На днях открываем запись желающих ехать на Урал за перерождением. Я беру на себя смелость использовать весь данный дом – без просеивания.

– И без пролетарской прослойки?

– Вы чувствуете действительность, Егор Егорыч, сквозь призму эпохи. Одобряю. Без пролетарской прослойки невозможно строительство, подобное нашему, тем более. Будет прослойка, непременно будет. Черпанов да чтобы не достал пролетарской прослойки! Галопный смех вы услышите в ответ, Егор Егорыч, если вы скажете нечто подобное кому-либо из его ответственных друзей.

Я выразил удовольствие наблюдать его бодрым и твердым:

– Начались переговоры, Егор Егорыч, начались! Вы правы – прослойка. Вопрос в том, группировать ли нам вокруг пролетарского ядра или ядро подобрать позже.

– А если попробовать одновременно.

– И то мысль. Попробуем одновременно. Желаете ли вы работать по ядру или вокруг ядра?

– Разрешите мне ответить завтра, Леон Ионыч.

– Завтра, так завтра. Имеется еще работешка вне ядра.

– Секретарская?

– Пожалуй, если рассматривать широко обязанности секретаря, то и секретарская. Прокрались до меня слабые данные, что бродит по нашему дому какой-то заграничный костюм.

– На ком?

– Ну, если б на ком, то среди наблюдаемой рвани мы б его сразу разглядели. Не на ком, а у кого-то!

Мне вспомнился разговор Жаворонкова и дяди Савелия, зеленая поддевка Черпанова, брошенная вчера доктором фраза о костю-

ме, но из-за сегодняшнего моего легкомыслия я постеснялся высказать свои соображения. Да и затем, велика ли штука костюм, чтоб стоило из-за него отнимать время у занятого человека?

– Дрянь какая-нибудь, Леон Ионыч.

– Дрянь на себя мы надели. А вдруг проплывет мимо мировая вещь? – Он пренебрежительно потряс синие свои штаны: – Решето, положительное решето, а не материя.

Он приволок меня уже к дверям дочерей Степаниды Константиновны. Говор многих голосов, шум передвигаемых стульев, топот ног – все это заставило меня пробираться дальше. Черпанов припер меня к двери:

– Вне ядра, так вне ядра, Егор Егорыч. Кройте сюда и узнавайте, какие там слухи насчет костюма и откуда он. Вот вам работа на сегодняшнее число.

– Неудобно, Леон Ионыч.

– Чего неудобного? Они же на днях будут нашими подчиненными. Нашли перед кем стесняться?

И он толкнул меня в дверь.

Я перелетел через порог и упал на мощные руки Людмилы Львовны.

XXI

Она нежно помогла мне сесть.

Комната, занимаемая сестрами, удивляла какой-то бесстыдной бедностью: три доски на кирпичах – кровать Людмилы, ситцевый матрац, покрывающий громадный жестяной сундук – Сусанны, сорокаведерная бочка взамен стола – и все. Открытка, изображающая невесту под венцом, украшала сосновую перегородку. В перевернутой бочке сидел Мазурский, на кровати ничком, задрав к потолку толстенькие ножки, курил Ларвин. У окна притулился скромно дядя Савелий, играя незажженной сигарой. Сестры, взявшись за руки, словно готовясь к хороводу, стояли у бочки. Все указывало на забаву: длинный и ловкий Мазурский, крутящийся в бочке, сестры вокруг него и наблюдатели – бледный и вялый Ларвин и скучнейший дядя Савелий, однако и встревоженные лица, и поспешность, с которой они завели разговор со мной, и ненужное обхаживание меня скорей указывали на бывшее здесь крупное объяснение, пожалуй,

ссору. Людмила любезно спросила – холост ли я, Ларвин – сыт ли, Мазурский – интересуют ли меня слесарные станки, дядя Савелий предложил сигару, но всем, кроме разве безразличной Сусанны, как можно скорей хотелось, чтоб я ушел. Я бы и ушел, если б не Черпанов за дверью: я чувствовал, что он сотни раз способен вталкивать меня сюда. А попробуй спроси о костюме! Раньше всего и вопрос-то, даже и не вглядываясь в окружающую скудность, нелеп, а затем это ворчание, топот и грохот Мазурского внутри бочки, что это, как не желание заглушить внутреннее беспокойство, постоянное его ныряние, приседание – ловкой забавой скрыть тревогу. Я только плохо соображал, зачем здесь дядя Савелий, но он, предложив мне сигару, уже не возвращался к подоконнику, а направился к дверям.

– Обождите, дядя Савелий! – застучал сапогами в бочку Мазурский – похоже, что бочка отдаленно напоминала ему председательский звонок: – Обождите. Наличность разговора!

– Разговор между нами, я тут причем? Хотите сигару?

– Катитесь вы с вашей сигарой. . . Я требую рассмотреть вопрос со всех сторон!

– Я сам-то живу из милости, Мазурский. Кроме того, ваши фонды вы сами обесценили. . .

– Чистейшая случайность! Дядя Савелий, слушайте! . .

– Договор расторгнут, обручальное кольцо возвращено, – Людмила выпустила руки сестры: – А, Сусанна?

– Расторгнут, – лениво протянула Сусанна, поправляя волосы: – Куда я могла синюю гребенку засунуть?

Мазурский присел на дно бочки и оттуда крикнул:

– Не согласен!

– Можно и не расторгать, – сказала Сусанна протяжно, опускаясь рядом со мной на сундук. – Мне все равно.

И действительно: ей было все равно! Холодное алебастровое ее лицо, украшенное завитками волос цвета благородного металла, ее тонкая и крепкая шея, ее неподвижный медный торс, ее ножки, словно защемляющие пол. . . да, теперь я понимал робость доктора Андрейшина.

Мазурский, притянув за плечо дядю Савелия к бочке, изливался в жалобах. Полтора года он гулял с ней, а теперь за проступок, смысл которого он так и не понял, его "отшивают". Он ради нее старался, заводил знакомства, поступил даже чистильщиком сапог, он свой нравственный долг исполнял честно и, если он вышел из подчи-

нения, то опять-таки смысл его неясен. Что, он на саблях клялся подчиняться? Он хочет работать самостоятельно!

Ларвин, попыхивая папироской, вяло прервал его. По его мнению, нет такого случая, где нельзя столковаться, как в области продовольствия, так и в области нравственных норм. А дядю Савелия лучше отпустить: у него племянники злые! Мазурский побагровел, но плечо выпустил. Эффектно, финки! Ближайший друг, а угрожает финками. Мазурский волчком закрутился в бочке. Ларвин вяло наблюдал за ним: "Крутись, а кольцо-то на другой руке будет". Мазурский вспылил: "Для него супружеское право на такую ледышку честь небольшая. Он для гордости хотел жениться. Одел бы ее, прошелся бы. А теперь от гордости же и отказывается. Хватит с него попреков. Он будет действовать самостоятельно. . ." Дядя Савелий вышел. "Почему здесь этот старый скучный черт бродит, размахивая сигарой? Кто он такой? Я спрашиваю, кто он такой?" – Мазурский выпрыгнул из бочки и закрутился по комнате. Людмила, засучив полные белые руки, опрокинула бочку дном вверх и накрыла скатертью, а затем подбоченясь, нагло бронзовыми своими глазами уставилась на Мазурского, пылая. "Да, он спрашивает, кто такой дядя Савелий? Исполняет он обязанности дворника при доме? Пожалуйста. Передает решения квартироуполномоченной, пожалуйста. Но какое ему дело до моей самостоятельности и почему из-за него угрожают финками? Против финок могут быть выдвинуты кулаки Лебедевых! Ага, не нравится. Да, да, Лебедевых! Шесть братьев Лебедей ездят по Уралу, но они всегда и вовремя возвращаются... Ах, я и прежде видел ваши глаза, Людмила Львовна, и всю действительность вашего затылка, Сусанночка. Мой нравственный долг высказать вам правду! . ." – Мазурский подскочил к великолепному затылку Сусанны: – "Ему угрожать финками! Мазурскому! А Лебедевых знаете?"

Гнилое его дыхание струилось в мое лицо. Его черные мокрые волосы растрепались. Огорчение и тревога, крутившие его, лежали далеко от любви. Но что это могло быть? Почему волновался высоконравственный чистильщик сапог, так обожавший слесарные станки? Я отодвинулся. Он приблизился к Сусанне.

Людмила Львовна вдруг цепко схватила его за ворот расстегнутого френча, откинулась назад – грязный истертый шелк ее юбки показал нам всю мощь ее каменных бедер, – подмигнула, щелкнула пальцами свободной руки, и длинный ловкий Мазурский, колыхая галифе, пронесся через комнату и вылетел за порог.

— Вот тебе и Лебедевы, — сказала она, затворяя дверь.

Ларвин вяло закурил потухшую папиросу:

— Сколько непроизводительно продовольствия затрачено. Где вы обедаете, Егор Егорыч?

Людмила сочно поцеловала сестру в шею:

— Я тебе другого жениха найду, Сусанночка. Или тебе Ларвина отдать? Ларвин, возьмешь? Берет! Иди, Сусанночка.

— Мне все равно, — дремотно зевая, ответила Сусанна. — Куда я могла гребенку затырить? А доктор-то не провинциал! Не-ет! . .

XXII

Я удалился. "Былинки" вдогонку обозвали меня рохлей. Ваше дело! Но, право, я чувствовал головокружение. Недюжинным человеком надо быть, чтоб объяснить — почему Мазурский крутился в бочке, а кручение его — слабейшая динамическая неясность из всех неясностей, окруживших меня. Почему он так яростно возмущался дядей Савелием, самым скучным и беспомощным человеком в доме? Что это за кулаки неизвестных Лебедевых? И еще заграничный костюм! А корона американского императора — тошнотворно вспомнить! Нет, достаточно с меня дешевых тайн, недомолвок — и тумаков. В дом отдыха на речной песочек, наблюдать, как играет плотва среди камышей, ветка гнется под тяжестью синицы со вздрагивающим хвостиком, комар ловчится овладеть твоим носом! . .

Черпанов, строгий и сухой, поманил меня с крыльца. Возле него уже вился Мазурский. Подойдя, я услышал, что он вкрадчиво отговаривал Черпанова от контрактации семейства Мурфиных. Вздорные они и лютые политиканы! Начнутся сплошные склоки. Он льстиво добавил: их отшлифовать невозможно, с них мгновенно соскользнет любая глазурь цивилизации, не для них писана высоконравственная музыка будущего. Черпанов солидно успокоил его: любая подлость исправима трудом и правильно направленным искусством, надо уметь нашпиговать, найти в каждом заблуждающемся его специфические особенности. Мазурский продолжал юлить. Черпанов косо рассматривал отдельно каждую часть его тела. По всему было видно, что они еще не договорились до самого важного. Черпанову, мне думается, Мазурский казался несколько бестолко-

вым, Мазурскому, — сквозь постоянно клятвенную почтительность, — думалось: самовластный нрав Черпанова трудно довести до полной ясности. Они ревниво цедили слова.

Я отошел от них, желая попроведать доктора. Задумчиво я брел к нашей клопиной каморке. Странно, что мне суждено быть свидетелем удивительнейших перерождений, руководимых Черпановым. Передо мной вставал почти благоговейный вопрос: а надо ли мне перерождаться или секретарствовать можно и без перерождения? С одной стороны, как будто и надо: иногда меня посещали мысли из тех, которые "клеймят". Правда, они исчезали быстро, особенно, если не задерживали выплату жалованья; правда, держал я их до мелочности подспудно, усердно стыдясь их, что уже явно указывало на мое самовольное перерождение, правда и то, что появлялись они на сон грядущий, имея, так сказать, колыбельное значение, будучи до некоторой степени отзвуками детства, вне всякого своекорыстия. Но не есть ли это оскорбляющая честь черпановской конфедерации подлая особенность моего эгоизма? Не есть ли это беспечность? Ага! .. Но с другой стороны, как будто и не надо. Много во мне таких черт, которые я люблю и которые мне потерять жалко, а потерять их в суматохе при массовом перерождении чрезвычайно легко, хотя такие черты и решительнейше никому не мешают. Например, я обожаю мятные пряники, ватмановскую бумагу, глубокие пепельницы и ножницы для ногтей. Я вижу уже негодование на многих лицах! Помилуйте, скажут мне, здесь идет разговор о перерождении основных чувств и склонностей, а вы лезете с пепельницами. Кому они нужны? Любите вы, черт вас дери, сколько вам хочется ваши пепельницы и ножницы. И как вам не стыдно! Да и каким способом уничтожить у вас любовь к мятным пряникам? Каким? Очень простым. Если, допустим, — как художественная деталь, не более, — отрицательные герои всех пьес будут любить мятные пряники, а я буду перерождаться благодаря этим пьесам, то что же, думаете, впечатлительное мое сердце с прежней легкостью будет лопать мятные пряники? Или подлый авантюрист зарежет светлую личность романа ножницами для когтей, — то смогу видеть их впредь без отвращения? Плохо вы обо мне думаете! Вы возразите мне, что такие своеобразные мысли не больше, как отговорки. Здесь я не спорю. Сознаюсь, что, вращаясь доныне преимущественно в бухгалтерско-счетоводном мире, я мало наблюдал перерожденных личностей, а если и перерожденных, — посредством водки, — то в обратную сторону от общего течения культуры.

У дверей я вспомнил, что в суматохе я забыл спросить сестер о костюме. Надо посоветоваться с Черпановым: возвращаться ли мне к ним или обождать. Черпанов с крыльца исчез. Мелькнул вдалеке, переулком, щегольской френч Мазурского. И ванна заперта снаружи. Куда он мог так быстро скрыться? Я постучался к сестрам. На досках по-прежнему валялся Ларвин, пуская пухлые кольца дыма. Черпанов, со строгим и сухим лицом, стоял возле сундука, обитого жестью, на котором сидела Сусанна, побалтывая ножками. Бесчисленность синих карманов упиралась в локти Сусанны, руки его скользили от плеч на более волнующие округлости. Лицо Сусанны изображало то же унылое любопытство, когда она в кухне смотрела на доктора, присевшего под тяжестью ведра. Позади Черпанова, положив ему на затылок белые полные руки, смеялась Людмила Львовна. "Не женится, – прихихикивала она, – не женится, Сусанночка" – "А мне все равно", – ответила Сусанна, и Ларвин, кроша слова, пробормотал: "Очень много, Леон Ионыч, надобно на двоих продовольствия. Впрочем, достанем. Хотите десять кило вологодского масла?" Черпанов обернулся ко мне:

– А? Я так и предполагал – у него!

– Кто?

– А костюмчик.

И он хватил Людмилу Львовну ладонью по бедрам. Она кинулась на шею к Ларвину, тот вяло вынырнул из-под ее рук и закурил новую папироску. Людмила заполнила своими телесами его колени и, стараясь раскачаться, говорила:

– Ты думаешь, Ларвин, самое главное – прокормить?

– Особенно тебя. . .

– Нет, самое главное – взволноваться. Я Сусанну хочу взволновать. . . Почему она охладела?

– Урал, Урал взволнует, – сказал Черпанов, опять устремляя к Сусанне бесчисленность своих карманов.

– Зачем торопиться, поволнуемся еще, – промолвила лениво Сусанна.

– Вот как начала отвечать! Я из-за нее две партии прозевала.

– Выгодные женихи? – спросил Черпанов. – Партии, то есть?

– По пятьсот пудов. Овса, Леон Ионыч. Поскольку вы принимаете грешников, так я вам сознаюсь, да, небось, вы и сами поняли: службишкой сыт не будешь. Вот он жених считается, Ларвин. А за полтора года гулянья он мне едва-едва один торт подарил, да и тот гнилой, хоть и специальность его – продовольствие. А так, извините,

полный расчет. Я, Леон Ионыч, обожаю извозчиков! Я с ними так умею разговаривать, что они вежливее дяди Савелия делаются. Извозчик, известно, постоянно овсом удручен. Прокатишься – и предложи ему. Следующим разом он при катаньи – скидочку.

– Спекуляция, иначе говоря, Людмила Львовна.

– Спекуляция, Леон Ионыч. А кто нонче не спекулирует? Одна Сусанка избрала самую невыгодную спекуляцию. Жрет, спит да зевает. Ее б давно со службы изгнали, кабы не красота, а повышения ей нет, потому неряшлива...

– Неряшливости мужчины боятся, – наставительно проговорил Черпанов, руками доказывая совершенно противоположное.

Ларвин выпустил большой клуб дыма:

– Неряшливые жрут больше.

– А ты пробовал? – протяжно и холодно спросила Сусанна: – Попробуй.

Ларвин вяло ухмыльнулся. Людмила продолжала:

– Ее надо, Леон Ионыч, обучить. Ее, если переплести в нужное содержание, она будет иметь большую ценность. Я овес обожаю, извозчиков и свадьбы, Леон Ионыч. Вы возьмите когда-нибудь в горсть овес и выпускайте по зернышку. Честное слово. Каждое зернышко будет мина, а упаковано с такой хитростью. Вот и свадьбы. Соединишь двух людей, они закупорены, а, глядишь, денька через два их и есть можно – они распарились и уже сокровеннейшие сплетни друг о друге распространяют.

– С этой целью вам желательно, Людмила Львовна, и меня женить?

– А почему нет, Леон Ионыч?

Черпанов отнял руки от Сусанны:

– Я укажу вам более высокие цели, чем свадьба и овес. Исправится также и задумчивость Сусанночки.

– С чего вы взяли, что я задумчива?

– Но ведь молодость-то уйдет, Сусанночка!

– А, Людмила!.. Молодость, молодость! Молодость – грубая плата за науку, вот что стоит твоя молодость. Я и спекулировать не умею из-за молодости! Вот я и жду. Мазурский учил – не вышло. И правильно, что выгнали его. И оставить тоже вреда мало...

– Мазурский – сволочь! – вскричала Людмила Львовна, спрыгивая с колен Ларвина. – Гоните его от себя, Черпанов!

– Низкая личность, – подтвердил Ларвин. – Разве в станках понимает...

Людмила прервала его:

– И в станках ни лешего! Прохвост и наушник. Туда же – в единицы.

– Куда?

– В единицы, Леон Ионыч. Не общей линии, а единичной.

– А . . .

– И получились сплошные убытки.

– Но ведь ваше дело – овес. Или из-за свадьбы?

– И не из-за свадьбы, и не из-за овса. Этакую стерву к овсу допустить! Он его сгноит в первые же три дня. Шесть станков устроил покупателям и возгордился. Сусанну переоборудую! Сусанна всех перекроет. Она в училище выдающейся числилась – я понимаю, как ее переоборудовать.

Черпанов положил руки на плечи Сусанны:

– Урал, Урал, Сусанна! Это и здравница, и призыв к новому человеку. Ваша красота уже данные для нового человека. Новый человек на новой земле будет красивым и опрятным. Вот, возьмем, зубы.

– Зубы я чищу.

– Или баню.

– И в баню я хожу.

– Какой же опрятности требует от вас сестра?

– Ее спросите.

– А, Людмила Львовна? Жених? Жениха-то вы ей выбирали? Мазурского? Не оспариваете. Так в чем же дело? Ежели вы требуете тряпичной опрятности, так кто у вас тряпки поставляет?

– Нет такого, Леон Ионыч, – ответил вместо Людмилы Ларвин.

– Удивительно! Почему же меня тогда надули на материале? Выходит, что я обязан был его надуть. Просто подлость какая-то. Это меня московское воображение ослепило. У него, непременно у него. Какая, Людмила Львовна, у Жаворонкова специальность?

– Стройматериалы.

– А он переквалифицируется, известно ли вам?

– Подозреваю. У нас часто переквалифицируются. Это не прежние времена. Да и вы сами намерены нас переквалифицировать, Леон Ионыч.

– Я – другое дело. Я представитель власти.

XXIII

Я понимаю современных художников, которые борются за свежие формы искусства. Вторжение прошлого слишком ужасно и тягостно, с ним нельзя не бороться. Многотомные классики нет-нет да и просунут в наши книги волосатые рты. Но есть такие слова, есть такие выражения, вспомнив которые, начинаешь сомневаться в истребимости старых форм, начинаешь думать: а стоит ли игра свеч? Например, подыщите строчку короче и выразительнее следующей: "Наступило гробовое молчание". Три слова, три банальнейших слова, а какая каша ими заварена! Тут и папироска вывалилась из губ Ларвина, тут и вздыбилась Людмила Львовна, крепко сжав в кулаки белые свои руки, тут и Сусанна второпях одергивает коротенькое платьице, тут и я, восхищенно думающий: "Что за проникновенный человек! Эк, закрутил, эк, запрудил!"

И, наконец, Людмила Львовна – раз и навсегда – решила узнать:

– Какой власти?

Черпанов вонзил:

– Снисходительной.

Ларвин вставил папироску обратно. Задымил, вяло вздохнув:

– Не читали о такой.

– Опыт! Опыт! Намек. Разъяснение позже. Взгляд на пакет за девятью печатями, в Манильских островах, – и все поймете. Мазурский показался мне кривым, хотя и упирает все время на нравственность. Я с вами согласен, Людмила Львовна, он втируша. И с вами, Сусанночка.

– Это мне безразлично.

– Не помните ли вы рассказ одного американского писателя, Сусанночка, я прочел его в поезде.

– Это сестра любит книги, а мне плевать, Леон Ионыч.

– Там, видите ли, удивительным образом субъект попадает в громадный водоворот километров трех или пяти глубиной, вроде керосинной воронки, но не заполненной жидкостью. По краям этой воронки, непрерывно вращающейся со страшной быстротой, по наклонной плоскости, вроде как бы по дороге, несутся вниз и вниз предметы и корабли. . .

Людмила сказала:

– Уподобление ваше, Леон Ионыч, было б ценным и даже жутким, кабы вышеупомянутый свидетель не был единственным живым свидетелем воронки и вокруг него не стремились в пучину мертвые корабли, а кроме того, кабы рассказанное не было б болезненной фантазией Эдгара. . . Мы поклонники реализма, Леон Ионыч. Крупная партия овса дороже умения вдергивать нитку словесности в золотую иглу фантазии.

– Кишки, они способствуют закоренелости. – Ларвин стряхнул пепел: – В области искусства, но не продовольствия. Варенье еще один мужчина предлагает, клубничное. А, Леон Ионыч?

Я удалился.

Теперь для меня стала более понятной ночная суетня в коридоре, сверточки, корзинки, чемоданчики из фибры; перешептывание на кухне, постоянное хлопанье дверьми; игра ребятишек на дворе – "в спекуляцию"; они меняли щепки на лопухи, обрезки листового железа на пустые папиросные коробки, карандаши ходили за бревна, спички за карандаши, песок за муку. Какой мощной и загадочной фигурой вставал среди этого человеческого хлама Черпанов, какое нужно умение, чтобы отсортировать для себя необходимое и выкинуть на свалку дрянь. Любопытно, как он понимал Сусанну? Присвоит ли он ее себе или ограничится болтовней? А бедный простодушный доктор! Я не нашел в себе достаточно сил рассказать ему о Сусанне и обо всем, слышанном мною, я питал нежность к этому избитому, покрытому синяками болтуну, – да и кроме того, после публичного признания Черпанова разговор наш приобретал почти государственное значение. То, к чему я раньше относился почти как к шутке, вставало теперь передо мной сложнейшей секретарской обязанностью. Я выразил свою нежность доктору тем, что принес из столовой стадиона суп в чайнике и две заржавелые котлеты. Вливая в себя суп, доктор расспросил меня о стадионе, попутно высказав кое-какие соображения:

– Когда вы вспоминаете, Егор Егорыч, великую французскую революцию, то неизбежно перед вами навешивается улица, вас захватывают крики толпы: улица диктует свои условия, сама, непосредственно, всем бельэтажам и особнякам. Вдыхаете вы проклятья, запах пота толпы, бледные головы с вершин пик, аристократы кивают вам! А сегодня, во дни великой советской энциклопедии? Улица безмолвна. Улица, одетая в черное, молчаливая, ломая храмы, переул-

ки, тупики, проведет вас к заводам. Кубы клубов, клубясь знаниями, встретят вас. И все-таки. . .

– И все-таки, Матвей Иваныч?

Он потер живот, – указывая пальцем в окно, на стадион:

– И все-таки, Егор Егорыч, мысли пятидесяти тысяч рабочих-зрителей, собравшихся на стадионе, невидимыми нитями протягиваются к нам, в наш дом, наполняют трепетом и страхом сердца, предъявляют свои требования. При любой ограниченности вы поймете, чего стоит вся пылкость старинных плакатов и гравюр. Пятьдесят тысяч на стадионе и этот гнилой домишко против него. О чем говорит стадион, – ежедневно и ежедневно думаем мы. Ясно, он думает о нас. Но что он думает о нас, в чем нас подозревает? Мы нищи и убоги. . .

– Но ловки! . .

– Но ловки. Единоборство не исключено. Не прекращается, не закрывается, никогда не пропадает из наших глаз стадион, навсегда предубежденный против нас.

– Навсегда ли?

– Навсегда, Егор Егорыч.

– А черпановский опыт?

– Какой?

Я увильнул:

– Помнится, вы сами, при встрече с ним, упоминали, – и восхищались его замыслом, даже подтолкнули его. . .

– Черпанов, дорогой Егор Егорыч, ничтожество и мусор. Я восхищался тем, что и для него нашли дело: ибо, поистине, нет другого на земле, кто бы смог лучше вербовать рабсилу. Призрачная миссия, полученная им, восхищает его до изнеможения. Он сумел вообразить, что комбинат принадлежит ему, что он сам будет распределять рабочих, служащих, инженеров по их местам, в то время, как их ждут специалисты, знатоки, хозяйственники, которые безошибочно укажут каждому его место. Смешная, фиктивная фигура врожденного, но бездарного хозяина, вдохновенного собственника. Нет, такой, Егор Егорыч, никогда не будет моим соперником по Сусанне. Материя, из которой сделан этот человек, садится при обработке, а обработка, которой может подвергнуть его Сусанна, рискована для подобных существ. Бьюсь об заклад, Егор Егорыч, истина.

Я отказался от заклада. Знай я доктора похуже, я б подумал, что он подслушал наш разговор в комнате сестер и даже подглядел обращение Черпанова с белокурой Сусанной, но покамест, надо пола-

гать, доктору пришел на ум иной соперник. Кто? Приходилось ждать, пока он не введет в свои заключения сам. Я не торопил его с поездом, да и он сам не спешил. Так, по очереди, лежали мы на матраце, кипятили чайники, я попросил у Населя колоду карт, передавая ее мне, тот не преминул пожаловаться на родственников, которые мешают ему завести приличные карты, – я пригласил его разыграть партию в шестьдесят шесть – он испуганно отказался. Мы играли вдвоем: доктор оказался плохим игроком.

Под вечер следующего дня, когда я возле плиты заваривал чай, Черпанов пригласил меня к себе. Я отнес чай, – должен заметить, не обладаю привычкой спрашивать своих друзей, куда и зачем они уходят или откуда приходят, – и вернулся к Черпанову. Он взял меня под руку, и мы отправились обедать на стадион. Позади себя мы оставляли черный купол Храма Христа Спасителя, похожий на дырявое решето. Против нас, перед площадью, лежали кирпичные груды взорванной церквушки, от которой еще уцелели своды с фресками конца XIX столетия, где святые, несмотря на мантии и ризы, все же походили стрижеными бородками и упитанными лицами на чиновников времени Николая II-го, а унылая однообразность неба и облаков напоминала царские канцелярии.

Черпанов затребовал борщ. Я подумал – и тоже заказал борщ. Этим поступком я как бы внутренне извинялся перед ним в том, что не возразил вчера доктору при его резких и неправильных определениях Черпанова. Держа ложку в борще и крутя перед лицом ломоть черного хлеба, Черпанов сказал:

– Ядро затевается. Спускаемся в шахты московские понемножку, Егор Егорыч.

Я порадовался, что затея его оказалась жизненной.

– Худеть вам от нее не придется, Егор Егорыч. Разрешите изложить вам басню происшедшего при посещении кустарного заводишки Савеловского вокзала.

Я обрадовался – и Черпанов начал:

XXIV

Обожаю я, Егор Егорыч, поэзию. То есть, не то, что обожаю, а всегда при добавочных затруднениях приходят ко мне различные стишки на память, даже не стишки и не на память, а так возле, не

мешая возвращаться к главной теме, подклеивается кое-что единогласное – в смысле стройности.

Ясно, что перейдя, так сказать, на "нелегальное" положение при самых легальнейших обстоятельствах, положение, смешнее которого и не придумаешь, – собирать ядро пролетариата зачем мне по крупным заводам? Увариваться мне вначале на малом. Тут я вспомнил, что мельком обратил внимание, возле Савеловского вокзала, в переулочке, существует некий гвоздильный заводик, кооперативных начал, артельный. Иду. Естественно – ворота, естественно – калитка, тесовый проход, и возле табельной доски с тусклыми бляшками естественный и правдоподобный милиционер. Курит. Дым розовый. Вспомнил я поэзию – по причинам, выше объясненным. На ура спрашиваю техрорука кузнечного цеха. А прах их знает, есть тут кузнечный цех? – "Васильева?" – естественным голосом спрашивает милиционер. – "А хоть и Васильева" – "На производстве". – "Так я и пойду на производство". – "Нельзя". – "Скажите, пожалуйста!" – "На производстве обеденный перерыв".

– И отлично. Мне необходимо разговаривать с ним именно в обеденный перерыв. Я поэт. Леон Черпанов. Описывать ваш завод приехал. Начнем с обеденного перерыва, и в обеденном перерыве мотивов достаточно. . .

Мысль о поэзии оказалась правильной и полезной, потому что милиционер отложил последний остаток интереса ко мне, как человеку своему, примелькавшемуся и надоевшему, сказав: "Третий корпус направо". Корпуса до единодушия старенькие, закоптелые, простодушные, и техрорук Васильев тоже простодушен и разговорчив:

– Поэт? Отлично. К нам давно МАПП обещал поэта прислать, да вот, говорят, обождите до реконструкции вашего завода, а то грязь у вас невозможная, а поэзия наша требует субъективного объективизма в отображении действительности. И верно: осмотритесь! Посреди заводского двора, возле клуба, – помойка. Тридцать рапортов я подавал. Не обращают внимания. На такой помойке, если завод воспеть, и Зозуля обсечется.

– Э, товарищ Васильев, да вы любите литературу!

– Сам пишу. Историю своей семьи.

– Ну, где Зозуля обсекается, там Черпанов не пропадет. Ведите меня, товарищ Васильев, к самой красочной ударной бригаде. А лучше к двум.

– Заслуживают уважение две такие бригады, товарищ Черпа-

нов. Да вон они сейчас, кстати, спорят. Савченко и Жмарин. Товарищи, здесь вас воспеть поэт пришел!

Трепет, не трепет, а приятно было сознавать, что наконец-то перед тобой подлинная квалифицированная рабсила, ядро моей задачи. Сидит на бревнах, кусках чугуна, угля – группа рабочих. Позавтракали, курят. Дым розовый. Там и сям ломовики дремлют, лошади будто замаринованные или таблицу умножения учат. Я вмешиваюсь, закуриваю и начинаю "вдалбливаться":

– Так вот, товарищи. Я – Леон Черпанов. Поэт. В стихах и в прозе. Который у вас бригадир Савченко и который Жмарин?

Савченко, толстомордый и толстогубый, как будто постоянно губами за кого-то ходатайствует, а Жмарин, с более приработанными частями и собой седоват, в жизни любит расчетливость и точность, как декларация по подоходному налогу. Чувствую я, что для возбуждения дела необходима прелюдия. Начинаю:

– Естественно, товарищи, техника – техникой, но человеческие отношения для поэта зачастую более важны: технические слова мы и из учебника вставим. Где же лирика? Где лучшая бригада и почему она лучшая?

– Моя бригада лучшая, – впадает в разговор толстыми своими губами Савченко. – Моя бригада плывет над всем заводом.

– Отлично, очень отлично. Замечательная бригада, следовательно. Почему же твоя бригада, товарищ Савченко, плывет над всем заводом, а бригада, будем говорить в открытую, жмаринская отстает?

– Во-первых, отличная работа. . .

Вижу, – Жмарин заводится. Уступить не хочет, перебивает:

– Иную работу тоже надо поставить в скобки, товарищ Савченко. Чем ты берешь? Переманил ты в свою бригаду лучших квалифицированных, более раннюю премировку обещал, конечно, и язык у тебя легкий. Да и первой-то она стала неделю назад. . .

Вкрапляю:

– Ага! Многое понятно! Вы, товарищ Савченко, добиваетесь уровня тем, что в свою бригаду привлекаете лучших, обещая им в силу дарованного вам ораторского таланта более раннее и, так сказать, безболезненное премирование, некоторые льготы и поощрения. Несомненно, вы прослеживаете за вновь поступающими, кто лучше работает, и сообщаете ему, что вы легче других имеете возможность добыть ордер – сапоги, пальтишечко...

Вижу, Савченко хмурится, а мне-то и надо:

– Коли тебе, Черпанов, ясно, так и пой.

Молчу. Жмарин вставил:

— За рабочими не следит. Скажем, отчего работают у него без очков. Металл брызни — вот тебе и без глаз.

— Приятно, приятно! . .

— Чего тебе, Черпанов, приятного — человек без глаз.

— Мне, товарищ Жмарин, приятна поэтическая деталь, которую вы кинули, как кость. Поэт не всегда может быть человеколюбивым, иначе он не соберет деталей. Кроме того, предо мной встало соревнование, я добираюсь до его внутренней сущности. Что хорошего, товарищи, глаза выжигать или людей калечить, но поэзия требует жертв, иначе ей не верят. Попробуйте выпустить комбайн, скажем, на сцену, и, если комбайн этот не раздавит человека, то какой в нем интерес? Мы еще многое дополним по психологии вашей бригады, товарищ Савченко, а сейчас мы выручим Жмарина. Отчего же оказались вы, товарищ Жмарин, внизу плывущим? Скажите-ка!

Жмарин молчит. Продолжаю заход:

— Я не следователь, Жмарин, я поэт, который желает принести жару стихами, помочь, так сказать, отливке гвоздей, и этому поэту ваша прямая обязанность открыть топку.

— Я открою, Черпанов.

— Чего ж приучать нас к ожиданию?

— Надо тебе пожить, посмотреть. . .

— Но я должен знать, где мне жить и чего мне смотреть. Определите мне вехи, дайте мне фарватер, пустите мой пароход по глубокому руслу жизни, а не надламывайте его возле мели. . .

Жмарин, учтя образовавшееся внимание рабочих, приступил ко мне:

— У нас, дорогой товарищ Черпанов, заводишко укомплектован средними людьми, для поэзии мало подходящими. Не верхушки и не цветки. Среднего человека, деревенского, раскачать трудно. Я бы с тобой и объясняться не стал, но ты меня следователем ударил. Что же получается: перед следователем я выступлю, а перед тобой не умею? Это выходит, я из-за убийства или воровства разговорюсь? С нашего завода, известно, как со ступеньки каждый норовит махнуть на какой-нибудь гигант. Пусть махают. Но махнуть они с разным сердцем могут, о чем я сегодня и расспорился с бригадой Савченко. Так вот, положив за начало выводов среднего деревенского человека, жадного на даровщинку, ленивого и скупого, пойдем мы вглубь. Вы, ребята, обижайтесь — не обижайтесь, но все вы через этого "нижесреднего" появились. . .

Вижу, кое-кто и обиделся. ”Э, думаю, прах с тобой, оставлю тебя здесь, а сам махну к себе остальных”. – ”Так, так”, – подтверждаю, а Жмарин расходится пуще:

– Жизнь требует поднимать этого ”нижесреднего” выше, и если кидать его на гигант, так кидать не рвачом и лодырем, а настоящим парнем. Надо ему занавесочку с глаз долой, чтоб он свою темную конуру бросал. Из деревни чего особенного? Ой, был ли ты, товарищ наш Черпанов, в таких деревнях, где мыла и не знают, где дым выходит через двери, потому, видишь, они еще и окон не изобрели, колхоз они считают наущением дьявола, а злости в нем. . . налакается он водки, и вспыхнет в нем эта злость, хватает он оглоблю или кол – давай глушить направо – налево. Пьют! А который похитрее, тот, если и бьет, так бабу, он копит копеечку, скупает барахлишко, перепродает в город, домашних гноит в несчастной работе, – а под конец долгой жизни и замора скопит он каких-нибудь три сотни рублей. Плохо в деревне, товарищ Черпанов, сыро, болезни, глупо, зряшне. Бежит мужик в город; даем мы такому Ваньке лопату, двигаем к станку. . . Скучно?

Я замахал руками: продолжай обижать, дескать. Вижу, все супятся. Что скука? И скуку умей использовать.

– Поставишь его у станка. И все-таки Ванька оглядывается, всему-то Ванька не верит, опасается. Как так? Деньги платят, пища отличная, помещение – пожалуйста, значит – не случится ли, что Ваньку обманут? Чересчур спокойно все. Надо ему, Ваньке, деньги собирать, пока, видишь ли, люди не опомнились, имущество, потому деньги и имущество единственный верный друг. И смотрит Ванька волком, компанию водит с деревенскими и всех своих деревенских за собой на завод тянет, так что иной завод фактически состоит из ста деревень, поставленных у станка. Так? А попробуй ты такого Ваньку на собрание затянуть, подступись к нему, – он уже и квалифицированный. . . в нашем деле, если у тебя хоть малая сметка, месяца через четыре-пять ты уже и категория.

– И отлично!

– Отлично? Пускай будет отлично, товарищ Черпанов, если ты его к сознанию подвинул, а не развил в нем жадности, как ее Савченко развивает. Обижайся, Савченко, валяй! Ванька он от радости да гордости, что категорию приобрел, совсем очумеет и все свои деревенские навыки за самые неистребимые истины ценит. Оставь его – и погиб Ванька! И себя – и дело. Как же не довести его до гибели? Много разных подходов. Я, скажем для примера, руками ему моне-

ту, а сам твержу: "Вань, ты оглянись, милый!" Ну, вначале он не понимает выше койки общежития. Ну, веду я его на квартиру и говорю: "Вань, видишь, как настоящий рабочий живет. Тянись, Вань. Будет тебе квартира со светом, с трубой, горячей водой – кипятком. Будет тебе, Вань, кухня в полное твое распоряжение, но чтоб владеть этим, надо тебе, Вань, знать, откуда ты этим владеешь?" И жду от него, спросит он – откуда, дяденька? – тут его мозги и надо окатить рабочей гордостью, чтоб он понял, через какие страданья, жертвы и пререканья пришел к данному делу рабочий, чего он имел, чего имеет и как он должен направлять себя. А рабочая гордость она сразу не появляется, ей и учиться надо и у окружающих расспрашивать. Я и говорю: "Надо тебе, Вань, тянуться. Надо б тебе, Вань, у меня в бригадке поработать. Я тебя с легкостьб еще выше в квалификации подниму, и прыгнешь ты от меня в гигант. Сапоги? Сколько выручено! Доход? Не-е. . . Главный доход, Вань, у нас – ум. Вот откуда важно поступление сумм. Узнай да оцени не только то, что земля с виду как бы стол, а на самом деле яйцо, но и почему это капиталисты говорят: у нас гладко, а на самом деле сплошные ямы и страданья! Митричук!

– А я тебя слухаю, Егор Петрович.

– Вон он, товарищ Черпанов, этот Митричук. Он по ошибке в мою ударную попал. Записали его вместо Теренчука. . .

– Верно, все ж, Егор Петрович. . .

– Обожди. Записали тебя ошибкой? А ты у нас сплошной алкоголизм?

– Наша губерния, да что – вся губерния, Егор Петрович, самая запьянцовская во всем императорстве. Учитывай.

– А я учитываю. Губерния была, верно, запьянцовская. Но из всей губернии самый запьянцовский был ты, Митричук.

– Так я ж не только горжусь этим, Егор Петрович, я и страдаю. У меня почти болесь: не зальешься, – за губернию стыдно, а напьешься – за себя стыдно.

– Записали мне Митричука. Другой бригадир, вроде Савченки, он бы сейчас на дыбы: ему алкоголиков? И Митричук, узнавши про ошибку, – из бригады удрать. Я ему и говорю: "Лестно ли тебе, Митричук, со мной общаться?" – "А чего же нелестного, отвечает, я тебе такое про наших запьянцовских расскажу, а вот мое состояние водочное. . ." – "Отлично. Ты оставайся у меня в бригаде и водочное твое состояние останется при тебе, но возникнет между нами одно условие: пить тебе по пятидневкам вместе со мной, рассказывать те-

бе об удивительной запьянцовской губернии. Мало того, добавочно для компании директора завода приглашу". Тому совсем лестно. Так мы месяц, кажись, пили, и многое я узнал об запьянцовской губернии, но затем я ему говорю: "Давай, Митричук, раз в декаду пить, потому что я ослабел здоровьем, а переселяться в вашу исчезнувшую губернию мне дети мешают". Митричук сразу заскучал. А я: "Свободной же пятидневкой мы ударим по театру!" – "Мне, – он говорит, – чего в театре? Там запугивают односпальной, подобно нашей, жизнью да еще и без водки". – "Зря! – отвечаю я, – раскопаем мы тебе другую, многоспальную жизнь. С пением, танцами и оружием". И повел я его в Большой театр. Заварка оказалась в меру. Раскалился Митричук. Одетая и вооруженная, говорит, жизнь, и поют будто птицы в лесу, хоть это и не по моей части. . .

– На руках его несите в партию, – проворчал Савченко, включенный в полное недовольство: – подвижнички! Водку не пьют, деньги не принимают. . .

– Зачем – мы деньги не принимаем? Раз они существуют в нашем государстве, мы их принимаем и даже любим. А любовь-то разных сортов. Случается – любовью и себя и любимого замучают.

Здесь я Жмарина прервал. Для меня важно было легкое столкновение, а не ссора. Кстати, и технорук Васильев ушел.

– Прекрасно! – воскликнул я: – Я увидал полностью мощь социалистического соревнования. Поэма придумана. Пять тысяч строк обеспечено, не считая фрагментов. Я посвящаю поэму вашему заводу, товарищи, – и несомненно на вас сразу же обратят внимание. Мгновенно впитают вас: где они, эти рабочие, которых описал Леон Черпанов? Поставить их сюда, перед лицом съезда! Заводу не хватает сырья? Получи! Мало прозодежды? Выбирай лучшую. Вот как ответит съезд. Поэзия научилась делать машины, а не только подражательские книжки. Книжки есть дым, взглянул – и растаяло, а сырье – есть станки, орудия и оружие.

Я пожал всем руки. Сознаюсь, я запылал. Не от поэзии. Хотя я и здесь говорил правду, но оттого, что наконец-то я смогу вставить в рамку картину нашего комбината, начав этим свой удивительный поход через Москву, через ее индустриальные и бытовые точки.

– Прекрасно, прекрасно, товарищи! Но в этом деле, как и во всяком, имеется свое "но". Это "но" заключается в том, что вот, допустим, я составил поэму о двух бригадах или вообще о вашем заводе. В силу характерного воздействия на искусство я сошлюсь на роман "Соть", после появления которого бумфабрики заметно

снизили свою продукцию, исходя из того, что если есть превосходный роман о бумаге, то вряд ли нужна таковая, – завод приобретает гордость. А чем здесь гордиться? Старая галоша, ботик Петра Великого, болото, гнилое бревно в болоте! Ведь если придет ответственный товарищ или даже вождь, – а он непременно придет, – зачем же иначе существуют стихи и поэзия вообще, то что же он увидит, чем вы гордитесь? Что же, скажет, ты воспел, Черпанов, разве нет для тебя более подходящего строительства? И действительно, – помойка посреди двора, цеха, похожие на конюшни, – куда ты нас обмакнул?

Молчат.

Савченко, должно быть, больше всех хотелось воспеться или просто в силу своего легкого мышления, но он раньше всех спросил:

– А если, товарищ Черпанов, попробовать все-таки?

– И пробовать не стоит. Опозоришься.

Я еще раз пожал им руки. "Пора обрушиться", – подумал я и врезался в свою идею, я засыпал рабочих цифрами, я заставлял их неметь перед пространствами, которые осваивались при моей помощи, я их заквасил своими мыслями, заставил всосать, поглотить, впитать, – чтоб дело свелось к одному и тому же:

– Но увязли вы не настолько, что и нет эффектного выхода, товарищ Савченко, и вы, товарищ Жмарин.

– Какой же эффект нам доразвернуть?

– Выход и простой и сложный. Простой потому, что я являюсь инициатором данной простоты, а сложный потому, что дело за вами воздавать эту сложность или нет. Я причислен, товарищи, к части поэтов, правда, но кроме того, я уполномоченный по вербовке рабсилы для Шадринского металлургического комбината. Вот вам цифры. . .

Я вспрыснул цифры, просмотрел пространства, присоединил к ним климат и охоту, на всякий случай, и после последовательного соединения вытащил главное заключение:

– Как видите, товарищи, совершенно необходимо менять вам место. Там, на широком масштабе, развернем мы ваши методы и ваши навыки. Митричук! С тобой будут пить водку самые смелые люди Союза!

Обеденный перерыв кончался, да и, кроме того, к нам шел технорук Васильев. Я успел сунуть бригадирам свой адрес. Жмарин

нерешительно мял адрес в пальцах, а затем сунул его в карман. Ясно, я нанес ущерб гвоздильному заводу.

– Ты сколько жалованья-то получаешь? – спросил вдруг Жмарин.

– Триста.

– И суточные, небось?

– Обрушиваются и суточные.

Жмарин взял меня легонько за руку:

– Мы тебя, дорогой наш товарищ Черпанов, уважаем. Стихов мы твоих не читали, а если печатают, при нашем бумажном кризисе, – значит, стихи нужные. И что хлопочешь насчет рабсилы – хорошо. Пиши ты свои стихи, получай суточные, а в смысле рабсилы – подальше.

– Отказ? Все – отказ?

– Зачем отказ? Ты посуди сам: к нам за пятидневку уже восемь уполномоченных набегло. Один за фотографа себя выдал, второй санитарный врач, двое – родственниками прикинулись, а один, окаянный, официантом в столовую затесался; по переулкам в роли нищих пристают. Житья нету, товарищ Черпанов. Не будь ты поэтом, мы б просто по шее. . .

– Я поэт. Разве другие перед вами так выступали?

– Хуже.

– Вот вы сравните: какое у них строительство и какое у меня. Урал. Поблизости Кузбасс. Рыба. Охота. Раков сколько угодно. Пивной завод. Молоко пять копеек кружка, а в Москве лупят шестьдесят.

– Знаю. Я, брат, живал в Шадринске. Теплый город.

Смотрю, рабочие рассеиваются.

– Отказ?

– Для того, чтобы отказывать, товарищ Черпанов, надо раньше переговоры вести, а какие здесь переговоры, если ты нас от работы оторвал?

– Не финти, Жмарин. Обеденный перерыв.

– В обеденный у нас актеры когда выступают. Сосчитаем и тебя за актера. Зачем нам тебя в контору волочь? Попрут тебя в милицию. . . Вот не будь ты поэт. . .

Я отошел. Всыпали, сморщили! Опять в одиночной упряжке Черпанов. Очень обидно мне было, Егор Егорыч. Стоял я, думал: что бы такое выхватить сверкающее из ножен. Обрызгать, убаюкать, но не поверхностным, а рассудительным, благоразумным. Савченко

приблизился к Жмарину. Заискивает Савченко! Еще одна обида. Слышу, говорит:

– Трепанье случилось. – Жмарин молчит, ждет. Савченко выбивает из себя: – А если он, действительно, актер? Черпанов. Знакомая фамилия.

– Зачем ему быть актером?

– А если номер у него такой для перерыва.

– Да ведь и не смешно, и не скучно.

– Для размышления. – Савченко загнал себя в последнее признание и с натуги покрылся даже потом: – Я на карту ставлю, Егор Петрович, свою неправильность. А не обижайся.

– Да чего мне обижаться, дорогой наш товарищ Савченко.

– С Митричуком когда будешь пить, позови. А от переману лучших в бригаду и отказаться недолго.

– Зачем? Не вредно, если в меру. Мне, скажем, переманивать труднее, у тебя авторитет крупнее.

– Будто и крупнее.

– Я тебе говорю. Я знаю, у кого крупнее, у кого легче. Тилибили разводи, а как до работы дойдет, так в самый ужасный прорыв двигаем Савченко. Лето отличное. По грибы скоро поедем.

– Поедем, – сказал Савченко, погруженный в славу. – А все-таки, что ни говори, Егор Петрович, в стихах лестно показаться. Стихами он меня пронял.

– Стихи – вещь лестная.

Пожалел я, Егор Егорыч, что нет у меня стихотворного дара. Помимо общей, довольно безопасной прибыли, каковую он приносит в данное время, как бы я смог мгновенно повернуть события! Много ли надо было для Савченко? Какие-нибудь два четверостишия, а тут, черт ее знает, какая чепуха в голову перла:

Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак. Блеск безлунный,
Когда я в комнате своей. . .

или:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
– Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца. . .

Главное, никак к моменту не подходило, а то бы мог и за свои выдать. И Жмарин на меня искоса поглядывал, видимо, ожидая вспышки. Посмотрел он на меня последний раз, поднял бороденку параллельно заводской трубе:

– Сами стихи напишем. Подпевай, Савченко.

– А к чему? Твои, что ли, Егор Петрович. Не знаем. . .

– Подпевай. Стихи об нас.

Отошел я, Егор Егорыч. Запели они:

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль, омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко. . .

Юношество забирало круче, старики монотонили, но в общем было в песне кое-какое единодушие. В перерыве между куплетами Савченко, в надежде вернуть меня, спросил громко:

– Позволь, Егор Петрович. А где же тут про меня?

– Ишь ты! Сразу захотел! Ты вот вначале из "нижесреднего" выберись, дело омногоэтажь, ну когда-нибудь и про тебя будут петь, – ответил Жмарин.

Ухожу. Трубы. Дым розовый. Радуюсь и восхищаюсь указаниями.

XXV

Трудно было понять, каким указаниям щеголевато радовалось и восхищалось сухое и льдистое лицо Черпанова. Не будь его личного признания, я вряд ли бы разобрался: щеголеватое восхищение можно было б отнести и на счет удачного борща и даже на счет выкуренной папироски. Должен заметить, что хотя лицо Черпанова везде и всюду выражало морозную сухость, но часто мелькала в нем некоторая суетность, все же не переходящая в пустоту. А где вы встречали совершенного человека? Вот почему я потребовал усиленных разъяснений. Скрипящим, бюрократическим голосом – словно буер по молотому льду – с готовностью, полной исчерпывающей, отозвался на мое требование Черпанов:

— Я радуюсь, Егор Егорыч, тем указаниям, которые дал мне пролетариат посредством двух бригадиров гвоздильного заводика. Ни один ответработник не получал более веских указаний. В чем они заключаются? Извольте. Мы с вами решили содрать ядро нашего вербования. Ядро пролетарское с тем, чтобы вокруг этого ядра наворачивать все остальное, что мы обязались увезти в бесклассовое общество с собой.

— В бесклассовое общество, Леон Ионыч?

— А вы как думаете? Переезд на новую квартиру — не больше? Извините. Такие частности Черпанова не интересуют. Возьмем наш дом, Егор Егорыч, наше окружение. Кто они? Как вам известно, в большинстве служащие — но в сущности мещане, мелкая буржуазия, собственники, спекулянты. Чего они трепещут, чего им жаль? Прошлого? Прошлое у них не ахти какое блестящее, напротив того, эти силы или отбросы, как вам угодно рассматривайте их, созданы революцией. Надеются ли они на реставрацию? Вряд ли. Верят ли они в возможность бесклассового общества? Конечно. И отсюда у них трепет и всяческие содрогания. Они знают, что до бесклассового общества доживут, а вот пустят ли их туда? . . Вопросец, как видите, болезненный и щекотливый, в основном, лишающий их стимула к работе. Да-с, Егор Егорыч! Ведь это же они стоят целыми днями в очередях, рыскают по деревням, помогают обворовывать наши склады, портят работу в учреждениях, ломают машины, — не со злого умысла, а от презрения к ненужной им работе, вроде постройки гильотины для себя же. Очереди! Не зря иностранные корреспонденты обожают стоять в очередях. Здесь все надежды, вся брехня остатков буржуазии. В очередях вы услышите разговорчики о короне американского императора, — впрочем, об этом позже. . . И неужели же мы, при нашем недостатке рабсилы, при нашем умении перевоспитывать, не используем их? Но как к ним приступить? Они потребуют гарантий, что их не уничтожат в бесклассовом обществе, им мало одних уверений. Но тут встает основное препятствие: поскольку наше правительство рабочее, пролетарское, оно не может брать на себя обязанность вводить в бесклассовое общество мещанство, буржуазию, надеяться же на то, что буржуазия по дороге перемрет — не приходится, для этого она слишком хитра и ловка. По моим наблюдениям, правительство несколько смущено, и оно будет чрезвычайно благодарно тому человеку, который найдет выход из затруднительного положения. Ну, что ж, я и взялся.

— Вы, Леон Ионыч?

– Чудак вы, Егор Егорыч. Намеки вы принимали, а когда перед вами развернули полную программу, так вы ошалели. Бесклассовое общество реально встало перед нами? Реально. Правительство не берется и не может взяться перевоспитывать буржуазию? Нет. Что же, ее изгонять, как изгнали евреев из Испании? Можно, но слишком велики издержки. Вот тут-то и явился Черпанов. Он привозит на Урал такую рабсилу, которая будет трудиться лучше прочих, потому что она свежа, она энергична и опытна, она рвется до дела, она хочет проникнуть тоже в бесклассовое общество. . .

– Любопытно, но какие же вы ей даете гарантии?

– Очень простые, Егор Егорыч. Как у нас прежде принимали подобные элементы на службу? Давали анкету. В анкете он писал: сын или дочь крестьянина, служащего, вообще врал, что ему придет в голову. А у меня по-иному. Я приду к нему и скажу: мне известно, что ты спекулянт, сволочь и вообще замороженный буржуй. Но я тебя принимаю без всяких ограничений и испугов. Работай. Перед тобой, на нашем строительстве, снизу доверху открыта вся служебная и правительственная лестница. Это опыт. Если ты окажешься способным, ты перейдешь в бесклассовое общество и потянешь за собой других, – понимаете, их классовые интересы затрагиваю, а если будешь хитрить – до свиданья, по-хорошему, по-милому, без "волчьих билетов". А кроме того, имею пакет с девятью печатями. Пониме?

– Пониме-то пониме, Леон Ионыч, но вот насчет восхищения указаниями...

– А, вы относительно заводика. Я беседу эту рассматриваю как указание на то, что мне необходимо делать упор на буржуазию, попутно, конечно, но не очень, создавая пролетарское ядро. Моя частная система позволяет мне большие изгибы, до тех пор, пока я не создал монолитного потока. Естественно, мы должны с вами процеживать, ограждать, вести строгий индивидуальный отбор, иначе с большим успехом мы могли бы забрать с собою всех зевак, которые смотрят на разрушение храма Христа Спасителя. Мы порознь проработаем каждую особь. Каждый одиночный огонь. . .

Возражения теснились в моей голове. Но я понимал, что Черпанов позволил мне взглянуть лишь через щель: взять хотя бы пакет...

– Позвольте, Леон Ионыч, а я? Если вы меня привлекаете, то, значит, я тоже мещанин?

– А вы себя кем считаете, Егор Егорыч?

Я задумался.

– То-то! Ни то, ни се? Зачем же тогда задавать мне вопрос, вы решите насчет себя сами, и затем и обсудим сообща ваше решение – пока же работайте. У меня, наряду с основным сосредоточением, масса побочных приобщений. Не будем касаться короны американского императора. . .

Опять эта проклятая корона! И почему люди способны носиться с удивительно глупой тщетностью? Черпанов, умница, человек, стоящий порознь, и он туда же? От злости в горле у меня стало так сухо, как будто я наглотался опилок.

– Не будем ее пока трогать, Егор Егорыч. Хотя проблема тоже из области розничной продажи. А заграничный костюм? Вы, как давний обитатель этого дома. . .

– Откуда вы взяли, что давний обитатель?

– Те, те! Зачем скрывать, Егор Егорыч? Я открыл вам все карты и беру вас со всеми свойственными вам недостатками. Известно, что я остановился здесь по рекомендации Лебедевых. . .

– Лебедевых?

– Да-с, Лебедевых. Вам известно также, что трое из них жили в той комнатке, в которой обитаете вы в данное время. Я довольно-таки уговаривал Степаниду Константиновну, пока она не пустила меня в ванную. Спрашивается: почему ж она мгновенно почти впустила в комнату Лебедевых вас?

– А кто ее знает? Уверяю вас, Леон Ионыч, я впервые здесь.

– Те, те, Егор Егорыч.

Он покачался на стуле с видом такой хитрости и проницательности, что официант, полетевший было к нему со словами: "Гражданин, осторожней с мебелью!", остановился в двух шагах, крякнул – и скрылся.

– Те, те, Егор Егорыч, костюмчик-то для себя наметили. . .

– Уверяю вас, Леон Ионыч. . .

– Но уступите. Неприлично секретарю одеваться лучше патрона. Вы и сейчас лучше одеты. Ведь если вынуть все документы и записные книжки из карманов, так я приобрету совершенно унизительное содержание. Единственно, в целях вашего спокойствия, прошу.

– Понятия не имею, Леон Ионыч, о костюме. Правда, слышал я мельком, у Жаворонкова, но боюсь, не о вашей ли...

– Ага! И я вам намекал Жаворонковым. Идем к нему.

Насколько доктор, прикидываясь хитрецом, являл собой выдающуюся эманацию простоты, настолько же Черпанов, излучая

суровую ледяную простоту, – если не считать бесчисленной сложности его карманов, – постоянно облокачивался на вас резиновой эластичностью хитрости. Возьмем, хотя бы, случай со мной. Знал же он о нашей ссоре с Жаворонковым; отличал же он меня от обычного обитателя дома № 42 и, наконец, понимал же он полное мое презрение к одежде? А как запутал, какой заставляет описывать эллипс? Вот надо б спросить поподробнее о Лебедевых, – а язык не поворачивался – и без того выпущено в обращение такое количество неразвитых положений, что опилки перекинулись у меня из горла в голову. Непочтительные мысли мои заставили меня опустить взор на дно тарелки.

– Вспоминается мне несколько случаев, – сказал я, – моряка спросили: "На каком судне безопаснее всего плавать?" – "Которое в гавани, – ответил он, – назначено в ломку". Рассуждая по этому поводу, у знаменитого портретиста, обладателя удивительно некрасивых детей, захотели узнать, как же так: рисует величайшие портреты, а собственные дети плохие. И живописец ответил: "Портреты – что, а если бы я даже был скульптором, то и то бы не смог слепить ребенка удачно в полной темноте и ночью". Вышеприведенные ответы напоминают мне своей полной откровенностью ответ одного портного, которого спросила жена, видя, как он, кроя свое собственное платье, все же употребляет материала больше, чем необходимо: "Зачем это, Вася?" А Вася сказал: "Удивительно, ты хочешь, чтоб я потерял приличную привычку воровать?"

Когда я поднял глаза – Черпанов исчез.

XXVI

Доктор повязывал галстук. Синяки прилежно залепляли его лицо. Он сидел весело на скрещенных ногах у окна в изголовье матраца. Во мне он открыл, должно быть, разгорающуюся гордость и самодовольство, потому что он одобрительно сказал:

– Вы правы, Егор Егорыч. Нейтралитет похож на проходную комнату. Действуйте. По моему мнению, всех счастливее тот, кто или не знает или не верит тому, что он несчастлив. Синяки, а не болезненное состояние, внешнее, а не внутреннее мешало мне выйти из комнаты. Я вышел. Часа за два до вашего прихода. В коридоре я разговорился с Трошиным. Вместе с Ларвиным занимают они по кро-

шечной комнатушке в перегороженной бывшей столовой. Служит, как и Ларвин, в кооперативе. Некогда крупье, ныне способен добыть вам лучшее вино в три раза дешевле или спирт. Отвисший живот, как заигранная колода карт. Почему я заинтересовался им? А почему он разговорился со мной и почему сказал, что вечером у него будет Сусанночка и почему пригласил меня? Я лишу его листьев! . . Егор Егорыч, я лишу его листьев.

Узел галстука он перевязал по-иному. Я понял, куда он гнет и кого он увидел в Трошине, но я не видел нужды поддерживать разговор, впрочем, доктор и не нуждался никогда в поддержке; он и по поводу обгоревшей спички мог говорить десять часов, а вспомнив Хр. Колумба, то и все пятнадцать. И не слова меня умиляли, а количество фактов, отчужденных, выбитых из колеи и редко повторяемых. Где они вмещались в этой круглой голове с полузакрытыми глазами, похожими на ущелье?

– Отказываться от Сусанны, передать ее узколобому вырожденцу, обладающему чрезмерной способностью убеждать ближних в пользе вина. Он возносит вино на гребень вашего сознания, он превращает теснину вашего рта в Мадагаскарский пролив. Его умственная узость, его черствость сердца обесценивают все, кроме вина. Он превратит Сусанну в кабатчицу, ему необходима ее непробужденная чувствительность. Он заставит ее думать обо мне, что я не обладаю мужеством, что я трус; он превратно истолкует мое поведение у Жаворонкова.

– Тогда идите к нему, Матвей Иваныч, – сказал я, растягиваясь на матраце. – Если он такой знаменитый водоснабжатель. . .

– Он всю землю рассматривает как закуску к выпивке, Егор Егорыч.

– То не сможет ли он добыть нам такого вина, которым мы бы опоили клопов.

– Благодаря вину, он достигнет цели! Помогая себе вином, он уводит окружающих в болезнь, чтобы целиком господствовать над ними. Но сам он не пьет, Егор Егорыч. Чего доброго, Сусанна не от вина ли попала к ювелирам? Не он ли подсунул ей вино? И все-таки я излечу их от вина. Я ему так прямо и сказал с тем, чтобы отнять у себя все поводы к отступлению.

– Да, Трошина вам необходимо оголить, – сказал я. – А то Сусанна, как та девица, читавшая роман, где влюбленные равно пылая страстью на протяжении ста пятидесяти страниц тянут разговор, откинет при десятой странице книгу: "Зачем столько пререканий,

когда они вместе и притом наедине!" Боюсь, что в той заварухе, которую наблюдаю я в доме, вы плохо, Матвей Иваныч, используете возможность уединения. Не колонны же так сладостно вздыхают, когда ночью пробираемся в уборную, а, кроме того, несколько раз вместо ручки двери я хватался руками за менее согнутые предметы.

— Вы пытаетесь освободиться от прямого ответа, Егор Егорыч. Мы уничтожили Жаворонкова. Я прошу вас помочь уничтожить Трошина — и завтра мы уезжаем, оставив ее с огромным запасом размышлений. Я приготовил гигантский материал о вине и водке. Оно умрет. Мои возражения — это камера для уничтожения паразитов.

Вот бы вы и уничтожили, в первую очередь, клопов в нашей комнате. Ночью у меня такое впечатление, как будто меня вынимают из оболочки.

Но тут я подумал, что, пожалуй, для успеха черпановского предприятия, а, значит, и для моего, полезнее убрать из дома суматошливого и просто умного доктора. Я предупредительно пошел ему навстречу. Я предложил ему — в целях и самообороны и более крепкого воздействия, чем диалектика — захватить из ванной по доске. Вообще списывать кому-либо со счета сумму доской по голове доставляет вам известное облегчение. Доктор обещал воздерживаться от драки, добавив, что он в состоянии найти лучшее средство для удаления волос, — и он показал мне свою гребенку, похожую теперь более на платяную щетку.

Отдохнув, сыграв в шашки — доктор весьма искусно возобновил на полу остатки чьего-то шашечного чертежа и вырезал из спичечной коробки фигурки, — мы вдоль колонн скромненько пробрались к Тереше Трошину. Доктор робко постучался, вздохнул. Не буду снимать покровы с вони и грязи фанерных перегородок, покамест хватит вам того, что я описал раньше. Появление наше исторгло у присутствующих радостные вопли, а у хозяина какие-то намеки на слезы. Три-четыре бутылки были початы, остальные, вытянувшись в красивый ряд, ждали освобождения. Поминутно улетал и вбегал Ларвин: с каждым появлением его полянки между бутылками покрывались расслабленным сыром, изнемогающей ветчиной, кусочками колбасы, словно сравнившие сложение друг друга, удаленно розовела редиска, облегчал вашу совесть хрен, арбуз близился к концу конечным пределом своей багровой мягкости и липкостью черных зернышек, дыня, какие даются только напрокат, ливерная скользила с тарелки, требуя, чтоб с нее сняли кожу! .. Великий ис-

кусник по продовольствию Ларвин! Но подождите, воспламенится вино, вот тогда узнаете, что за похититель чужих душ Тереша Трошин, субъект с отвисшим животом и передергивающимися щеками, подождите, когда он начнет откупоривать. Вот Тереша Трошин поднял платок с важностью, с которой никогда не открывали памятника хотя бы самому развеличайшему из земноводных, – тише! – под платком, словно символ вознаграждения, лежал, ласковый, как селезень, готовый к абордажу – штопор! "Граждане, – безмолвно говорили слезящиеся глаза Тереши Трошина, – есть ли возражения против штопора? Уходит ли от вас хоть на минуту вся прелесть его погружающейся в кору тропического дерева стали, избежать ли вам гула вспрыгнувшей пробки, миновать ли вам стакана, куда наклоняется горлышко, ускользнуть ли вам от катающегося пола и, наконец, упустить ли вам похмелье?"

– Она под столом, – сказал мне тихо доктор.

– Кто? – спросил я так же тихо, стараясь заглянуть под стол. Я не люблю собак, особенно когда ешь, а она кладет тебе на колени слюнявую свою морду. Теснота мешала мне. Я начал шарить ногой.

– Она толкает меня ногой, – сказал доктор. – Она от стыда передо мной залезла туда.

– Почему собаке стыдиться вас? Что вы, ветеринар?

– Не собака, а Сусанна. Вы ее не видите за столом, следовательно, она под столом.

– Она придет позже.

– Почему ей приходить позже, если я сейчас начну говорить. . .

– Но, – тсс! – вбежал с блюдом Ларвин. Соседи делаются чужими, отдаляются – я слышу хрюканье. Ба! Блюдо заключает в себе поросенка. И какая гордая харя! Ему придется поплатиться за это. Пускай доктор отцепляет нас от вина, но поросенка надобно разгрузить. Я протянул тарелку. Доктор, презрительно лавируя среди бутылок, тоже. А почему доктору нельзя попробовать поросенка? Нигде не доказано, чтоб поросенок вредил диалектике. Тереша Трошин преградил штопором поход докторской тарелки.

– Мы вас ждали, доктор, – начал Трошин, слезясь над штопором, – и встретили более достойно, чем поросенка. Ваш предварительный разговор со мной распустил в моей душе множество побегов. Я поделился ими со своими друзьями, сидящими здесь, вокруг этого соснового стола. Мы пожевали их, побеги весенние, молодые, жевать их любопытно. И вы правы! Ужасную жизнь ведем мы, доктор, ужасную и отвратительную. Да вот возьмите меня. Зачем я до-

стаю отличное вино и устраиваю вечеринку? Чтобы напоить своих друзей и обыграть их! Позор!

– Еще бы! – сказал кто-то, икая.

– Еще бы не позор! И вы правы, доктор!

Доктор отодвинул тарелкой штопор – и, не дотянувшись до поросенка, ловко славировал в сторону, левой рукой кинув по дороге на тарелку кусок ветчины. Я последовал за ним. Но штопор преградил нам обоим возвратный путь.

– Вы правы, доктор, – ветчина стоит впереди поросенка, так же как и имеретинское превышает цинандали. Но до того, как вам обесцвечивать ветчину, я закончу свою мысль, а именно: некоторые предлагали здесь ограничиться плакатом: "Карты – враг человечества", но разве не подобные же лживые плакаты разоблачили вы, Матвей Иваныч, у Жаворонкова? От подобного утиного понимания надо поспешно уходить, а чертить нечто другое. Карты? Карты не причина, а следствие.

Доктор встал, открыл было рот, потянул тарелку, но штопор не так-то легко было распутать, улепетнуть от его спиралей.

Следствие – вино. Да, сознаюсь я, вино и еда создают шулеров и прохвостов. Верно я говорю?

У доктора имелась странная особенность: с глазу на глаз он способен был наговорить вам величайшие дерзости, присвоить вам побуждения вроде таких, что когда вы у него попросите папироску, то он заподозрит вас в сексуальной слабости или, на худой конец, в жадности, но стоило перед доктором выступить обществу – хотя бы из пяти отъявленных мерзавцев – с любыми уверениями, как он обезоруживался совершенно и никак не способен был отличить лжи от правды. Так и тут: едва раздалось общее: "Правда", как доктор словно пыль, стер со своего лица желание покушать – и, отложив тарелку, внимательнейше уставился в слезящиеся глазенки Трошина.

– Еще бы неверно, Матвей Иваныч! Мы много рассуждали перед вашим приходом, а приход ваш вытек в полную сообразность с нашими мыслями. И мы вот сейчас, смотрите, я еще никого не спрашивал, но все уже согласны. . . – Здесь все кивнули головой, я думаю, они были основательно подвыпивши: – . . . навсегда покинуть вино, карты и еду! Мало, действительно, вывесить плакат, хотя и он возмущает совесть, но за ней не уследишь, она прячется иногда в такие закоулки, где на нее и черт седла не накинет. Надо осушить желудок кардинальнейшими категорическими мерами. И вот мы все даем торжественное обещание прекратить пить вино и есть пищу без

вашего совета, Матвей Иванович. Ваша борьба за ясность жизненной программы дает свои плоды. Верно? Верно. И он тысячу раз прав, Матвей Иванович. Пищу надо принимать, как лекарство, а мы что же делаем: жрем, сколько влезет и когда влезет. Разрешите!

– Нельзя же выкидывать пищу, – сказал я.

– Отдайте! Он прав, – приказал мне доктор.

– Зачем выбрасывать? – сказал Трошин, скидывая обратно ломти моей ветчины. – Мы просветились, вы отвернулись от искаженного лика жизни, мы уберем ее в погреб.

Мне убийственно хотелось есть.

– Там ее просто сопрут.

– Зачем сопрут? У нас отличный железный сундук, и ключ от него мы передадим доктору. Виноват, вы налили вина в стакан, Егор Егорыч.

Я уклонился от него. Но если Трошин пожелает лишить вас вина, то никому не избегнуть его руки! Он перелил мое вино из стакана в бутылку. Я в надежде обернулся к доктору: запустение смотрело на меня. Трошин простер обе руки к дверям:

– Убрать провизию! Засидят мухи иначе! – скомандовал он, опуская руки и мгновенно облепив себя дюжиной бутылок, водрузив поросенка на голову, хлеб на живот. Кто-то волок колбасы, кто-то сыры, кто-то свертывал скатерть, а кто-то запел: "Со святыми упокой!" Мы неслись по коридору. Впереди – поросенок, разочарованно свесив голову, смещенная ветчина, откуда-то присоединились замороженные судаки с решительными глазами, коробки сардин и шпротов; в огромной эмалированной кастрюле картофель с маслом, горячий, негодованием наполнивший мое сердце. Он удалялся от меня! Затем покатились – имеретинское, цинандали, развернулись вдали этикетки коньяков и отодвинулись от меня две четверти водки. Я не пьяница, но тут я понял людей, которые становятся пьяницами, едва в стране введен сухой закон...

Опять – кухня. Торжественно поднялась дверь в полу, обнажив скользкие ступеньки вниз, обрамленные сизой погребной растительностью, и ветчина, все еще продолжая испускать трогательные запахи, поросенок, сыры, за ними нырнул судак, колбасы показали последний раз сухие свои бока и нежные внутренности... Доктор напряженно смотрел внутрь могилы. Опять как не вспомнишь классиков! Сколь метко, на тысячелетия, определяли они: "Он не находил слов" – здесь и мимика, и бесцельные движения языка, и соответствующих клапанов в горле! Однакс, если вдумаешься, то классики

– классиками, меткость меткостью, а современный человек плохо подходит под классические определения. Это на первый взгляд хорошо сказать о докторе, что он "не находил слов", но разве кто поверит вам: доктор чего-чего, а слова всегда найдет, в его способности расцветать словесно по любому поводу видится что-то наследственное, безжалостное, эпическое. Кстати – об эпическом. Один профессор имел дурную привычку путать эпическое с эпилептическим. И так как любое свое мнение он считал непогрешимым, то оговорившись несколько раз, он ожесточился и вызвался подвести теорию под свою путаницу. Он письменно доказал, что от эпики шаг к эпилептике. Его теория имела успех, вероятно, потому, что читателю приятно испытывать жалость к поэту, стать в отношении к нему милостивцем. Назидательный случай! Упрямство, достойное сожаления, благодаря чистой случайности, перешло в эпику. Теория его считается теперь более точной, чем диаметр земли.

Трошин, тем временем, склонился над погребом, где уже лязгали зубы сундука, на дно которого укладывался экипаж яств.

– Разрешите сказать последнее слово!

Но лучше б ему не испрашивать "последнего", ибо доктор считал всегда кровной обидой всякое "последнее", которое произносил не он. Я полагаю, что умирая, он словчится все-таки сам произнести "последнее" над своей могилой. Бесспорно, "последнее" имеет свои достоинства, оно, некоторым образом, соединяет в целое две части, до этого воспаленно мотающиеся где-то отдаленно, покрывает эпидермой взрыхленный грунт, – так, – но зачем ему отталкивать Трошина, поднимать ладонь к уху, словно он желал указать, что неподалеку его лоб оседлан нравоучительными синяками, зачем. . . впрочем, Трошин, оказалось, быстрее доктора умел двигать языком:

– Мне думается, что в последнем слове я скажу о последнем виде, ожесточенном виде, который вызывает скрывшаяся пища. Подумаем, граждане, о том поступке, совершенном только что нами. Помимо его нравственного смысла, он имеет еще и бытовой, а именно: куда ж нам девать теперь эти продукты? Я их не могу продать, они приобретены нами вскладчину. Я и не могу их съесть. Плесневеть им, пропадать? Тем самым наше решение перейдет в антигосударственный поступок, вместо чистой пользы. Я бы предложил вам – вас тридцать, а еды, пожалуй, хватит и пятидесяти, выкатить эту еду для тех пятидесяти персон, которые редко, не чаще одного раза в год, принимают мясную пищу. Таких мало в Москве, но если поискать, – а честолюбивый доктор примет к тому меры, – то и най-

дутся. Мы бы тринадцать стояли у дверей и умилялись. И хорошо бы подать блюдо, которое того требует, конечно, горячим. Но разве согреешь на нашей плите, разве можно благодаря этой дурацкой плите быть до конца человеколюбивым? Вы возразите – рядом русская печь. Русская печь!..

– Русская печь! – озлобленно бледнея, подхватил доктор. – Мы еще возвратимся к вопросу о русской печи, а пока, разрешите вас спросить, Трошин, откуда при социализме, если они не вегетарианцы, появятся люди, употребляющие однажды в год мясо? Они бездельники, алкоголики, и общество не должно беспокоиться о них, и я не филантроп. А исключая этих бездельников, я утверждаю, что в Москве не найдется пятидесяти человек для такого обеда. Срок вам – сутки. Печь? – Он подбежал к печи, достал заслонку и, поднимая ее к уху, продолжал: – Вернемся к вопросу о знаменитой русской печи. Вот она перед вами! Печь. Из нее же вылилась и русская баня, не менее знаменитая. Почему баня из печи? И позже печи? А хотя бы потому, что мужики, не имеющие бани, парятся в печи, в то время как владеющие баней не вздумают в банной печке изжарить даже яичницу. Сколько пролито слащавых слез об этой печи! Сколько художников зашибло монету, изображая, как с нее глядит на мир, свесив ноги, лапотный, непременно почтенный старец? Однако статистика знает, сколько она развела паразитов, породила трахомных и сифилитиков. А вспомните гигантские глиняные корчаги, которые подавали бабы ухватами; колченогих младенцев, родившихся как результат подобного гнусного труда! А вонь? А сырость? А пожары? Нет. Русская печь, так же как и баня, – отвратительна! Это создание ужасного народа, на котором лежит вершковая грязь, которую только и можно отмыть, согнав с себя неистребимую вошь, в жутком паре бани. Только при дико раскаленных кирпичах удастся вам прогреть свое тело, измученное морозами, с костями, исковерканными ревматизмом, и просушить те нищенские лохмотья, те овчины, которые день-деньской мочит буран или дождь, выбирайте, неустанно висящий над деревней, так что жизнь представляется вам как бы сквозь неизменную сетку влаги. Блистательный конец вы придумали, Трошин, этому кирпичному зверю. Пусть он разгорится в последний раз, чтобы при пламени его увидеть, как не найдется в Москве пятидесяти человек, которые только однажды в год едят мясо. Сутки вам даю, Трошин! Пятьдесят человек! Но чтоб они исчерпывающе доказали, что они не бездельники и не пьяницы. Тащите дров!

Поступок его, наступивший сразу после слова о печи, был на-

столько же стремителен, насколько неожидан. Доктор откинул заслонку и прыгнул в цело. Меня оттеснили, поэтому я успел лишь схватить доктора за каблук, который он свирепо выдернул. Не говоря о необходимости осмотра печи, трудно требовать успешности этого осмотра. Цело печи указывало на полную ее ветхость, а если доктор заденет верх, то это лучший способ не произнести над собою "последнего", так как трещины и вогнутая спина ясно указывали те причины, по которым, помимо ее технической отсталости, печью прекратили пользоваться. Поднялся шум. Кто-то предлагал пари: два червонца, что доктор не вернется. Косорожая личность осведомилась – есть ли у доктора дети и нельзя ли успеть позвать их для прощания с отцом. Доктор, чихая и сморкаясь, крикнул из нутра, что передвигаться ему трудно и обследование затянется. Нашли две лопаты и круглые березовые поленья. Доктор лег на лопаты, ничком, – и его покатили. Деяния доктора указывали на явную его малограмотность в печном деле: если уж обследовать, то лучше в первую очередь дымоход. Само собой ясно, что как только выяснилась относительная безопасность печи, "трошинцы" предались веселью и шуткам, помогла тому и тяжесть шестидесяти докторских кило – лопаты треснули, с поленьев слезла кора. Кто-то перочинным ножом щепал лопаты – пора, мол, растапливать печь, а за пятидесятью дело не станет – только выйди в переулок и воззови! Глухо доносился из печи голос доктора:

– Слушайте, а если он не повернется в печи? То есть, как так не повернется? Да она больше вагона! А что же преграждает ему дорогу? Из чего ты это вывел? Голос глухой. Глухой, может, и с похмелья. Не повернется, так мы его ухватом. Где ухват? Вот ухват. Трошин, бери ухват! Э, да ему и чугунок не поставить, не то что доктора. Мне не поставить? Ставлю одновременно чугун и сковороду. На одном ухвате. Тащи! Чего тащи? Тащи сюда чугун и сковороду!..

Намеренно ли, случайно ли, но Трошин плохо орудовал ухватом. Чугунок, до половины наполненный водой, опрокинулся. Доктор, по-видимому, тогда же прекратил свои исследования: ухват выскочил из рук Трошина, исчез в печи с тем, чтобы тотчас же возвратиться и проникнуть в живот Трошина. Тот ответил поленом. Доктор не сдавался: осколок кирпича угодил в бороду почтенного моего соседа, почтенность которого, признаться, я только что разглядел. Плодороднейший по брани человек! С наслаждением любовался я, как он кулаками, полными опытностью, ринулся в печь и как оттуда сверкнул сапог, значительно освеживший асфальтовый цвет ли-

ца почтенного моего соседа. Я думаю, что доктор давно решил – пора приступить и к словесному истолкованию итогов печной разведки, но встречные кирпичи, палки и поленья мешали ему. Течение битвы не излилось, а еще более поднималось выше, я смог уловить это по тому успешному удару, который неожиданно получил я и который едва не свернул мне шеи, не улови я возможности улечься на пол. Неудача эта помешала мне изобразить вам подробно нужную последовательность событий, добавлю, что почтеннейший мой сосед с рыжей бородой догадался зажечь бересту и щепки с тем, чтобы выкуриванием уловить доктора, а уловив – подавляющим большинством избить. Береста вспыхнула, щепки подхватили пламя – дым порхнул в печь. Но – задушить доктора, дерзать на него. . . Эти трошинские слизни плохо знали зону своих возможностей! Самая мясистая часть доктора, мокрая – чугунок, как выяснилось впоследствии, целиком опрокинулся на нее, – величаво показалась среди дыма и – уселась в пламя. Ногами же – объявляю еще раз об этой удивительной ловкости докторских ног, – он веером швырнул во все стороны остатки пламени и углей, поленом огрел по плечам Трошина – он получил, что можно получить при данном состоянии, – и сдался. – "Покорнейше благодарю за помощь!" Он готов был рассыпаться в похвалах – себе и прочим, – но, во-первых, кухня обезлюдела, а, во-вторых, кишечник его начал опоражниваться тем способом, который преимущественно свойственен крепкому похмелью. Параллельно центральному синяку у него появились еще два, выпуклость носа расширилась, извергая сажу и золу. Я поднес к носу его платок, и последний воспользовался с успехом редким случаем превратиться в кусок черного драпа.

Я взвалил доктора на плечи.

Коридор пустовал.

Изливая из себя излишки, доктор с удивительной покорностью растянулся на матраце.

XXVII

Читатель вправе, – если он судит поверхностно, – сетовать на повышенную медлительность моих воспоминаний. . . Действительно, пролетело столько страниц, а толкование событий о короне

американского императора не подвинулось ни на шаг! Точно. Я и сам негодую: и зачем я приплел сюда детективную историю американской короны? Как будто нельзя ее вышелушить без всякого изъяна, как будто спокойное, последовательное течение мемуаров потеряло у нас ценность; как будто жалкая погоня за призрачным золотом — выкинь я его! — заметно уменьшит мужество моих читающих друзей; как будто современный роман основан на лжи, выдумке, на приобретении читателей хитростью, на умении изнемогать его над загадками. Нет! Полномочный современный роман должен усовещивать, убеждать, — не хватая через край, — о всей сложности наших внутренних переживаний, направленных к просвещению и к выручке друг друга; о том, что нас подкарауливают упраздненные должности, достигают простуды прошлого, а карусель жизни не бессодержательна! Но что поделаешь, если ясность и правда мышления, воспринятые несомненно мною от доктора, не позволяют мне вычеркивать события, как бы архидетективно они ни звучали и как бы они ни мотали, — меня-то — туда-сюда, — а читателя путали. И я полагаю, что общее наше стремление к истине позволит мне выторговать у читателя необходимую мне медлительность для полного объяснения и разузнавания фактов, которые мне пришлось наблюдать. Добавлю, что истину мне приходится доставать с бою — и буквально, как вы поняли из предыдущего рассказа, и фигурально, ибо дальше первых десяти глав терпеть корону американского императора можно только или притворяясь, или разрешая себе быть полным и признательным, вдобавок к своей пошлости дураком. Какую истину? — спросит обнаглевший и распоясавшийся от лести читатель. Истина, дорогой мой, отвечу я, воспользовавшись случаем понравоучительствовать, истина — хрома, часто устает и отстает, поэтому нет ничего удивительного, что она добредет до тебя только к концу моих воспоминаний. Терпите истину, дорогой мой, ее плод сладок, хотя — качаясь на ее косых плечах, вы, иногда, испытаете нечто вроде того, что испытал доктор, когда он — в прошлой главе — покинул русскую печь.

Чуть лишь доктор зашевелился утром в постели, я поспешил покинуть нашу каморку, предпочитая иметь выводы, чем наблюдать борьбу различных толкований. Достигнув Пречистенской площади, я свернул влево от светло-голубого забора вокруг храма Христа Спасителя, по Гоголевскому бульвару. Стоит ли напоминать о киновари выпуклых московских бульваров поздним летом. Превосходно памятна густая пленка пыли, через которую, как во сне, вы пытае-

тесь узнать сорт дерева, и, если вы не ботаник и ваше воспитание не благоприятствует вам, – то долго, словно призраки возбуждая сознание, идут за вами деревья. А явление дорожек, утоптанных любовниками и детьми до крепости гранита? А заерзанные скамейки, пахнущие баней, дающие возможность проявиться воочию тем позам, которые были б иначе воображаемыми, не услади эти скамейки влюбленные своим присутствием. А мамаши, а дети? Каждый бульвар добился своего сорта мамаш: тощий Гоголь видит перед собою полненьких, а Цветной Достоевский – худеньких. Я настоятельно рекомендую вам осмотреть бульвары именно для того, чтоб проверить, не ошибка ли здесь написанное, ибо вы освежитесь исправлением ошибки, которая никак не отразится на лишнем выходе книги из печати!

XXVIII

От составителя: Предыдущая глава составлена с великим трудом. В записках своих Егор Егорыч явно многое замалчивает, – да что в записках, мало ли кто замалчивает темные дела свои! – но и в разговоре с нами Егор Егорыч был скрытен и суров касательно переживаний, которые он испытал в главе XVI-й, отделываясь преимущественно лирико-эпическими возгласами и прибаутками, в частности он рассказал:

"Индийскому полководцу понадобились деньги. Он призвал факиров и дервишей, которых расплодилось в стране невероятное количество, и заявил им: "Я прошу вашей помощи, святые отцы!" Святые отцы отвечали: "Невозможно, и без того босы и ходим в рваном". – "Правильно, – воскликнул полководец, – одеть их, снять с них рвань!" – Отцы возмутились: они, видите ли, привыкли ходить в рваном. Солдаты тоже негодовали: тратить одежду на монахов, когда они, солдаты, нуждаются. Назревал раскол. Полководец все-таки раздел святых – и приказал бросить их одежды в огонь. Одежды сгорели. Поскольку святые отцы имели привычку зашивать в свою рвань золото, постольку и нашли в потухшем костре многие тонны такового".

Рассказ любопытный и даже, с какой-то стороны, поучительный, но, по моему мнению, Егор Егорыч путал нас сознательно. Про-

сто-напросто ему было стыдно признаться, что в результате беседы на Гоголевском бульваре между Черпановым и Мазурским, – беседы, куда неумело влез со своими предположениями относительно братьев Лебедевых и сам Егор Егорыч, беседы, где, возможно, Черпанов желал узнать причину возрастающей холодности Сусанны, причину, которой страшился дико Мазурский, сей прыщавый и отвратительный юноша с пропитыми и гнилыми глазами, причину, которую он не знал и боялся узнать, – но подозревал здесь работу Савелия Львовича, шмыгающего старичка, вежливенького и скучненького, но мерзости необъятной, причину, по которой Людмила Львовна завидовала своей белокурой сестре, для которой (по мнению Мазурского) Савелий Львович открыл какие-то гигантские возможности, – словом, в результате беседы Мазурский покинул свои чистильные принадлежности, сказав Черпанову, что пройдется "до ветра", и скрылся, – опять-таки это только догадки, – на Урал, предупредить братьев Лебедевых. А о чем предупредить и почему надобно предупреждать – нам неизвестно пока. Неизвестно также, узнавал ли Егор Егорыч о заграничном "американском" костюме: у кого он находится и имеется ли он вообще, ибо с этой целью, по-видимому, Черпанов оставил его наедине с Мазурским. Подозреваем, что Мазурский сказал ему истину, а именно, что никакого заграничного костюма нет и не было, что по рукам ходит зеленая суконная поддевка, которую по приезде своем Черпанов "загнал" Жаворонкову. Нам кажется подозрение это очень основательным, уж как-то слишком финтит Егор Егорыч, как-то слишком увертывается, когда разговор начинается о костюме "американском". Вы скажете, почему же он сразу не сказал об этом Черпанову? Унизить идеал свой боялся! Предполагал, как многие предполагают, – утрясется, мол, или – забудет, отвлечется на иные мысли, что, наконец, Черпанову костюм? Кроме того, напомним вам, что все время Егор Егорыч мечтает быть секретарем "большого человека", а таковым он мнит Леона Черпанова, вспомните его отношение к конверту за 9-ю печатями, к возможности заработать 34 500 рублей. . .

Короче говоря, глава XVI-ая у нас не вышла, в чем и приносим мы вам крайние наши извинения. А впрочем, какую ценность имеет одна неудачная глава, лишь удачно напиши предисловие.

XIXX

Продолжаем беседу

Доктор лежал изнуренный, исхудавший, вяло вздыхал, с расползшимся по голове компрессом. У матраца играл с прутиком крошечный котенок. Доктор взял котенка за лапку.

– Слабительного приняли б вы, что ли, вместо дрессировки.

– Я не дрессировщик, Егор Егорыч. Я сопоставляю две лапки. Проснувшись, я подумал, что случается, иногда, и несъеденный ужин обладает похмельем. Чьи-то шаги послышались возле дверей. Я подполз к щели. И ножки! А, что вы понимаете в ножках, Егор Егорыч?

– Если в телячьих. . .

– И не стыдно?

– Еще и стыдите! Зачем вам прививали культуру, чтоб подсматривать в дверную щель.

– Как раз мне и привили ту область культуры, которая граничит с дверной щелью. Я говорю о любознательности, Егор Егорыч. А ножки! Понятен ли вам, Егор Егорыч, угол вылета хорошенькой ножки в современности? Укромным взором вы накрываете этот вылет. Но к нему надо относиться закаленно, иначе тривиальнейшие мысли завладеют вашей головой. Вы спуститесь до таких гнусностей, что длину юбки, обнажение ножки подведете под нисходящие и восходящие токи революции. Пошлость, внушающая отвращение! И вы вправе негодовать на меня, если в такую щель я буду подсматривать, Егор Егорыч. Но выбрать одну приличную, совершеннейшей формы, ножку – достойно и большого вкуса, отшлифованного, взращенного на дрожжах искусства, и достойно свободного ума. Лицо, скажете вы? Ай, Егор Егорыч! В лице любой дурак разберется, а отделить, не говоря о том недоброжелательстве филистеров к ножке, безвкусица которого уже скоро превратится в поговорку (в свободное время мы ее придумаем, Егор Егорыч), отмежевать, но не уступая совсем, влияние ножки на ваше сознание от идолопоклонничества – работа по плечу опытному умственному анатому; я бы даже утверждал, что подобная работа, как некоторый сорт плодов, полностью дозревающих в лежке. . .

– То-то я не слышал раньше от вас, Матвей Иванович, подобных ценных отвлеченностей.

– Меня всегда удивляют еще больше, Егор Егорыч, мужья, кото-

рые зачастую ревниво стерегут добро, уже давно не принадлежащее им. Однако, не будем сворачивать, я и без того замучен телесными невзгодами. Итак, я ее встретил впервые на Петровке. Она довольно редко показывается. Надо думать, что я доберусь когда-нибудь до глубин причины этого редкого показывания. Не отпираюсь: я буду говорить банальности, Егор Егорыч, но говорю я их только для того, чтоб вы не думали обо мне как об исключительном индивидууме. Докладывал ли я вам, что Петровка – улица, где вы встретите самых красивых женщин Москвы? Не тех раскрашенных дур, которые в центре величайшего революционного города подражают подлейшей, скучнейшей провинциальной лавочке, именуемой Парижем, лавочке, давно лишенной творчества, лихо обворовывающей искусства мира, от китайского до византийского, – причем, дуры эти подражают так же, как готтентотские царьки носят фраки, то есть, на голое тело, – нет, я указываю вам, Егор Егорыч, простых скромных женщин, для которых не показать свою красоту хотя бы один раз в декаду на Петровке столь же трудно, как если, изменив гласный звук в коренном слоге, не сломать смысла этого слова, а через это, иногда, и целого понятия. Чем вызвано появление их? Женщин, Егор Егорыч, а не слогов. Попробуйте вспомнить эту уютную и какую-то теплую улицу, которая чрезвычайно легко вливается в Театральную площадь с ее колоннами, с ее конденсированной четырехактовой фантазией; она кончается Мосторгом, начинаясь Ортопедическим институтом, Мосторгом, этим младенцем торговли, яростно натягивающим громаднейшие штаны. Облизываешься, когда думаешь о Петровке! Соскоблит уныние свежее личико с приятным носиком, мелькнут губки, которые через любую краску все-таки напомнят вам свои очертания. А ножки! О, как трудно, Егор Егорыч, выбрать на Петровке ножки, с которых вы уже не сможете никогда делать скидки. Прах вас дери, Егор Егорыч, улыбнитесь! И секретарь большого человека, – с глазу на глаз, – имеет право побеседовать о хорошеньких ножках. Нет? У вас превратные понятия о секретарях. Впрочем, что нам секретари! Завалите вы сучьями, суньте затем в стог сена, залейте глиной, залепите асфальтом и посадите сверху еще секретаря, все равно, очертания хорошенькой ножки будут видны довольно явственно и оцарапают ваше сердце. В институте радия есть экранированная комната, в которой хранится весь запас радия всего Союза. Запас этот, несколько грамм, лежит за свинцовыми стенами в здании, которое не имеет окон, за толстыми свинцовыми дверьми, и все-таки когда темной ночью вы войдете в сад института, вы разглядите сквозь свин-

цовые стены и двери мерцающую легким светом туманность. Это радий. Так и женская ножка. . . А, не обобщайте образа, Егор Егорыч.

— О темной ночи, в которую виден радий? Пока вы говорите о женщинах нашего класса, Матвей Иванович, ваш образ я понимаю, но вблизи женщин, чуждых нам, он, волей-неволей, приобретает сомнительную окраску.

— И когда я взглянул в щель! . .

Доктор приподнялся, сдернул компресс. Синяки занимали все его лицо, нос распух, звук его голоса носил явно измененный, охрипший характер. И все-таки его нельзя отвлечь в сторону: все-таки он улыбался, и сквозь отложения ударов размеренно клокотала его радость.

— Зачем же она приходила к вам?

— А я знаю?

— Опять вы струсили?

— Как бы не так. Я расширил щель и позвал ее сюда. Предварительно я погладил ей ножку.

— Вы? Вы осмелились?

— Я? А почему мне не осмелиться? Погладив ножку, я пощекотал ее за ухом, и она вошла, поджав хвост.

— Сусанна?

— Нет, кошка. Вернее, котенок. Да, Егор Егорыч. Так же, как и вы, я принял его вначале за Сусанну. Сусанны нет — и не будет.

— И не будет?

— И не будет, Егор Егорыч. Трошина я доконал и доконаю сегодня окончательно: пусть-ка он найдет мне — к вечеру — пятьдесят голодающих. Трошин оторван.

— Приятно.

— Отрицаю! Лучше б его оставить. Едва мы его отозвали, как возник свежий противник, расчетливый, плоский и отточенный.

— ?

— Да, да! . .

— ??? — Я изобразил знак этот пальцем в воздухе, и доктор левой рукой поймал его и, разглядывая, перебрасывая с ладони на ладонь, смеясь, проговорил:

— Похож, похож! Вы умеете округлять догадки, Егор Егорыч. Он, Насель. . .

— Насель? Абрам Вавилыч? Букинист, обремененный родствен-

никами. Орудие без передка. Поскребите у себя в голове, Матвей Иваныч, найдите кое-кого менее унижающего вас.

– Насель? Лисица страшнее медведя, Егор Егорыч. У медведя сила наружу, а кто может угадать все лисьи хитрости? Я ошибался, накидываясь на Жаворонкова и Трошина, но не того надо называть глупым, кто делает глупое, а того, кто не сможет об этом смолчать. Догадываются ли они, почему я на них напал? Нет.

Как мне ни жалко было его, но я с силой потряс его за плечи, дернул за руку, так что он весь скорчился от боли и отполз по матрацу к стене. После такой подготовки я придвинулся к нему и начал его чистить.

– Матвей Иваныч! Вы не в состоянии дотащиться до коридора, – ощупайте свое тело. Вам не встать, – попробуйте выпрямиться. Перед вами встанет с кулаками пятьдесят родственников Населя, а вы умный. . .

– Быть чересчур умным на войне тоже опасно, надо побольше храбрости, Егор Егорыч.

– Гнушаться вам их, а не проявлять храбрость, Матвей Иваныч!

Доктор посмотрел на меня в изумлении:

– Да вы совершенно обезумели, Егор Егорыч. Если вы еще не секретарь, то боюсь, что вам придется вернуться в больницу отнюдь не служащим. Я повторяю вам, что два предыдущих, ложных соперника были мною, я подчеркиваю, мною, вынуждены к физической борьбе, так как при их конституции диалектический метод непременно должен подчеркиваться физическим. А здесь предстоит нам, тем самым я вас приглашаю с собой, чисто словесный турнир. Я мог бы состязаться с Населем, лежа в могиле. Он букинист, Егор Егорыч, он погружен в книги, и вот оттуда мы извлечем такие аргументы, при которых даже я могу отказаться от последнего слова! . .

Я встал, хотел, было, плюнуть, но, стукнувшись затылком о потолок, поневоле обратил взор вниз. У ног моих лежал истерзанный, избитый, весь в саже, в пыли, с ввалившимися глазами – доктор. Тот доктор, который проходил по больнице в белоснежном халате, властно раздавая на ходу приказания; всесильный врачеватель, – он лежал передо мной, словно мусор, словно гнилая щепа, в которой недоставало еще червей. . .

Кто на моем месте остался б минуту в этой комнате? Никто, хотя бы потому, что книга моя тогда б оказалась ненаписанной.

XXX

— События обозримы кануном отправки, — торопливо хлебая губами воздух, сказал мне Черпанов: — Канун отправки! — повторил он с несвойственной ему торжественностью. — Хотите помыться? Я уступаю ванную. Дорога длинна, Егор Егорыч, а вам придется везти эшелон в 2 386 человек.

— Две тысячи триста восемьдесят шесть человек! — повторил я в крайнем изумлении.

— Пустите краны! Доски долой.

Он затащил меня к себе. Я помог ему разжечь колонку и теперь, когда теплая вода наполняла ванну, а он уже гулял без верхних штанов, он еще не успел высказаться.

— Мойтесь. Я вымоюсь попозже. Две тысячи триста восемьдесят шесть.

Он втащил меня за рукав обратно и положил одну доску на ванну. Мы уселись. Из-под низа шел приятный пар.

— Вымыться? Успею. Раньше я объясню вам, Егор Егорыч, откуда получилось 2 386. Почтенненькая цифра, а? Не считая пролетарского ядра, Егор Егорыч.

— Следовательно. . .

— Следовательно, эту цифру дает нам наш дом. Квалифицированной и неквалифицированной, но грамотной рабсилы через Степаниду Константиновну Мурфину, ее мужа Льва Львовича, детей: Осипа, Валерьяна, Людмилу и Сусанну, знакомых, родственников и всего окружения по самому скромному подсчету — 810 человек. . .

— Откуда?

— Списочек имею. Посетил, невзначай будто, учреждения, в которых они служат. Мгновенно запугались детки — и списочки сами мне забросили. Очень — у них имеются основания — боятся расшнуровки. Общественной. Тереша Трошин соберет 210. Абрам Насель, букинист, 150, но если нажать, то, я думаю, и 300 выжмем. Родственников у него — неисчерпаемо. Ларвин, кооператор, 536 и, наконец, Жаворонков, по предварительным сведениям, — я лично с ним не говорил, — 620. Итого — 2 386. Мазурского я отбросил из-за его туманного мышления, дядя же, Савелий Львович, сами изволили вы наблюдать, личность бесцветная и пустая, его мобилизовать невозможно — возьмем его сторожем, что ли. Итак, если отсеются, как дрянь,

не поддающиеся расплавке и переливке триста восемьдесят шесть личностей, то и тогда у нас останется две тысячи вполне пригодной рабсилы, то есть треть того, что на первых порах для пуска потребуется Шадринскому комбинату. 2 000! Егор Егорыч, соскакивайте с коня, приехали! Хотел бы увидать другого, такого же ловкого уполномоченного. Месяцы некоторый ездит, а приезжает какой-нибудь десяток.

Он, для удобства, постелил ещё доску. Я напомнил ему о ванне. Он пренебрежительно махнул рукой.

– А отводки? Отростки? Едва две тысячи проработают месяц, они поймут – и потянут других. Осаждать будет наш комбинат рабсила, Егор Егорыч.

– Вы хотели, Леон Ионыч, насчет пролетарского ядра. . .

– Умышленно оттягивал, Егор Егорыч. Не комплектование, – здесь кое-что уже предпринято, а объяснение с вами. Сейчас же пришло тому время. Посетил я один авиагигант. Собственно, из-за него я сейчас и в ванну полезу. Посетил я его по таким соображениям. Если помните, то на гвоздильном выдал я бригадиру Жмарину свой адрес. Теперь представьте, хотя это и маловероятно, что Жмарин вздумает посетить нас. Стихи, предположим, написал. Для консультации. Приятно мне? Приятно лишь в том случае, если их разубедит высший авторитет, чем мой. С их точки зрения таковым авторитетом явятся не лица административного персонала, даже не инженеры, а пропоют перед ними свои же братья-рабочие, но с более высиженным уровнем – ”гигантическим”, по выражению Жмарина. Но где мне достать ”гигантических” рабочих? Сами знаете, Егор Егорыч, попасть на крупнейшее предприятие, посмотреть возможно, имея или имя, или знакомство. Того и другого у меня в Москве нет – оставлено на Урале, да если б и было, я, в силу известных вам причин, лишен возможности применить таковые. Оно лучше и не применять, сами понимаете, утащить с ”гиганта” сотню квалифицированной силы – это все равно, что получить тысячу неучей – естественно, за мною усиленно наблюдали б. Мерил я, переставлял возможности – и вспомнил я разговор с одним рабочим в поезде – по дороге в Москву. Рассказывал он об авиационном заводе, где выделывают моторы. Чрезвычайно восхищался он высокой техникой. Требуется, например, точность до сотой доли миллиметра при точке коленчатых валов для моторов, а имеются там такие спецы-рабочие, которые за много лет работы не испортили ни одного коленчатого, а он стоит три тысячи рублей, валюткой-с! Описывал он, как испытуются моторы, – в об-

щем мотору в жизни уделяется больше внимания, чем, скажем, профессору, которого пускают на кафедру. Проговорился он также, что местком и партком помещаются в устьи завода, возле ворот, и без особого разрешения возможно в местком проникнуть. Записал я, на всякий случай, адресишко, дескать, — слесарь, некоторым образом рвач, платите вы прилично, зайду, побеседую. Он и свою фамилию приложил, но я его решил, ввиду его малой общительности и чисто технической беседы, оставить. Завод — на окраине. Тащился я туда, трамваем, часа два. Вижу: каменный двухэтажный дом, рядом — ворота, а там корпуса — корпусищи, предположить невозможно, какого объема. Вход в двухэтажный. Вестибюль. Наверх — лестница, заводоохранник с винтовкой, пропуск в заводоуправление, а налево — коридорчик, обычный, как у всех свежих заводов, из нового тесу, скамеечки. Проносится мимо секретарь парткома, на котором все виснут. Обыкновенная картина. Сажусь я на скамеечку и разматываю лесу. Цель моей удочки заключалась в том, что я прутиком. . .

Он показал мне ивовый прутик. Я повертел его в руках, понюхал и, из почтенья, зубом попробовал.

... прутиком возле своих ног начал проводить черту за чертой. Проводил я так невидимые эти черты часа полтора-два, пока не подсел ко мне нужный объект. А расчет мой был таков: в дистанции толпы, полощащейся вокруг меня, найдется же расторопный и хлопотливый, который заинтересуется: какой ступенью ума вызвано поведение проводящего по полу черты. А заинтересовавшись, опять-таки в силу суетливости и расторопности, пожелает он оснастить жестче свою заинтересованность. Подсел. Из себя смуглый и такого низвергающего беспокойства, что выносить трудно.

— Что ж, производите здесь, — спрашивает, — бесцельные движения? Этак и руки оскудеют. Прободение отверстия в кабинет какого-либо товарища желаете?

— Нет, — отвечаю, — я изобретатель.

— Схему какого-либо мотора?

— Да нет, — говорю, — не схему мотора, а осваиваю новые крылья.

Нужно разъяснить, что моторщики презирают "мебельщиков" — заводы, собирающие самолеты, — и он с понятным мне презрением отзывается:

— Что ж вы не понимаете разницы между моторным и сборным?

— Да нет, — говорю, — (все в целях втянуть его в разговор) — я

полагал, у вас скомбинировано. Утомился. Присел отдохнуть.

Беспокойщики людям всегда сочувствуют:

– Минуточку, – говорит, – обождите. Моя фамилия Некрасов. Миша Некрасов. Я имею способность закатываться. Так если закачусь, вы меня покличьте. Меня здесь каждый укажет.

Но "закатиться" он не закатился, а точно через минуточку появился он под руку с другим, разительной с ним разницы: сосредоточенным, цеженным – перецеженным через науки, отрекаться которому от благ – сплошное удовольствие, его, видите ли, Супчиком прозвали за то, что он от вдумчивости постоянно теряет ложку в супе.

– Вот он, Супчик, – говорит мне Миша Некрасов, – прежде чем в моторы перейти, невероятно углублялся крыльями. Он вас очистит от бюрократической волокиты, товарищ. Смягчи тон, Супчик, для начала запугаешь.

Но Черпанова и запугать трудно, и понял я, что Супчик – опять-таки в силу своей специализации, сущность которой заключалась сейчас в том, чтоб мотор такой-то перевести из лабораторного в серийное, массовое, производство – настолько углубился в свой мотор, что его можно было б увидать у него в зрачках, – Супчик вряд ли способен меня расспрашивать и пришел сюда или из уважения к Мише Некрасову, или рассеять умственное погружение и утомление. Утомление сгибало его плечи, штемпелевало лицо, а умственное погружение подпирало его, не позволяя превратиться в окалину. Но все-таки легкое опасение стригло меня: вдруг задаст он какие-нибудь каверзные вопросы? С другой стороны, ужасно мне хотелось притупить таким антиподом бригадиров Жмарина и Савченко. Поэтому, отменив остановку, кинулся дальше:

– Вот, – говорю, – мы изобретатели вроде двух кулаков с сеном, свидетелем суда над которыми мне пришлось быть.

Где Супчику сбросить свои мысли, хоть и хочется ему отдохнуть? А Миша Некрасов сразу заинтересовался возможностью мотнуться в сторону:

– Любопытно узнать, что это за случай с сеном?

– А случай, отвечаю, действительно любопытный. Жили у нас на Урале, возле Шадринска, два кулака и владели они лугом, пополам, для покосов; лугом, обвитым очень однообразным кругом ветел. Ну-с, начали они в прошлом году косить и накосили они по стогу сена. Один из них, пожаднее, решил спереть у своего соседа стог ночью, а днем следующим перевезти свой. Прекрасно. Ночью, чтоб не узнали, заехал он с противоположной, – считая от его стога,

– стороны луга и упер соседское сено. А утречком, вежливейше и легально, запрягает он лошадь и начинает сгребать свой стог, и вдруг на него – милиция. В чем дело? Сосед его орет: а в том, что ты гребешь мое сено. Что ж оказалось? Ночью-то он заехать – заехал, как и предполагал, с противоположной стороны и сметал стог, но не тот, к которому подъехал, а противоположный, то есть свой же, а утром приехал и вместо своего стал наметывать стог соседа.

– Но все-таки не понимаю, – смеется Миша Некрасов, – какое же отношение ошибка кулака имеет к самолетному изобретательству?

– А такое, говорю, что мы зачастую обворовываем свои знания и то, что кажется нам изобретательством, в сущности, есть воплощение читанного. Вот я сижу и грущу, и не хочется мне идти на другой завод: вдруг я свой стог-то тащу? Хотя кулаком я никогда не был, а все дело в том, что как изобретатель, я жажду оттаивания через ласку и подпорку других.

Миша Некрасов укоротил нейтралитет Супчика:

– Спрыгни с мотора, Супчик! Дай товарищу изобретателю оттаять на время в ласке и внимании.

Супчик встал: мотор всасывал его глубже и глубже до неописуемого расслабления:

– Я сейчас занят, ребята.

Но Мишку Некрасова не так-то легко смотать со шпульки:

– Обожди. Отдохни, выпрягись.

– Я отдохнул, Миша. Мне пора, ждут.

– Вот ведь какой особенный. Не сейчас же его обрызгивать консультационной водой, а на дому.

– Я и дома занят.

– Обожди. Горло споласкивать надо человеку? Надо. Вот и закатим подворье... вскладчину.

Я ради этих слов и разводил всю волынку. Я тут и впился. Я такое унижение развел, что даже Супчик и тот вылез из своего мотора, – не потому, что он обожал раболепие, а увидел человека с подрезанными возможностями, также, как и он, отточенного на науке, нечто схожее с любопытством скатилось с него, он повел губами, – как зенитное орудие нащупывает самолет, – отыскивая причину отступить на вечер от закона мотора, сказал:

– Ну, позови. А если я засну?

– Ты-то, Супчик? Да мы компанию доскональную подберем. Любишь компанию, дядя? – спросил он меня.

– Люблю.

– И люби.

Супчик скрылся. Миша Некрасов, обрадовавшись случаю похлопотать, тут же вспомнил, что кстати подошел день его рождения, у какого-то приятеля его выигрыш в займе, – вообще предлогов оказалось много. Я понял – комнату набьют донельзя.

– А какой срок? – спросил он.

– Все-таки важно поскорее. Зачем травить скотом луг.

– Устроим послезавтра, – сказал он, смеясь. – Пригласить долго ли: по телефону, а некоторые и рядом, у станка. Ты мне, дядя, нравишься. Крылья? Нет, не крылатый ты, предотвращай беду, переходи в моторы. Мотор – мозг, сущность воздухоплавания. Крылья? Крылья, при козырном моторе, замени двумя раздвижными кроватями и, даю слово, полетишь. Но ты, дядя, прав, зачем себя снуздывать, обносить оградой, – интересоваться в жизни надо всем. Для меня: муха летит, а я думаю – почему она в таком летном сане?

Вскладчину – так вскладчину. Я всучил ему, хоть он и отказывался, двадцать рублей – по десятке с рыла – и покинул местком и партком. Ядро взвешено, надо уметь от него отвесить!

XXXI

– По десятке! – тревожно повторил я его слова, двигая ступней по направлению к двери. – Любопытно узнать, за кого же вы, Леон Ионыч, внесли вторую десятку?

– Пора ли ему действовать? – спросил Леон Ионыч. – Давно пора. Боюсь, что в качестве секретаря он слишком смотрит по сторонам. В деле набора ядра необходимо ему себя проявить! Я уже постоптал каблуки, Егор Егорыч, а вы удаляетесь от дел!

К тому времени, как мы добрались до причин сцепления двух червонцев, густой пар заполнил комнату. Черпанов провел по месту бывших усов, тем же пальцем смерил температуру воды, затем поспешно скинул доски. Он явно тревожился, приготовляясь к приему "ядра". Мне это нравилось. Его деловое, сухое и несколько старообразное постоянство можно было рассматривать теперь в общем и отвлеченном значении. Расстегивая синюю блузу, он указал портфелем на мою ступню, по-прежнему пробирающуюся к двери:

– Постойте. Упорно утверждаю: у нас готово две тысячи восемьсот тридцать шесть. Имелись сомнения насчет Жаворонкова, но он, бдя барыш, сам вьясь вокруг, отворачиваясь, отклоняясь, подарил мне дров для ванны. Внутреннее беспокойство, Егор Егорыч, фактически есть копия человека. А в копию ключ вставлять даже удобнее, чем в подлинность!

От твердости Черпанова меня тянуло к доктору. Хотелось утешить его опрометчивость, да и наконец, объясниться пора нам. Боюсь, что стремления его казались мне ветреными. В коридоре меня остановила Сусанна. Пока я беседовал с ней, возле гигантского гардероба, – коридорный сумрак делал его похожим на падающий аэроплан, а огромное тусклое трюмо чем-то напоминало озеро, семь колонн – деревья, – несколько раз высовывался до пояса голый Черпанов, неизменно напоминая о "вскладчине". Сусанна пренебрежительно – если б я умел выражаться возвышенной манерой доктора, я б сказал, что "как подобает красивому и умному двадцатилетнему телу", но насчет ее ума у меня были кое-какие сомнения, красота же. . . товарищи, кто не был красив в двадцать лет, а в двадцать два особенно, – пренебрежительно, повторяю, начала с того слова, которое тогда (незадолго до ведра, заполненного головой доктора) втемяшивала сестре:

– Провинциал!

И она взглянула на носки своих туфель.

– Провинциал ли, спрашиваю вас, Егор Егорыч, весь ваш Черпанов? По-моему, полный до краев провинциал. Он строг, плечи и грудь смотрят свысока, есть у него даже почтенность, но вгляделись вы в его глаза, Егор Егорыч? Он ахает глазами! Редкий случай, не только в провинции, но и в Москве. Ниже подобного провинциализма опуститься нельзя. Доктор? – накинулась она при моей попытке пустить в дело Матвея Ивановича. – Какой же доктор провинциал?

И со злостью, для меня совершенно непонятной, она постучала кулачком в стенку гардероба:

– Сколь ни встречала провинциальных ухогорлоносов, ни один из них не разглядывал с таким упорством ноги. А провинциальный доктор смотрит в лицо. Балбес ваш доктор! Обезьянья морда, волосы, как у пинчера, а говорит, словно адресное бюро.

Я бросил самый простой, обиходный взгляд вниз. Сусанна почувствовала себя пострадавшей.

– Африканцы, – лениво протянула она.

Я обиделся: меня-то упрекать в африканстве?

— И Африке знакомо сложение, Сусанна Львовна. Не в смысле сложения как такового, а в смысле арифметическом. Африканская культура отличается от европейской меньшей заботой об одежде, но разве это усложняет жизнь и как-нибудь отражается на агрономии? Кстати, последнее время я много размышлял об одежде. Тут, в известном смысле, Африка даже имеет преимущества. Возьмем примитивный случай:

Я выбалтывал все, что мне приходило в голову. Попросту говоря, мне хотелось отвязаться от Сусанны. Я полагал, она остановила меня, желая пройти вместе к доктору, а я совсем не хотел быть свидетелем их разговоров. Упреки Черпанова заставили меня более деловито относиться к моему заезду в дом № 42. Меньше всего, следовательно, я ожидал того результата, который получился из моей болтовни.

— Ну, штаны там, юбка — обязательные составы одежды, и против них зачем спорить, а сколько людям, я говорю не только о женщинах, но и о мужчинах также — в силу современного стремления человечества носить короткие штаны, которые делают нас столь похожими на петухов, что хочется последовать Суворову — сколько людям, повторяю, приходится заботиться о чулках! Штопание чулок несомненно язва человечества, а что чулки, когда женщинам, кроме того, надо подбирать к цвету чулок, тела и прочего, например — подвязки! Пустяковая, кажись, проблема, а издревле. . .

— Издревле вы балбес, Егор Егорыч, — сказала она небрежно, словно из рогожи ткя фразу. — Если вам все понятно, то я могу добавить ради того, чтоб вы, если уж судачить, — судачьте основательнее.

Очень любопытно сопоставить злость двух сестер. Людмила вспыхнет, задрожит, руки в боки — возможно, получишь от нее по гребню, но все-таки как-то сам теплеешь от этой всеобщей, гулкой, как рог, мощи, а здесь, если озлиться Сусанне, каждый поймет, что дело засургучено твердо, и еще более осуровеет, ожесткнет весь нутром, от холода не приведет этот случай к известному сходству. Токмо редкий случай обмолвки, — будь бы я на месте доктора, я б отнес это к своим диалектическим способностям, — касательно подвязок позволил мне не глазеть попусту, а понять сразу причину засургученности Сусанны. Она — или обиделась на сестру, или устала, — но небрежность, с которой она сорвала печати, постукивая кулачком по гардеробу, стоит крупного удивления. Ленивым белокурым голосом она поведала мне следующую повесть. Сестра ее Людмила

Львовна когда-то на фронте захватила пару поразительных подвязок, зеленых, из материала, никому не известного, принадлежавших некогда – как будто – некой герцогине. Уже одна их неистребимая эластичность делала человека тщеславным, и громадное количество поражений Людмилы, несомненно, вызваны были этой тщеславностью. Благодаря подвязкам, ее доступность стала известной шире, чем подвязки. Однажды, в постоялом, спешившийся на полчаса всадник объяснялся с Людмилой, и она уже замутненно думала, что это самое сладостное из всех поражений и страницы ее будущей книги украсятся лучшим описанием двух пар сплетенных рогов, характерных не мощью сплетения, а, пожалуй, необычайностью места, откуда они произросли (размышление, указывающее все-таки на ее холодность, впрочем, подобное вычурное описание, если нельзя объяснить холодностью, то затуманенностью ее души), – он вдруг схватил с пола ремень пояса – и выбежал. Оказалось, он забыл всыпать коню овса. А еще перед этим он смел толковать о ее свежести и молодости! Когда он вернулся, она уже засупонилась, – и хотя он вместо получаса прожил на постоялом дворе трое суток, она не внесла этого эпизода в свою книгу, потому что не описывала своих побед. В Москве она много размышляла о будущем. Ларвин предложил ей устроить партию овса – и она, решив быть ему верной, подарила удивительные подвязки Сусанне! Эх, Егор Егорыч, если б вы знали, какие это подвязки, какая мягкость и протяженность, какая зелень, напоминающая мураву конца мая, и как горько их потерять . . . да, потерять! Вот уже три месяца, а их нет. Она перерыла весь дом сверху донизу, она перерыла комнаты всех знакомых, – и все напрасно. А этот идиот Мазурский еще сердится. Как же не быть ей застыдчивой, робкой на людях, когда все кругом знают о подвязках герцогини!

Она сдвинула донельзя насурьмленные брови. Она хотела придать своему лицу вид чрезвычайной заботы. Она не хочет быть засудливой – скорой и опрометчивой на приговор – доктор даже ей нравится, но он, правда же, не провинциал! И ноги, действительно, он рассматривает!

– Я бы рада поехать в Африку, но. . . – добавила она. Ее можно было понять – это был тот год, когда, казалось, вместе с храмом Христа Спасителя разрушалась и та часть одежды, которая в обыденном понимании носит название юбки, она чуть ли не до . . . здесь трудно установить границы, ибо скромному читателю любая граница покажется пакостью, а на нескромного разве угодишь, ему какие

границы ни приводи, все мало, да и стоит ли заниматься таким малоблагодарным делом? — я хотел сказать: до 1932 года была короткой.

Либо у нее составилось твердое мнение о докторе Матвее Ивановиче, либо ей тяжело со мной разговаривать, как бы то ни было, я успел ей высказать только первую половину моего соображения, именно, что чем доктор будет жить здесь дольше, тем менее он опровинциалится; во второй половине я хотел изложить кое-что насчет "африканства" доктора, но она — опять с ленивым лицом — засучивая рукава сарафана, отошла от меня. Она, хотя и ни слова не сказала относительно Черпанова, но несомненно он покорял ее своей всеобщностью!

"Вот тебе и удивительный разум, — думал я, — вот тебе и неиспробованный ум". Высушила моментально она во мне все те сырые обширности, которые простер предо мною рекой своего красноречия доктор Матвей Иванович Андрейшин, обширности, которые благодаря чужому блеску я принимал за нечто плодоносное, — как и подобает относиться к заливным лугам. Извините меня за выспренность, но она обусловлена тем, что я подходил к нашей каморке, а трудно быть не выспренним после доктора. Вот, например, чего, казалось, проще рассказать ему о том, что я слышал от Сусанны. А попробуй-ка! Вначале надо избрать такой момент, который не показался бы ему бесцеремонным вторжением в его психику, хотя он сам вторгался в чужую психику, когда угодно и как угодно, — прячась за софизмы. Ну, допустим, вы избрали таковой момент, теперь попробуйте прервать его речь, ибо доктор позволял себя лишь выслушивать, редко соглашаясь слушать других, вернее, откладывая выслушивание оппонентов на следующий день, к каковому дню у него скоплялось столько соображений и цитат, что их никак невозможно было выложить за один день. Так и тут, едва я начал — и не о Сусанне совсем, а издалека, чуть ли не о своих родственниках, доктор поднял правую ладонь к правому уху, — он стоял на коленях, упершись грудью в подоконник и лицом в стекло, — и полилось! Оказалось, что он рассматривал крыши и скамьи стадиона. Как много в наших стадионах от классической древности, — думал он. Вошел, видите, Насель, букинист, человек тоже достаточно древней души. Замечательно то, сказал он Населю, что у кого-то, представьте, возникла мысль: почему цепляются за этот ветхий домишко с колоннами ветхие людишки, живущие рядом со стадионом. Не желают ли они взорвать стадион? Вместе с пятьюдесятью тысячами зрителей?

— Такая мысль принадлежность единственно вашей головы, — сказал я. — Редчайшая у вас голова, Матвей Иванович.

— И очень возможно, — согласился доктор: — как бы то ни было, Насель исчез мгновенно. Он мне мешал думать о Сусанне, а, кроме того, я еще не приготовился к переубеждению его. Сусанна! Она, только она, Егор Егорыч, объединяет этот агрегат людей. Неуклонно верю, что она организовала болезнь ювелиров и сколь ни прискорбно, но на нее полностью воздействует лишь — бандит! Да, да, Егор Егорыч, ее ум разбудят антисоциальные силы. И в этом предстоящем нам состоянии я, хотя и не бандит, но продемонстрирую редкую силу.

С легкими стонами он оторвался от окна и попал к матрацу. Я осведомился о его здоровье.

— Прекрасно, — радостно воскликнул он, упираясь ногами в потолок. — Легкая боль в хребте, не мешающая, но, наоборот, способствующая всевозможным умозаключениям. При обыденном состоянии здоровья трудно размышлять, Егор Егорыч.

Я оставил доктора продолжать размышления. Насель ожидал меня в коридоре. Доктор засыпал в него основательно тревоги. Насель сразу, вцепившись с меня, начал расспрашивать о стадионе, попутно сообщая об одиночестве, которое испытывают они, обитатели дома, — сухонькая его сущность трепетала несказанно. "Доктор умеет засуфлировать", — подумал я. Чем мог, я попытался утешить Населя. Он же, толкая коленом гардероб, продолжал тарахтеть, что единственное объединение его с родственниками — так это гардероб, объясняемое обширностью и ненахождением покупателя к нему. "Три грузовика едва увезут его, если разберешь!" — говорил Насель. Черпанов помешал ему. Он выскочил, застегивая синюю блузу, — и довольно грубо отогнал Населя.

— Из-за ссученных мыслей, которые нетерпеливо ждут применения, я не вымылся, Егор Егорыч. В крайнем случае, пускай остынет вода. Пока Жаворонков подле, используем его. Он страдает от раздеваемого купола Христа Спасителя, — а, какая жалость! Так мы тебе самому купол засусалим.

Он посуетился малость около ванны, нагружая единственную в мире бесчисленность карманов (даже рот его походил чем-то на карман, особенно после того, как исчезли его сконсовые усы), и потащил меня вверх к Жаворонкову знакомой, суетной лестницей.

— И противно идти, а нужно. Шестьсот двадцать экземпляров рабсилы за ним — и костюмчик. Шестьсот двадцать — это создание

нового Жаворонкова, костюмчик же – его прошлое, о прошлом всегда трудно говорить, сколь бы ни были вы всеведущи. Берете, Егор Егорыч, обязанность насчет костюмчика?

– А какую мне ему цену давать?

– По вашему усмотрению, Егор Егорыч. Давайте половину против запроса. К цене поддевочки, которую я ему замыл, прибавлю... Дешево замыл, черт бы его драл!

Я хотел высказать ему свои подозрения касательно единства поддевки и заграничного костюма, но, подумав, что соображения мои, пожалуй, он рассмотрит вроде трусости, кроме того, какой же это торг без всеобъемлющего ощупывания продаваемого, – одним словом, я промолчал. Жаворонков встретил нас без смущения, а даже весело. Он сидел в углу, украшенном антирелигиозными плакатами, важный, как если б почтовый ящик внезапно превратился в запрестольный образ. Резвая его баба с двумя синяками и подбитой губой весь разговор наш сидела молча, посматривая на супруга с диким почтением. Опрятные старушонки вязали чулки.

– Итак, вначале помиримся, – сказал Черпанов, усаживаясь, было, верхом на табурет, но тотчас же вскочив, он передал табурет какой-то старушке, взяв из-под нее венский стул. Он обожал менять сиденья. – Зачем нам ссориться в замечательном государстве, которое одно способно преследовать одни цели. – Черпанов ловко, я не успел и мигнуть, вложил мою руку в лапищу Жаворонкова. – Теперь о деле, а именно касательно шестисот двадцати. Есть у вас знакомых, родственников и друзей шестьсот двадцать?

– Шестьсот – я понимаю, – глухо ответил Жаворонков, – а двадцать-то откуда?

– Государственная разверстка.

– И надолго их, Леон Ионыч?

– Видите ли, Кузьма Георгич, время в данном случае теряет свое назначение. Время мы измеряем тогда, когда мы несчастны или когда приближаемся к несчастью. И зачем нам огорчать их, прерывая счетом времени их счастье. Они перерождаются там, Кузьма Георгич.

– Чего ж, выхолостят их или как? Шурка у меня племянник есть, аккуратно сработанный парнишка, его вот жалко, коли выхолостят, а остальные... – он взглянул на старушек: – бог с ними! Насчет шуркиного выхолащиванья снисхождение, поди, можно хлопотать. Очень он похож на меня, я по молодости-то... – Резвая баба его сверкнула глазами. Он почесал бороду – и замолк.

Черпанов переменил стул. Три старушки сразу предложили ему пять стульев.

— Но почему, Кузьма Георгич, такие крайние мысли?

— От причины.

— В моих словах нет указанной вами причины.

— А доктор зачем приходил? На обследование по случаю выхолащивания! Я припадочный! — вскричал вдруг Жаворонков, вскакивая и топоча ногами. — Я всех избить могу и ни перед кем не отвечу! Ленька, в морду хочешь?

Он приподнял шишковатый свой кулак. Черпанов плюнул на кулак и, откинувшись вместе со стулом, захохотал:

— Ха, ха! Ха, ха! Жаворонков. Этак, милый мой, не восстанавливают храм Христа Спасителя.

Жаворонков разжал кулак и — уже мягкой ладонью двинул по столу, удаляясь от Черпанова.

— Какой... храм восстанавливать?

— Со всех сторон осмотритесь, Кузьма Георгич, и опричь, как говорится, кроме храма Христа Спасителя, что достойно восстановления, какой пьедестал лучше, чем Уральские горы. Только он один. Мы не желаем препятствовать твоим мыслям, лишь бы перерождался. Естественно, что мы вначале его восстановим, не так, чтобы уж сразу храм, а так вроде театра с высоконравственными и целомудренными произведениями.

Жаворонков глубоко вздохнул.

— Скажу по секрету, поездка, хотя и по разверстке, но вполне добровольная. Одному бригадиру, а таковым являешься ты, Жаворонков, объясняется цель.

— Прах их... — нерешительно проговорил Жаворонков, но явно внутренне пылая: — прах их дери, добровольно-то они не все согласятся.

— Тогда берите на себя, Кузьма Георгич, добровольность, а остальным предоставьте разверстку. Шестьсот двадцать человек, конечно, трудно удержать в добром повиновении, если им все добровольно. Ну, дайте им кое-какую добровольность, мочиться там сколько они хотят в день, судачить.

Жаворонков опять сжал кулак, взглянул на резвую свою бабу и старух, опустивших головы:

— Я им посудачу!

— Я рад, Кузьма Георгич, что вы так сразу поняли мои идеи, в вашем миропонимании есть какая-то унаследованность. Постепенно, говорю я всем законтрактованным, давайте молодеть. Это опыт, Кузьма Георгич, имейте в виду, но опыт давних моих стремлений.

Мы восстанавливаем на Урале все, что может переродить человека. Повторяю, мы не задерживаем течение его мыслей и желаний.

Жаворонков положил ручищи свои на плакаты.

– Значит, рвать? – обернувшись к нам мутным своим лицом, спросил он. – Мне все равно одна погибель, сгубит меня иначе Степанида Константиновна, а уж – если будешь восстанавливать, так я такие восстановлю – в пять раз шире и выше. Удостоверенья есть? Есть. Правильно! Ай да комсомол, на какие опыты двинулся. Ай да Урал. Ай да Леон Ионыч! Не зря я публично мороженым торговал, а втайне строительным делом орудовал. Мороженое – это, дескать, намек, что если Жаворонков перед вами, то существует сладость, а строительным материалом!.. Какие я тебе древеса выкину, Леон Ионыч, стареть им столетиями не стареть.

Он протянул черный свой кулак, похожий мощью своей на маузер, к бабе. Баба уже разглядела удостоверенья Черпанова – и розово цвел перед нею всеми любимый Черпанов!

– Видишь, доктор испытывал: не соблазнит ли меня какая чужая девка, не отведет ли от праведного пути? Поняла? Конфет, лимонаду гостям!

Баба загремела чашками.

– Как же насчет шестисот двадцати, Кузьма Георгич?

– Соберем и семьсот.

Черпанов пересел на скамейку.

– Не единовластвуй, Кузьма Георгич, действуй мало-помалу. Сказано, шестьсот двадцать – и точка.

– Будет шестьсот двадцать. Парни религиозные, крепкие, петь и работать умеют. Кирпичики-то с духовными песнями класть будут.

– Ну, это уже лишнее, – сказал Черпанов сухо. – Ты и о перерождении обязан думать, Кузьма Георгич.

– А если я уже переродился?

Он рванул плакаты со стены, перебросил куски их бабе. Она сунула их в печку. Он кинул ей спички. Она зажгла. Оранжевое пламя соединилось с оранжевой краской. Исчезли митры, лихо надетые набекрень; седые бороды святых отцов, кровавые носы, густотелые ангелы, кружки монет, сыплющиеся из рук монахов. Черпанов сухо улыбался – строго и прямо сидя на скамье. Ему-то знаком предел своих полномочий, а я?

Нет-с, не так-то уж легко быть секретарем большого человека!

Хотя Черпанов и сбрил свои сконсовые усы, обнажив всю розовость своего двадцатидвухлетнего лица, все же удивительная сухость

его глаз, его скрипучий, почти старческий голос, его повелительная манера говорить – и даже склонность пересаживаться с места на место, – заставляли многих верить ему, если не в общем, так частностям. Трудно, конечно, поверить было мне, что Урал почему-то решил восстановить у себя храм Христа Спасителя, Черпанов явно чего-то не договаривал, но вот эта-то недоговоренность и пленяла людей. Жена Жаворонкова буквально смотрела ему в рот, Жаворонков скромно и с достоинством трепетал, старушонки млели. Черпанов обратился ко мне:

– Егор Егорыч, вы, никак, чем-то хотели обмолвиться?

Врать мне трудно, но, странное дело, всегда, когда я вру, моя ложь кажется многим чем-то обидным. Начал я издалека, решив воздействовать на жаворонковское раскаяние и перерождение.

– Когда я летел по лестнице от вас, Кузьма Георгич, то порядочно испортил свой костюм. Естественно, я б желал приобрести свежий. Я слышал от старичка, у вас присутствовавшего, что вы имеете таковой. За деньгами я не постою, если заграничный...

Жаворонков, как я и ожидал, обиделся. Он подобрал рыхлый свой рот, внутренно как-то оглянулся, да и все в комнате внутренно оглянулись. Он осторожно сказал:

– Если имеется костюм, гражданин, то сгодится для себя. На Урале вот какая высокая должность предлагается.

– Высокая не по чину, а по возможностям, – сухо вставил свое слово Черпанов. – При такой должности лучше соблюдать скромность: толстовки достаточно, Кузьма Георгич.

Я продолжал:

– Смешно думать, Кузьма Георгич, что ваше перерождение ограничится внутренностью, а не внешностью. Вы получите подобающий костюм, а зачем вам заграничный?

– Чрезмерное стремление, – сказал Черпанов небрежно.

Жаворонков поднял кулак.

– А ну, встаньте!

Черпанов встал.

– Я Егор Егорычу велел встать.

– Да мы приблизительно одного роста.

– Где же одного, когда вы, Леон Ионыч, головой выше.

– Это кажется от моих умственных способностей. Кроме того, если он заграничный, то сядет. Заграничный костюм подходящ для каждого.

Жаворонков еще более очерствел, заосторожничал, замялся:

— А ну, пройдитесь, — сказал он.

Черпанов сделал два-три шага.

— Присядь.

Черпанов присел.

— Да, будет годен.

— А цвет какой? — спросил я, вспомнив о зеленой поддевке.

— Да цвет такой, скромный, вполне для ваших секретарских лет. Еще раз, встаньте. Вполне подходит, верьте мне. И длина, и ширина, и замечательная заграничная материя.

— Ну вот, мы его и купим.

— Отлично, Егор Егорыч.

— Посмотреть бы лично, Кузьма Георгич.

— Отчего не посмотреть, Егор Егорыч.

Он осторожненько вздохнул — и мысленно огляделся. Так же, как и вся комната.

— А сколько же вы даете, граждане, комиссионных?

— Позвольте. Мы же у вас костюм покупаем и вам же комиссионные!

— Кабы у меня, Егор Егорыч, я б его, возможно, даром подарил. Продал я его. Вышло здесь одно испуганное обстоятельство, разгорячился я клеветой доктора, думая также, что Сусанна насчет алиментов запускает, и двинул его смертельно. Милиция, думаю, обыск. Скажут, откуда заграничные вещи? Продал. Задарма продал.

Черпанов подряд пересел со стула на стул — этак стульев шесть.

— Фу ты, какой растяпа! Кому ж вы продали?

— Фамилию назвать пустяковое дело, Леон Ионыч. Только он вам все равно не продаст. Он тоже встревожен. Вот вы меня успокоили своим приглашением, я чувствую себя человеком, мне жаль костюма. Вот ведь до чего доводит несдержанный характер. В божьем заступничестве начал сомневаться, а теперь, похоже, опять вернулся к лону...

— А черт с ним, с лоном! Кому продали? — сдвигая стулья в одну линию, сказал Черпанов. Он шумом стульев как бы повышал свой голос.

— Случайно продал. Пришел он узнать, так как у меня произошел скандал, а он метил устроить вечеринку — с картами. Предлагает мне пятидюймовые плахи, а от меня костюм, так как гость его любит играть на вещи, а не на деньги. А узнать он хотел — как я бил: для милиции или для себя. Опять же костюм биллиард ему напомнил.

Я осторожно, желая выведать хоть бы цвет, спросил:

– Чем же биллиард?

Жаворонков дерзко щелкнул меня пальцем по плечу:

– Гладкая.

Черпанов придвинул к стульям скамейку:

– Экая глупость!

– А мы привыкли жить осторожно. Баба говорит – по новой системе лечил. То есть доктор. А я думаю, черт его знает, не ложный ли свидетель по части алиментов. 10% могу рассчитывать комиссионных, граждане?

– Десять процентов с чего, Кузьма Георгич?

– С общей суммы костюма.

– Но ведь костюм-то ваш?

– Опять то – не то. Зачем мой? Я его снова куплю.

Черпанов сдержанно, но достаточно раздраженно проскрипел:

– С нас комиссионные? Ты с ума сошел, Жаворонков?

– Как угодно, – дерзко глядя в глаза Черпанова, ответил Жаворонков.

Мы помолчали.

– Ты нам скажи, – начал опять Черпанов, – кому ты его продал?

– Леон Ионыч! Богом клянусь, делом нашим клянусь, не продаст он вам костюма.

– Как его фамилия?

– Фамилия?

– Жаворонков, брось шутки!

Жаворонков вытер о штаны вспотевшие кулаки и, сдерживая злобу, проурчал:

– Сколько заплатите? Дайте, Леон Ионыч, хоть сорок рублей.

– Пять!

– Ну, давай пять!

Он, скомкав деньги, сунул их в карман.

– Фамилию? – повторил строго Черпанов.

– Фамилия у него знаменитая. Шулер и подлейшая личность. Владел скрытыми притонами, но теперь замазал. Сообщал я о нем в милицию, но рука есть там, что ли, словом, по-прежнему – через день вечеринки с картами.

– Фамилию!

– Стыдно и произносить его фамилию. Пакостит дом его фамилия.

Черпанов застегнул карманы:

– Гривенника к пятерке не прибавлю, Жаворонков.

– Трошин его фамилия. Тереша Трошин. Ныне в винодельческом тресте служит. Раньше...

– Плевать мне на всякие "раньше"!

– Обманет, он вместо заграничного костюма такую непролазную дрянь всучит, годы будете жалеть. При моем комиссионерстве оплошность отпадает, так как я соображаю...

Черпанов одернул синюю блузу, встал:

– Пора, Егор Егорыч. А ты, Жаворонков, насчет шестисот двадцати обмозгуй, список составь, разбей по группам – и пусть готовятся. Квартирные и суточные после представления списков на третий день, прогонные – немедленно. Наживай брюхо, Жаворонков!

Жаворонков обалдел и чуть ли не сделал руки по швам.

Мы покинули его комнатки – степенно и торжественно.

Лестница показалась мне широкой – и менее крутой.

XXXII

Мы слезли в той части столицы, которую некогда именовали "окраиной". Здесь более, чем где-либо, – если даже и не стараться оставить позади мучающее вас беспокойство, так как мучило меня, – вы заметите напор того иного, которое достойно всяческой похвалы. Вместо дряхлых домишек, пред которыми и наш № 42 мог показаться дворцом, перед вами белые пятиэтажные улицы, мурава скверов, дворы озеленились, плотные серые заводы утеряли былую приниженность; тощие лица, хилые тела сменились озадистыми, широкими в крестце. Распалялись глаза, глядя на все это! Отлично бы чувствовал я себя, озаренно бы даже, кабы не постоянная оглядка на Черпанова, кабы не стремление усвоить его теперешнее состояние. А он был сух и длинен – и больше ничего. По лестнице, – такой светлой, словно архитектора боялись, что обитатели постоянно теряют иголки или заботились они о бюрократах, которые приспособят здесь столы для натиска анкет, – мы поднялись на третий этаж. Едва мы открыли дверь, напор радио заставил нас придвинуться друг к другу. Хозяин, Миша Некрасов, принял наше движение за похвалу. Он крутил перед нами черные ящики, сковородки с перехваченным

зрачком, откуда чей-то унылый голос требовал признания. Углубленный человек в пиджаке с отвислыми карманами, тот, которого Черпанов называл Супчиком, безмятежно стоял подле ящика, погрузившись, видимо, в пропасть своих размышлений. "Заграницу ловим!" – прокричал нам хозяин.

– Прекрасное радио! – закричал Черпанов, перекрывая все голоса. – Впервые встречаю подобное радио. Удивительное радио, призываю свидетелей.

То ли крик достался ему дорого, то ли он волновался, то ли желал изобразить волнение, то ли желал начать обычное обсиживание всей мебели, – Черпанов плюхнулся на стул, обитый клеенкой, плеснул из графина в стакан, – хозяин взглянул на него оробело – глотнул... – и опять я склонен возвратиться к нашим классикам: "глаза его выскочили на лоб", сказали бы они. На лоб не на лоб, я думаю, что ни при каких обстоятельствах глаза Черпанова не могут выскочить на лоб, не потому, что там места нет, а оттого, что он всегда сумеет сдержать себя, – но под лоб они укатились. Он даже слегка побледнел:

– Послушайте, товарищ, – сказал он, наконец, хозяину, – правда, я поднимался по лестнице, задохнулся также и от умиротворения радио, но почему в графинчике, который стоит мирно в стороне на водяном подносике, вместо освежающего я саданул водку?

Хозяйка – в ней вы бы прочли математически выраженное скопление доброты и мягкости – всполошилась. Хозяин обозначил руками недоумение.

– Миша, ты же дал торжественное обещание не пить. И для гостей хотел одного вина.

– Как водка, да здесь вода, Надя. Бьюсь об заклад.

Он поднял графин, понюхал:

– Действительно, водка. Кто-то подшутил. Придется вылить.

Водке всегда найдутся защитники. Кто знает, не в расчет ли на защитника и доброту хозяйки появился графин? Ясно, что первым внес изменения в беседу о водке Черпанов.

– Зачем выливать, то есть выливать в раковину, лучше в себя. Водка способствует душевности разговора, товарищи.

Миша Некрасов пятился с графином:

– Удивительно, но каждый раз в графине вместо воды водка.

– Чрезвычайно однообразная шутка, – вставил Черпанов, – пора одуматься.

– А главное, попробуй обнаружить виновника. Все хохочут.

И точно, все захохотали. Хозяйка откатила назад, в кухню, за угощеньями. Водка протиснулась к своему месту. Хозяин обратился к Черпанову:

– Хорошо, брат, что пришел. Изобретатель – народ забывчивый.

– Забывчивый, когда ему не нужно командиров.

– Командиров?

– Можно начинать, Миша?

– Водку?

– Нет, доклад мой об Урале и о воздухоплавании, а также воздушной обороне.

– Обожди. Еще ребята подойдут.

Черпанов озабоченно начал буравить вздутые свои карманы. Хозяин благоговейно отошел от него.

– Восхищайтесь, – сухо, словно прижигая, прошептал мне Черпанов.

– Чем мне восхищаться?

– А известно вам, что в американском путеводителе по СССР рекомендовано, первоочередно, всем увиденным восхищаться.

– Идите вы с американцами! Они думают по-своему, а я хочу – – восхищаюсь, хочу – нет.

– Тогда отодвиньтесь.

Я отодвинулся – и толкнулся в М.Н. Синицына. Да, стоял передо мной М.Н. Синицын в коричневой своей куртке, с красно-синим огрызком карандаша в кармашке, с морщинистыми своими губами, которые он постоянно раздувал. Не могу похвастаться, что он обрадовался мне.

– Вернулись? – спросил он уныло. – Отдохнули? Все отдыхаете.

– И не уезжал.

– Пристроился на другую службу? И верно. Склочное у нас место. Тупицы какие-то сидят. Тебе-то, небось, нечувствительно, а свежему человеку неприятности сплошь. Доктор, Матвей Иваныч, пишет тебе?

– И доктор не уезжал.

Мне казалось, что М.Н. Синицын должен бы чувствовать побольше интереса к своему делу, потому что мое сообщение о докторе его ничуть не взволновало.

– Болен, что ли? – сказал он вяло, явно стараясь сбыть с рук скучный разговор.

– Влюблен.

М.Н. Синицын сунул трубку в рот:

– Бывает. Ты тоже влюблен. Любопытненько.

– Не помещается.

Он оглядел меня с легким пренебрежением:

– Где и поместиться. Тебя, брат, зажечь, как мокрый торф – и запутано, и запугано. Средним числом сказать – трепло ты, Егор Егорыч. Но, возможно, высохнешь. – Он пустил мне дыма в нос, раздул губы. Я привык к его грубой манере говорить, а сейчас даже она забавляла. – На чем мы прошлый-то раз остановились?

Я знал, что, если он зарядит рассказывать, так на весь вечер. Его надобно уметь прервать в самом начале. Я спросил о первом попавшемся в голову:

– Как у вас там больные? Юрьевы, ювелиры.

Он провел трубкой вкруг своего лица, затем вкруг моего, а после выкрутил чье-то воображаемое лицо близ себя:

– Чудак вас профессор-то оказался.

– Но не вредный чудак?

– Вредный чудак ты, Егор Егорыч. Если у меня фантазии в действиях, так у тебя в мыслях, постоянно. Хуже нет человека, который имеет страсть верить и внимать всяческим фантазиям, не умея их отсортировывать, откидывать от них обывательщину. Ну что вот тебе эти ювелиры, поддеть ты меня хотел, да?

– Чем же мне вас поддевать, Синицын?

– А тем, что профессор твой меня вытурил. Фантазия, говорит, у вас чрезмерная. Или я, говорит, или он. Какая я научная величина? Ну и сняли. Пойду теперь учиться. Я твоему профессору лет через пять такое шило вставлю...

Он показал мне при посредстве трех пальцев, какое шило он вставит профессору Ч., директору нашей больницы.

– По-моему, профессор раньше не вмешивался в хозяйственные дела.

– А зачем ему вмешиваться? Мы на иной почве разошлись. Я еще до отъезда директора да и доктора Андрейшина, обоих, предлагал снять ювелиров с постельного режима и поставить возле труда и станка. Ах, как можно! Болезнь явная, говорит профессор; надежд нет, пусть помирают. Болезнь неизвестная, говорит Андрейшин, надо их душу расковырять: откуда эта корона и что это за корона и из чего она? Любопытненько.

– Из часов, полагаю, – подзадорил я его. Рассказ его меня чрез-

вычайно увлек; я здесь, сами понимаете как, затрепетал трепетом:

– Из каких таких часов, ты полагаешь?

– Из ящика часов, которые украли в ювелирной и часть которых нашли у братьев Юрьевых.

– Противно смотреть, а не только что слушать. Что ты знаешь? Сухаревские сплетни. В газетах читал? Нет. Не было золотых часов.

– Были.

– Я тебе утверждаю, не было. Когда-то, года три назад, уперли у них из мастерской пять часов. Но не золотых, а фальшивого золота. Заподозрили одного сударика, из служащих, обыскали, не нашли. Поведение показалось подозрительным, все же не вытурили, посмотрим, дескать. Он скоро и сам смотался. Теперь представь, гуляют Юрьевы по Сухаревке, скупают разную чепуху. Корону-то они, верно, желали делать. Знакомятся они с молодыми людьми. Не купите ли, говорят те, часики? Золотые. Не можем, говорят, найти покупателя и рискнули в Сухаревку обратиться. Ювелиры знают, как ловят сухаревцы различных дураков. Пожалуйста, говорят, только не к вам на квартиру смотреть, а к нам. К удивлению, молодые люди согласились. Приходят к ювелирам. Наследство, говорят, получили – и выворачивают из бумажки. Юрьевы смотрят: батюшки мои, клеймо и номер известные! Краденые! Однако, будучи добрыми, с одной стороны; с другой, из-за спешности предстоящей работы желая отделаться от неприятностей, прищуря глаза: объясните, пожалуйста, откуда у вас часы, когда они клейма нашей мастерской. Парни – трах ювелиров по зубам и, покинув часы на столе, – в двери. Ювелиры за ними. Те в трамвай. Они в следующий. Опять-таки по соображениям, высказанным выше, с помощью милиции остановить их не желают, а жаждут полной исповеди. Те в подворотню, эти, осторожненько – как бы не подкололи – к подворотне, а оттуда перед ними – шварк девица – раскрасавица. Любопытненько.

– Сусанна?

– А черт ее знает, кто. Парней-то я вылечить вылечил, но еще насчет расспросов блюду осторожность. От этого успеха леченья может вся моя репутация пострадать. Если загублю их, конечно.

– Воров вылечили?

– Каких воров? Ювелиров. Воры у них часы оставили. В часах-то вот тут вся загвоздка и находится. Будь бы они золотые, я б и спешил, а тут, к счастью, фальшь – от силы по три рубля, всего пятнадцать целковых инвалютой.

– Невероятно!

– Чего невероятного? В нашей стране все вероятно. Невероятное, вернее, – вероятное-то и началось у ворот. Выходит девица. Ясно, отвести глаза. Они люди робкие, до девиц ни разу не касались – естественно, обомлели. Она с ними поговорила.

– Правильно. Не больше.

– А ты откуда знаешь, что не больше?

– Позвольте, но во дворе, перед дверями квартиры ювелиров, постоянно толкутся мальчишки. Они помнят каждого свежего человека, и девицу, посетившую ювелиров, у которых никогда не бывало женщины, тем более. Про мальчишек мне доподлинно известно: я сам ходил и разговаривал с ними.

– Не спорю. Кто знает, возможно, я и сам ходил к ним. Не было. Ясно. Да и зачем ему быть? Достаточно с ней одной беседы – поласковей – у ворот, ювелирам долго ли зачахнуть. Именно, зачахнуть, потому что они с великим трудом обмолвились мне насчет девицы и часов, после того, как я их вылечил, они поверили в мою безмолвность, да и на самом деле, чего ради я из-за пятнадцати рублей буду их ввергать в пучину бедствия. Любопытненько.

М.Н. Синицын обожал пышные обороты. Иногда он эти пышные обороты пускал в рассказ столь изобильно, что из-за них не видно было смысла и толку, тогда следовало – хотя он способен был разозлиться и вообще оборвать рассказ – прервать его и спросить о самом главном, интересующем вас. Если вы могли умело дать понять ему ваше любопытство и уважение к его рассказу – он забывал о пышности оборотов и смутности выражений, говорят, необходимой для современной прозы. Я спросил:

– Каким же способом вылечили вы, Синицын, ювелиров?

Он опять очертил трубкой воображаемое лицо профессора – и пронзил его чубуком.

– Они, видишь ли, полагают, что если они знают название всех болезней, так это и есть леченье. Дудки! Отъезжают они за границу, ну, естественно, все слухи ко мне. Думал, думал, беру грузовичок, еду к знакомым в трест точной механики, говорю: дайте на подержанье соответствующие станки для ювелиров, – вот, говорю, грузовик. А они хохочут: на грузовик, дескать, пятьдесят станков влезет. Отлично. Отпустили два. Возвращаюсь. Ставлю их к себе в комнату за ширмочки, иду в палату "полуспокойных". Они лежат, бедняжки, желтые, тощие, ноги в пятнах, будто собаки обкусали, – и глаза в потолок, и такая в глазах скорбь, просто вздохни и помирай. Ну, я сажусь рядом и говорю: ребята, атанде. Будет, говорю, вам, ребята,

валяться, как дураки, пойдемте ко мне в квартирку, водки дернем, все равно – помирать, так с водкой. Они, естественно, накидывают халатики и за мной. Дал я им перцовки – и огурцов.

– Чудовищно!

– Вот и профессор говорит: чудовищно. Конечно, чудовищно здорово, потому что они на другой день самостоятельно пошли, а еще через день раздвинул я им ширмы и говорю: действуйте. Они мне и начали набалдашник для палки из моих чайных ложек выделывать. Красивая, брат, штука получилась. Баба голая лежит и на себя покрывало тянет, а покрывало переходит в трость. Только таскать мне и по общественному и по семейному положению невозможно такую палку. Я ее попросил в козу переделать. Переделали.

– И они утверждают, что с девицей из подворотни разговаривали всего лишь однажды.

– Я им верю. Ты что полагаешь?

– Ведь возможно, что следующие разы они уже с нею не разговаривали, а встречались молча. Полагаю, что о молчании-то они и молчат.

Мои соображения показались М.Н. Синицыну обидными; будучи ж человеком справедливым, он, хотя и обиделся, но сознался:

– Это я упустил. Молча? Действительно, что расскажешь, если молча? К молчанию у меня нету подхода, да и баба у меня ревнивая.

Он отошел от меня. Гости прибывали. Черпанов крутился вьюном; наливал "встречные" рюмки; помогал резать хлеб; соорудил детям, которых отправили спать, по бумажному пароходишку и голубю, рассказав им сказку о медведе, который в лесу объелся брусникой и пришел в город лечиться и как его замучили бюрократы. Прах его знает, откуда появилась у него эта сказка, но он ее повторил и взрослым; затем устремился "обрабатывать" каждого в отдельности. Я нашел его возле чрезвычайно просто одетого человека в черной рубашке и черном, но каком-то странно опрятном пиджаке, возле полки с книгами.

– Из рабочих? – причалил к нему Черпанов.

– Здесь все из рабочих. А вы разве нет?

– Я незаконнорожденный. Но, лаконично говоря, мог бы быть и рабочим.

– Почему нет? – Черный взял еще книгу, полистал и положил обратно.

– Приятно, небось, поселиться в новенькой квартире, а? Особенно для рабочего важна ванна! Пришел, устал, двинул газ, залез,

вылез. И вот, пожалуйста! — Он дернул за рукав черного: — Чистое белье. Небось, теперь с радости и не вылазишь. И правильно. Моя ванна, хочу — сижу, хочу — плюю. Баня? Баня, брат, отвратительное зрелище. Грязь, миазмы, стой в очереди.

— Чего ж, у хорошей бани приятна и очередь, — сказал черный.

— Не скажи. Придешь ты с работы грязный, вонючий, за версту от тебя пахнет...

Черный кротко побагровел и захлопнул книгу:

— Почему вонючий?

— Потому что гадкая, грязная работа. Не на Урале же ты работаешь?

— Не на Урале.

— И не в лаборатории?

— Нет, не в лаборатории.

— Чего ж нос задирать? Выжимки у вас, брат, а не заводы в Москве. Вот, к примеру, где ты работаешь?

— Я не московский.

— Из провинции?

— Не очень.

— Откуда?

— Откуда? Не юли, брат!

— Чего мне юлить. Я торгпред... — И черный назвал один из крупнейших городов Европы.

Вместо смущения Черпанов, наоборот, — словно выкинул тут последние остатки робости. Да, ему надобно дать первый толчок, а после того он мог возделывать любую почву, обезболенно вести любые операции! Он пощупал лацканы черного пиджака, рассматривая, видимо, предыдущий разговор, как начало наступления:

— Костюмчик-то у вас не отеребки. Есть у меня к вам вопрос еще из данной области. Хороши ли американские одежды?

— Не покупаем, — кратко ответил черный. — Но передают, есть хорошие.

— Второй вопрос: драгоценности американцы любят? И что же, разводят у себя их или пренебрегают. Какие драгоценности? Ну, там золото, камни в оправе или что монументальное на голову. Так, чтобы которое потверже на ощупь.

— Любят.

— И подвоз любят?

— И подвоз и привоз.

— Приятно, приятно. А насчет ванны я тебя, брат, разыграл.

Он перехватил меня под руку, и мы метнулись дальше. Я хотя и занят был своими мыслями, все ж я предупредил его, чтоб он не очень надеялся встретить здесь таких жидких и поддающихся обольщению, вроде Жаворонкова.

XXXIII

Он попробовал посидеть на одном из приглянувшихся ему стульев. Покачался, потрогал ножки – и пересел:

– Милай, Егор Егорыч. Папаша у меня был преподаватель логики, а это такое искусство, где обладание языком играет главную и решающую роль. А затем я его действительно знаю, на съездах встречались. – Черпанов сорвался и подскочил к гостю в сером костюме, впроседь, с лицом главаря и указующими глазами.

– Ну, как дела?

– Дела отмечаем.

– В каком виде мы за границей обозначены?

– Смотря кем, – вожаковствующим голосом ответили указующие глаза.

– А из-за чего им важно к нам относиться? Но вы с ними, небось, больше на коммерческой ноге. Прирожденный вы бунтарь, а приходится быть мнимым купцом. Понимаю, ожидаете. Противно, понимаю. И костюм заграничный одели, и значок ЦИК'а сняли, и вид отшлифованный, – и все-таки рабочего чаяния из глаз не уничтожить.

Он смахнул с плеча указующую соринку.

– Костюм-то? – спросил тот, важно оглядывая себя, видимо, очень довольный костюмом. – Да нет, костюм нашей выработки.

– Скажите! Поражен! Здорово вырабатываем. Отличная шерсть.

Черпанов, стараясь быть спокойным соразмерно вожаковствующему, но весь как-то внутренно сопя, пощупал костюм – и руки свои отнял с таким усилием, словно надсадился на этом ощупывании.

– Банкометная шерсть, а по родине, небось, тоскуешь?

– Чего мне тосковать, если по смыслу вдуматься?

– Действительно, если у пролетария нету родины, то есть социалистическое беспокойство.

Вожак обозначил на лице своем легкое недоумение.

– Ты, брат, насчет чего стрекочешь?

– Я, брат, насчет Гамбурга.

– Это тоже кооператив?

Теперь подошла очередь Черпанову заводить на лице своем порядок:

– Какой кооператив? – спросил он, все-таки важностью своей идя наперегонки с указующим. – Откуда кооператив встрял, недоумеваю.

– Жилкооператив, что ли?

– Да ты скажи мне ясно, кто? Почему кооператив вправляешь?

– Я здешний управдом.

Черпанов впился глазами в костюм, – но – пораскинув, должно быть, что управдом живет избыточно, "сполна", – засопел еще сильнее, и глаза его отползли.

– Вмеру костюмчик, – проговорил он. – Тоже из рабочих. Ты, то есть?

– Тоже, – ответил указующий.

– А я тебя, по крайней мере, за полпреда принял вполне. Обознался. Думаю: непременно это Сашка Смоленский.

– Да я и есть Сашка Смоленский.

– И не узнаешь, Саша?

– Впотьмах.

– Черпанов, Леон. Из Шадринска.

Указующие глаза задумались. Черпанов переменил шесть стульев, пока тот не заговорил:

– Впору башке лопнуть, а не помню Черпанова.

– Зазнался. А я слышал, тебя в Гамбург назначили.

– Брата, брата назначили. Его тоже Сашкой зовут. Брат у тебя, Черпанов, в примете.

Черпанов с напряжением потер свои глаза:

– С одной стороны, брата твоего видел в проблесках революционных молний, а, с другой, – глаза слабы, газами ослеплен.

Указующий важно захохотал:

– Да ты шутник, Черпанов. На гражданской войне и газов не применяли, а для империалистической рановато, даже и для побегушек, тебя мобилизовать, а добровольцев моложе восьми лет не пробовали...

– С одной стороны, Смоленский, существовали беженцы, где

детей травили почем зря, а с другой – я отравлен в Германии, на баррикадах в Гамбурге.

– А, там! – И указующий важно замолчал. Не знаю, взял ли его Черпанов впрорезь или сам попался, но вожаковствующий отвратил от нас указующие глаза. Лицо у Черпанова по-прежнему было строгое, держал он себя круто, все же я заметил, что он говорил с усилием и пересаживался с напряжением. Мы двигались к хозяину, Мише Некрасову. Он стоял с женой и конструктором, которого называли Супчиком, пропуская гостей в столовую возле кресла, обитого зеленым плюшем, истертым и неистребимо пыльным. Они щупали кресло и, должно быть, обсуждали: стоит ли его здесь оставить – или порубить: очень уж досыта полон был этим креслом хозяин. Черпанов перед самым носом хозяина плюхнулся в кресло – и задрал одну ногу на другую.

– Хорошее изобретение кресло! – Он протянул к хозяйке голову, до крайности благожелательную. Хозяйка улыбнулась ему со всей добротой, переполнявшей ее. Черпанов с нежностью похлопал толстые ручки и спинку кресла. – Хорошо полежать вечерком, когда вернешься с манифестации из головы колонны. Хорошо также встретиться с ним при пароксизме скуки. Да, могу сказать, что пришел обещанный срок, когда рабочий получил право на кресло. Ведь откроют же такую удивительную вещь, как мягкое кресло.

И он впритруску начал дотрагиваться до всех частей кресла. Хозяин с хозяйкой переглянулись, – согласие густо лежало в их синеватых глазах, согласие и любовь, – взялись за руки. Даже Супчик взглянул по-иному, а не спросонья, как всегда.

– Тебе нравится кресло? – спросил хозяин.

– Очень. С удовольствием бы купил.

– Так я продам, – сказал хозяин, опять беря жену за руки. – Оно у меня от деда еще. Гадость, пыль, клопы еще заведутся. Уступлю я тебе его, Черпанов.

Черпанов снялся с кресла:

– Куда я с ним потащусь?

– Никто не берет, – грустно сказал хозяин. – Всегда так...

– Я взял бы: человек, видишь, бедный я...

– Мы в рассрочку.

Жена подхватила:

– Да чего в рассрочку, лучше уж даром, раз человеку понравилось.

– Даром лучше, – прикасаясь к креслу, но все еще не опамя-

товавшись от погружения в свои размышления, сказал Супчик. Хозяин его уважал. Он забрал руки Черпанова и усадил его обратно:

— Бери даром, Черпанов. Дарю!

Черпанов выскочил, попробовал приподнять кресло — и еле оторвал его от полу:

— Да оно песком набито, что ли? И жесткое. В нем, брат, будучи впроголодь, трудно лежать. — Он оттолкнул кресло. Он приметно желал вернуться к главному направлению, насквозь пронизывающему его. — Однако о кресле достаточно. Все собрались? Более или менее? Двоих не хватает. Ну, мы, брат, не в порошке, а вот пока еще за стол не уселись, разреши мне хватить доклад. Здесь все рабочие? Слушай, Некрасов, у меня ведь почти секретное сообщение...

— Обождать бы тех двух, очень любопытствуют...

— Некогда, Некрасов. Вот тут только — торгпред... — Он указал на черного. — Воодушевить его трудно.

— Ничего, возбудишь. Ведь если тут оспаривать, опираясь на чины, так тут прибавь к торгпреду командира корпуса, вот тот, который руками сучит, а тот, у которого лицо вполздорова, он только что с маневров вернулся, командир армии, а вон — наш директор завода. Подстрелил тебя, насмешил! Они все свои, рабочие. А это главный инженер.

— Замухрышка-то? Да я б его за трубочиста принял.

— Он и был трубочистом, а теперь шестнадцать книг по авиации выпустил.

Исподволь Черпанов уже достал из бесчисленных своих синих карманов книжки, записочки, несколько остро отточенных карандашей.

— Растопить-то и не таких растапливали, но мало растопить, надо искусить и потрясти, а как им ввести: популярно или тронуть высшую математику?

— Валяй, как хочешь, — ответил хозяин, все-таки просовывая нас в столовую и усаживая за стол. — Парни и в академии учились, заграницу нюхали и поэзию читают не так, чтобы она к одним поэтам примерзла.

— Поэзия крадет у нас честь изобретательства, — ответил Черпанов. — Долой поэзию! Никогда я ее не признавал и не признаю, даже навеселе, ни поэзии, ни...

— А вон и Жмарин! — крикнул Некрасов, оставляя нас. У края стола подсели двое новых гостей. Я тотчас же вспомнил черпановский рассказ о гвоздильном заводике возле Савеловского вокзала —

и тревожный холодок малость потрогал меня. Я тревожился за Черпанова. Сам он – или не заметил вошедших, или не желал замечать – с судорожным, хмельным интересом перелистывал свои записные книжки. Мелькнул и скрылся пакет за девятью печатями. Двое вошедших – громадный мускулистый Савченко и желчный, худенький Жмарин – сидели, явно ощущая огромное уважение к окружающему, и от этого уважения они не узнали Черпанова, вот почему, когда он встал и начал говорить, они страшно были потрясены и даже как-то напуганы, опомнившись только к концу его бестолковой и совершенно несоразмерной уровню развития собравшихся – речи. Особенно уважал всех Савченко, для него посещение этой вечеринки было целым жизненным переворотом, почти откровением. Он воочию увидал и услышал, чего могут достигнуть при упорном труде и желании такие же простые рабочие парни, как и он. И, главное, они оставались простыми! Те же широкие угловатые движения; особый тембр голосов, воспитанных в цехах; особый отрывистый хохот и много такого неуловимого, что делало их близкими ему и удивительными. Торгпред, смеясь, рассказывал приятелям по станку, как он впервые надел фрак и отправился на прием к президенту. Савченко тоже посмеялся вместе с ними, сам мало понимая причину смеха. М.Н. Синицын напомнил полпреду, как не то он, не то другой кто ловко поддели американского миллиардера, – но рассказ М.Н. Синицыну не дал начать специалист по пушнине с необычайно длинными, постоянно вытянутыми вперед руками, чем-то похожими на постромки выносных лошадей, специалист этот коротенько передал, как лучшие пушные мастера снялись с работы и поехали в СССР. "Разве вам плохо? – спросил их директор фабрики. – Увеличим вам жалованье. Что вам нужно?" – "Ничего. Мы коммунисты, а вам потребовались спецы по пушнине". Постромко-рукий не окончил рассказа. Начал Черпанов, застревая пальцами в бесчисленности блокнотных справок. Румянец, похожий на весеннюю поросль, прямыми, почти коричневыми струями, лежал на его сухом лице.

XXXIV

– Осведомляю, что вступление мое, милейшие товарищи, будет кратким, так же как и кратко продолжение, что же касается конца, то наиболее подходящий выбирайте сами. Наше строительство огром-

но, в нем обитают различные концы, в которых вы и сможете засесть, давая общему цвету ядра свои обозначения. Естественно, вы желаете справиться, кто и что я. Мало прибавишь к слову "изобретатель", оно и почтенно, но и стоит отдельно. Оно мне напоминает один их тех рассказов, которые любит ни к селу ни к городу употреблять Егор Егорыч. Два приятеля находились в коротком обхождении с дамочкой. Один теряет ночью кольцо в ее кровати, второй, следующим утром, находит его, – и на палец. Ну, шум там, крики, почти драка. Является хозяин, его выбирают в судьи и сообщают ему под вымышленными именами причину ссоры. Хозяин решает: "Кольцо принадлежит тому, кому и постель!" – "Одностороннее решение!" – восклицают они. – Как же мы вам вернем кольцо, когда вы принципиально против колец..."

– Савченко, да это ж, честное слово, наш поэт! – воскликнул вдруг Жмарин, которому пребывание здесь Черпанова казалось чрезвычайно обидным.

– Голос его, – осторожно ответил Савченко.

– Здорово, поэт! – и Жмарин, вряд ли от желания жать руку, а скорей желая в пожатии этом найти исход или закрепление своей обиды, протянул через стол свою руку. Черпанов по-прежнему был бесстрастен и льдист, полосатый румянец исчез с его лица, лишь пальцы его судорожно сбирали бесчисленные записочки. "Эх, бить будут, – тихо, сквозь зубы, сказал он мне, – щипать будут, старайся не завязнуть ногами, Егор Егорыч". Он с треском пожал руку Жмарину.

– Ай да поэт, ай да вербовщик! – язвительно тряс его руку Жмарин. Некрасову эта жмаринская колкость показалась скрывающей тайный смысл, и он заметил, что все поэты – изобретатели, и приделывать сюда намеки надо, сильно сомневаясь в идее изобретательства. Жмарин обиделся: какой он изобретатель! У нас он крыл изобретательство, указывая, что изобретательство обкрадывает поэзию. Притягательный вербовщик! И неужели он считает уместным завербовать вас всех. Конечно, с такими кадрами, как здесь, с успехом оснует любую советскую республику хоть в Африке.

Множество возражений толпилось в голове Черпанова: он был задет. Он выпил стакан вина.

– Я о тяготении в коммунизм, о полете, – сказал он, выхватывая лист бумаги из кармана. – Вот здесь схема полета! Вот подписной лист желающих лететь.

– Любопытно. – И Супчик первым взял лист. – Заманчиво.

Не возьми Супчик этот лист, возможно, Жмарин и ограничился

бы язвительностью. Что ему за дело? Но тут портился Супчик, любовь всех, человек, чье ученье и работа служили перекличкой многих заводских ребят. Супчику находится указатель, Супчик попадает в кандидаты, аспиранты!.. Очертания жмаринских губ испортились, глаза воспалились, он зашипел:

– Закройсь, вербовщик! Не поэт ты, не техник, а...

Жмарин сплавил кулак. Некрасов подскочил к нему, хозяйка с другого бока, – мне становилось жарко. Черпанов боком, двинулся к дверям, я за ним. Когда мы обернулись, Жмарин, успокоенный и повеселевший, помогал раздвигать стол, а черпановская бумага ходила из рук в руки, и все расписывались. Над нами не смеялись, не ехидничали, нас просто забыли. Черпанов задержал меня в дверях столовой, шепча: "Ловко они придумали. Жмарин отметен, как дурак, они перед ним скрывают свой поступок, тихо отмечая желание поездки. Светлый симптом! Какие люди, Егор Егорыч, едут. Ух, придется мне с ЦК разговаривать, иначе не дадут такого ядра. Смотрите, сам директор выразил желание расписаться. И директор едет, Егор Егорыч! Да, заштукатурили мы с вами сегодня строительство". Мы вышли в коридор. Хозяин вынес нам лист, испещренный подписями.

– А программу чего ж не вернули? – спросил Черпанов, разглядывая лист.

– Поклеп! Вы пустили один лист, Черпанов.

– Докладная записка имелась при листе, Некрасов. Докладная записка насчет системы и смысла Шадринского строительства. Я ее пустил вместе с листом; я отлично помню, что пустил, а пакет с девятью печатями оставил. – Он ринулся в бесчисленность своих карманов. Он рылся долго, держа в зубах притягательный лист. Программа нашлась на дне одиннадцатого кармана. – Зря обвинил, Некрасов, прости. Но что же, значит, почетные гости сразу поднялись на возвышенность ввиду всего дела, приятно быть приросшим к присутствию таких холмистых людей. С намека чуют дело своего класса.

Он как-то толчкообразно остановился, – так замирает пароход на якорной стоянке, – впившись глазами в лист.

– Удивляет меня, Некрасов, почему стоят после каждой фамилии цифры. Вот, например, пятьдесят, а рядом с этой подписью – 5. Я разверстки ядру не даю, я только чуждому элементу. Конечно, если по личному приближению, то пожалуйста. Только вот подле 50 стоит "к", а против 5 стоит "р". Что бы это могло значить, Егор Егорыч?

— К? — сказал я. — На букву "к" много профессий. Клепальщики, каменщики, кружконосы, крючкотворы, а вот "р". Рыбальщики, разве, рисовальщики.

Черпанов положил лист в карман и достал наши фуражки.

— Плохо мы знаем рабочий класс, — сказал он удовлетворенно, играя пальцами на фуражке, — я полагал, бить будут.

Из столовой выскочил Некрасов:

— Уходите. А закусить? А деньги? — Он протянул Черпанову сверточек денег.

— Чересчур щепетильный ты, — Черпанов сунул небрежно деньги в карман. — Я и доклада не закончил. Интересно точно знать, почем вы докладчику в час платите. Я не в смысле прилипчивости, а со свойственной мне ориентировочностью, дабы других не обидеть.

— Не за доклад. Подписной лист пустил? Пустил. Мы и помогли, чем могли.

XXXV

Беседы приближаются к смыслу дела.

Черпанов достал деньги, пересчитал.

— Шестьдесят рублей. Благодарю. Я верну. Пока!

Но тут же вступила жена Некрасова, сердобольная и привлекательная. Боюсь, что она одна из всех присутствующих не поняла происшедшего. Она, заманчиво описывая предстоящий пирог со щукой, выразила крайнее сожаление по поводу нашего ухода. Черпанов объяснился кратко, в походной форме: заседание, съезд, конференция, доклад, ждут. Ко всем этим словам в ней укоренилась известная боязливость. "А кресло?" — воскликнула она. Хозяин засуетился:

— Совершенно верно, ребята, кресло же вам подарено. Я вам сейчас напишу пропуск к дворнику, а то он еще не выпустит.

Он с трудом проволок к выходным дверям громадное зеленое кресло, апатично визжащее, приколол к нему пропуск, и мы, пожав ему руку, поволокли кресло. Он провожал нас по лестнице. В огромные окна приближалась к нам луна. Лестница грохотала, кресло то визжало, то ржало. Соседи высовывали головы. Я безропотно и даже, сознаюсь, трусливо потел. Наконец, мы спустились вниз. Вежливый хозяин крикнул с верхней площадки:

— Благополучно?

Черпанов молчал. Я ответил, что вполне благополучно. Стукнула дверь. Яблочный цвет луны озарял нас. Дом молчал. Черпанов опустился в кресло, ворча:

— Совсем обинтеллигентились. Этак любой прохвост разовьет перед ними любые идеи, а они будут вежливо улыбаться. Шляпы! Крысы бюрократические. Морду не могли набить.

— А если они, Леон Ионыч, догадались, что у вас секретные инструкции?

— Ясно. Иначе б непременно побили. — Он вскочил и плюнул в кресло: — Устыжать, посрамлять, уличать — и кого, Черпанова? Человека, который неотвязно понял весь поступательный ход революции. На кой черт мне нужно кресло? Мне надобна рабсила, а не кресло.

— Подарите Степаниде Константиновне.

— Пулю бы я ей подарил, а не кресло. Их, дьяволов, переделываешь, заботишься, а они — живи в ванной! Стыд, срам, бесславие!

Мы еле протащили кресло через парадные двери. На ступеньке Черпанов поскользнулся, упал и стукнулся лбом о пол. Вскочив, он отшвырнул кресло, и мы быстро пошли. Но не успели мы выбежать за ворота, как нас догнал с метлой, в фартуке, с бородой, словом — традиционный дворник, окающий и с матерками. Он волок за собой ручную тележку — и в ней дыбилось зеленое кресло!

— Извозчика пошли, что ли, нанимать?

— Извозчика.

— То-то я смотрю: пропуск приклеен. Покараулить, что ли?

— Карауль.

— С тележки-то сподручней на извозчика, я в тележке и покараулю.

— Карауль.

Дворник сел в кресло. Тележка качалась.

Мы огибали сквер. Несколько елок загородили нас от дворника. Черпанов плюхнулся на одну скамейку, перескочил на другую, закурил.

— Вот и дворнику есть сиденье, — сказал он, лежа животом вниз и глядя сквозь елки с чрезмерным вниманием. — Какое отводите, любопытно, место в своих размышлениях вы сегодняшней вечеринке, Егор Егорыч?

— Руководящее, — ответил я.

— Руководящее? — с досадой воскликнул он, перескакивая на соседнюю скамейку. — Почему же это руководящее, простодушный вы человек!

XXXIV

Войдя в скверик, где под вкрадчивым светом фонаря осенняя зелень – впол-листвы – тщательно старалась казаться молодой и доблестной, я подумал, что сейчас, пожалуй, часа три утра. Впрочем, не все ли равно вам, любимый мой читатель, сколько прошло или сколько есть времени? Закрыто вам или ведомо, что по времяисчислению нашего житьесказания от начала его прошло, кажется, четыре дня, а в предыдущей главе вы узнали, что делегация вместе с профессором Ч., направившаяся на съезд криминологов в Берлин, уже успела вернуться, уже успели выздороветь ювелиры братья Юрьевы, и уже сняли М.Н. Синицына.

Знаю, дабы не обижать автора, вы, глядя на сие недоразумение вполглаза, благожелательно решили, что съезд или не состоялся или продолжался четверть дня, что ювелиры никогда не были больны, а М.Н. Синицын снят был уже задолго до романа, и только на бумажке об его снятии не хватало подписи известного лица. Сожалея, должен сознаться: съезд тянулся шесть дней, обсуждение снимать или не снимать М.Н. Синицына – пять, выздоровление ювелиров... словом, со дня начала романа прошло три декады. Три декады! Надеюсь, вам понятно теперь мое раздражение против доктора, который в течение трех декад обещал ежедневно выехать – и не выезжал. Отчасти этим раздражением, отчасти и желанием наибольшей связности объясняется то, что в четыре дня я вкатил события трех декад, в чем сейчас я раскаиваюсь глубоко, идя тяжелой бичевой тропой, волоча на лямке "посуду" объяснений – и все-таки оставив читателя вполпитья, не утолив его пытливости. Хотелось мне также не лишить вас дневного освещенья, ибо все события – если быть откровенным, – в доме № 42 происходили глубокой ночью; необходимо запомнить, что и электричество там горело каким-то особенным, засевающим душевную суматоху светом. Далее. Мы спали преимущественно днем, – и впредь до конца романа, – будем просыпаться никак не раньше 12 часов дня. И напоследок сознаюсь, события последующих глав, то есть второй части нашего житьесказания, происходят в течение пяти дней, тогда как беспокойство наше о связности настоятельно побуждает нас растянуть их до месяца, то есть проделать как раз обратное тому, что мы натворили в первой части. Дело в том, что событий и приключений, самых удивительных, за эти пять дней выросла уйма.

Их возможно сделать достоверными только тогда, когда мы расставим их среди длинных промежутков времени, — так, примерно, стояли уездные города в царской России, ибо кто бы смог поверить, — если б их поставить все рядом, — что может существовать такая чудовищная по неправдоподобию жизнь. Или — пример ближе: мемуары. Представьте, что человек втискивает все происшествия своей автобиографии в один день. Мучайся, хлопочи, бейся, — и все-таки читатель вправе сказать: неудачно, беспутно! Вернемся, однако, с полпути к истине, обратно. Подлинно утверждаю я, что все время, хоть и я рискую остаться в душевных потемках, маюсь я жаждой правдоподобия. Всячески стараюсь быть детальнее; с отвращением, — временами, — принуждаю себя к плоскому и уродливому бытовизму, дабы заставить вас поверить, что все так и происходило, но и сам плохо верю своей удаче. Полезно опять-таки поговорить о времени. Поймите, любимые мои, никак невозможно, — хотя б это и было б наиубедительнейше, — протянуть события пяти дней на год: и героев нет, — частью разъехались они, частью их разъехали, — и... забавно и приятно наблюдать, как течет время, грациозно, но строго смеясь над романистом!.. И уже вместо деревянно-колонного № 42 возвышается восьмиэтажная громада с универмагом, прачечной, газоубежищем и прочим; недавно я проходил мимо него, — где узнать переулок! — И подумалось мне: а не бросить ли к чертям собачьим весь роман, не ограничиться ли отрывками и не выкроить ли из них какой-нибудь драматургической безделки, но тут же благой мат честолюбия указал мне на участь романиста, — не поиски времени, как утверждает классик и туча его подражателей, — а проецирование теперешнего состояния вашего сознания на прошлое; ведь, по правде сказать, — и мысли у меня тогда были иные, и события совершались по-иному. Извините меня за эту откровенность, но будем искренни: вообще-то смысл человека не вырасти в полного подлеца, а в книге, уверяю вас, это еще труднее, чем в быту, — и, если вам не нравится моя манера разговора, то рекомендую захлопнуть книгу, я и то с трудом доволок вас до середины этого повествования, пора вам прекратить снисходительность, пора найти нечто более казистое, в качестве такового гостинца милостиво разрешите рекомендовать вам моих современников с менее упрямым пером, менее дурно... — э, кому нужны их имена, они и без того у всех на устах!.. — а я поплетусь своей плохой дорогой, считая видной заслугой и то, что вы соизволили допереть до половины, — у меня, собственно, и задача стояла такова, чтоб подсунуть вам треть вместо половины! Доволь-

но! Пора вам, читатель, перестать обижаться на сочинителя, пора прекратить милостивые и снисходительные улыбки, — прилетела пора помогать нам. Изволите-ка вот события последующих двадцати глав втиснуть в пять дней — и поверить этому, да втиснуть так, чтобы это не казалось растянутостью. Удивительно, но все мои работы казались редакторам растянутыми. Писал и в десять печатных листов — растянуто, и в четверть листа — растянуто, после всего даже письма мои, правда — ругательные, тоже казались им растянутыми. Однажды, — имея привычку для скорейшей ловли мыслей, — писать без знаков препинания, — я ошибкой отправил рукопись в переписку, не просмотрев. Машинистка сама расставила знаки, а так как до сего она работала у В.Б. Шкловского, то рукопись приобрела вид плохо разваренного гороха. И что же? Редактор встретил меня услужливо: "Наконец-то вы прекратили суемудрствовать, перестроились, одолжили, а то, бывало, на фразе застрянешь — и заседание улетит. Не принимаю ваше прошлое за злонамеренность, но доказательство теперешнего моего утверждения: читай хоть одним глазом". Я ответил, что данный случай не более как заслуга случайной машинистки. "Женитесь на ней, — сказал он подозрительно ласково: — роль спутницы писателя еще не оценена!" Я ответил ему, что предпочел бы жениться на нем самом, будь бы уверен, что его не снимут хотя бы в течение полугода, то есть пока будет печататься мой нерастянутый роман, и, пожалуй, даже и это не важно, а важна постылая уверенность, что он, редактор, все-таки будет — в случае чего — защищать мой роман. Редактор стянул пояс — и промолчал. Впоследствии я вывел заключение, что и кратко писать вредно, — романа моего он так и не напечатал.

Трудно вести прямую линию романа, особенно романа вроде нашего, где я и сам еще не знаю, которая из многочисленных линий его прямая, все же я чувствую, что побочные размышления вроде предыдущего нам удаются лучше и как нам ни грустно покидать это лучшее, но мы вынуждены вернуться к Черпанову, который, лежа животом вниз, выявлял различные эстетические эмоции. Он подпел — густо через нос — гудению проводов возле скверика; обратил мое внимание на изящество, с которым грохотал мимо ломовик, свесив толстые ноги с передка и склонив курчавую голову; двинул соблазн насчет звезд, что, мол, и через тысячу лет будут смотреть так же, а мы уже давно досадно поостынем. И он опять переменил сиденье. Подумают, Черпанов имел привычку менять места так, с бухты-барахты, либо посушить зад, — нет, здесь, перед вами развертывалась

некая система, если даже хотите, политики делового сотрудничества. Например, если он сидел, сутулясь с вытянутыми вперед ногами и с руками – крест-накрест – возле живота, значит, он размышлял о сущности того трудового процесса, который вы способны исполнить; тоже – но с ногами, положенными одна на другую и откинув голову: он думал об Урале и о своей будущей роли там; тоже, – но скрестив руки на груди, у подбородка, постукивая в землю носками бутц и колыхая бесчисленностью своих карманов, значило, что он охоч сулить счастье другим. Сейчас же передо мной было нечто новое, а именно – упорное лежание животом вниз; вряд ли это имело отношение к его эстетическим эмоциям, – и вот эта неразгаданность его лежания и заставляет меня передать его последующие слова в той старинной манере, как я их от него услышал, то есть в виде монолога, бросив лощить его моими репликами и анекдотами.

– Рукоплещете, Егор Егорыч, исповеди, – посупляя брови, начал Черпанов. – Что поделаешь, ваше лицо апеллирует к моей исповеди. Будьте духовным отцом, Егор Егорыч, верьте, что перед вами не мокрица, а человек, достойный вполне нести пакет с девятью круглыми печатями. Представьте, два брата, – я младший, – переехали в Москву ассимилироваться. Осенью девятьсот седьмого года! Папаша наш, некогда преподаватель пневматологии и логики в семинарии, заканчивал дни свои делопроизводителем свердловского архива милиции. Видимо, мало надеясь увидеть нас уже в сем мире, перед отъездом, он призвал меня к себе, – помните, я стоял перед ним восемнадцатилетним, надутым румянцем, – и, положив руку на плечо, кстати сказать, он был строгий, хотя и жуликоватый старик, сказал: ”Слова имеют ценность постольку, поскольку в тебе ловко вращается язык. Асфальт улучшает город, а благополучие человека есть улица, где асфальт заменен его языком”. И вот, чем я дальше живу, тем, Егор Егорыч, слова его мне кажутся мудрей, ибо глупо копать языком хрен. Что такое мысль, которая так и вьется, так и лезет в вашу душу? И что такое человек? Приспособляющееся животное – вот что такое человек. Вы думаете, зря прославился Дарвин? Он сказал людям хитрую правду, Егор Егорыч. Он им тонко поднес насчет приспособления видов, где побеждают хитрые, а не сильные. Всякий знает, что мамонт был страшно сильное и, наверное, доброе животное, однако выжил и победил его человек. Животное побеждает только тогда, когда приспособляется к жизненному потоку, когда приноравливается, хотя оно и должно соблюдать видимость некоторой обособленности. Против всех враждебных сил, гро-

зящих гибелью отдельным точкам, последние умеючи ведут свою "борьбу за существование". Каждый в отдельности копает, роется и вообще ворочает всеми имеющимися у него силами для самосохранения. Однако, свойства этих сил, пункты их установок у разных индивидов: X, Y, Z – различны, Егор Егорыч. Общеизвестно, что от яиц одной кладки получаются индивиды, часто значительно разнящиеся между собой: организмы варьируют. Вполне понятно, что ввиду этой вариации неодинаковые индивиды ведут свою борьбу за существование, подкапываясь друг под друга, самым неодинаковым оружием. Яйцо, более богатое желтком, например, имеет при определенных неблагоприятных обстоятельствах больше шансов дать жизнь крепкой молодой гусенице, чем яйцо, бедное желтком. Бабочка, очень ловко летающая, с большей легкостью ускользает от насекомоядных птиц, чем плохо летающая. Если оно таково, это устройство доказательств жизненной неспособности, то словно под кованной балкой спокойно перед вами будет гулять такой вывод: когда учащаются случаи, при которых животные данного рода выживают в борьбе, вследствие обладания определенной наследственной вариацией, то характер этого рода изменяется сам собою. Много есть данных за то, что для жизни отца, деда моего и прадеда желтка было отпущено достаточно, Егор Егорыч. Они не достигли высоких постов, но, борясь за себя и свой род, они ловко и умело спасали все, что нам нужно, – при малейших затруднениях. Прадед упер полковой денежный ящик – и не судился. Дед заведовал золотым прииском, разбогател, но не настолько, чтоб дети его выросли лодырями и бестолково шатались взад и вперед по земле. Отец вооружился похитрее, он уже читал К. Леонтьева, заглядывал и в К. Маркса, – и чуял, что широкие обшлага рясы скоро многим навредят. Он верил, что расцвет нашего рода будет провозглашен не им, оставляя вопрос этот открытым, он трудился, не разгибая спины, – как и создавая детей, так и воспитывая их. Он научил нас терпеливо сносить революцию – мы верили ему, ибо он, – предвидя, – реализовал недвижимое в движимое еще в марте 1917 года, – и вот он сам направил нас через десять лет понюхать Москву, так как находил, что нэп приобретает какой-то странный чин, для него малопонятный. "В Москве, сказал он, умейте молкнуть и нишкнуть". Поступили мы продавцами в склад машин, к одному нэпману. Молчим да слушаем. Познакомились, между прочим, с братьями Лебедевыми, о которых скажу ниже. Не то, чтоб мы нуждались, важна практика, принюхиванье. Знакомимся, через Лебедевых, с Терешей Трошиным, крупье из казино. С Тере-

шей, главным образом, возился брат, а я ходил, розовый и малозамеченный, рядом. Выспрошенный Тереша однажды по пьяному делу и открой брату, что казино-то через три дня закроют. Ну, вымолил его брат – позволить рискнуть. Я полагаю, что Тереша вряд ли бы пошел на риск, не будь мы провинциалами. Словом, точного их уговора я не знаю, но факт совершился: в один вечер брат мой обобрал всех дочиста, выиграв семьдесят пять тысяч рублей. Молодость, пена, знаете, Егор Егорыч, замерещилась ему ветвистая жизнь, жестоко он решил посягнуть на рисовальное бодрствование. Порисоваться это тоже особенность нашего желтка! Являемся к нашему сладчику: "Прощайте, не служим!" – "Куда, я к вам привык!" – "Уходим. Тоже не дешевле вас". Раскрываем чемодан, полный денег. Хозяин сразу запыхался, и от сверхнормального давления мыслей, что ли, чрезвычайно сволочной план придумал. Немедленно спрашивает нас: "Вы что, желаете открыть предприятие или насладиться?" – "Наш род, – ответил брат, – предпочитает наслаждаться в чужих предприятиях. Мы их, денежки-то, профильтруем так, что вы, хозяин, охнете". – "Суковато мыслите, – одобрил нас хозяин: – и неужели любопытно вам кутнуть с иностранками! В Париж вам не попасть, да и не стоит, когда вот в соседней комнате весь Париж с его удивительными позами предстанет перед вами. Приехали сюда иностранки гастролировать, а какие, леший, гастроли в нашей стране, просто совестно, что мы их так подвели. Благодаря задержке, они и таксу отменят, если не уничтожат совсем". Здесь молчком не отделаешься, да, кроме того, общеизвестно, что русский народ дико падок до иностранного, вдобавок и дешевка. Брат спрашивает: "А подлинно ли они француженки?" – "Греза!" – Шире-дале, съездил он куда-то на часок, возвращается он и проводит в соседнюю комнату. Ковры, корелка, фарфор, зеркала, абажуры из шелка, – все честь честью! И бабы в шелку. Одна, как копница, прочие – три – помоложе, сверкают глазами, как гусарские кони возле коновязи. И все дело молчком. Естественно, мы мгновенно проверили насчет гастролей, хотя позже – уже с опустелыми карманами – выяснили, что обделывало нас целиком его семейство: мамаша с дочками, да племянница. Весь его расчет, вся его порука – нэпмановская изнеможенность и послевоенная слабость, из-за которой он предвидел жену свою обойденной нашим коротким обхождением, – на дочерей он уж и рукой махнул. Однако перед нами встали провинциальные версты, и они испытали крепкую усталость от данного пробега. Говорят они какие-то слова, дико нам и прелестно их слушать. Покатили мы в Европу,

гремя так бубенцами, что хозяин поглядит в дверь – да и охнет. Подъезжая к Варшаве, мы вылакали уже три ящика шампанского – и потребовали пополнения иностранками, так как сопровождающие нас тряской и малоопытным бесстыдством разрыхлели совершенно. Хозяин видит, удержу нам нет, обращается он к помощнику своему Мазурскому. Тот кинулся собирать знакомых девиц. Не утверждаю, посещали ль нас Людмила и Сусанна, я по трехсотой версте почувствовал, что накал мой прекратился, – и преимущественно дремал на диване, в углу, изредка поблевывая в атласные подушки, но что Ларвин приносил нам продовольствие, Насель продавал какие-то браслеты для девиц, Осип Львович – кондитерские изделия, Валерьян Львович всучил велосипед, на котором одна из девиц каталась по комнатам, голая и худая, как грабли; да и сама Степанида Константиновна тоже являлась, брат купил у нее шестнадцать гросспуговиц – все факты. Единственный, кто нас не навестил, так это Жаворонков, и то в силу того, что он находился в провинциальной командировке от храма Христа Спасителя, инструктируя церковных старост, да еще дядя Савелий Львович, который тогда правозаступничал, личность его, впрочем, меня и сейчас мало занимает. Денежки сыпались без задержки, но и процедили мы через себя такие события и виды, что если расценивать жизнь с точки наслаждения ею, как таковой, то и в Париже вряд ли возможно встретить нечто крупнейшее, разве лишь размером помещения. Короче говоря, пропив в десять дней семьдесят пять тысяч, посъедали мы остатки, и хозяин говорит нам: "Иностранки уехали, чего вам еще выжидать?" Наглец! Цыкнули мы на него и ушли. А дома квартплату требуют. Карман пуст. "Пойдем, говорю, попросим хозяина помочь". Возвращаемся. А наши француженки тут же в конторе возле него крутятся, сами отличнейше по-русски шпарят – и мы для них как бы вполне чужие. И у хозяина лицо явно изображающее, что капитал свой, благодаря нам, он удвоил. Брат, без ругани, покачал головой, а тот ему: "Катись вон, мне надоело ваше качанье, ненавижу эпилептиков, в том числе и Достоевского!" Брат, не утерпя, сотворил легкий уральский посыл. Хозяин за милицией. А в дверях – фининспектор, вручающий ему окладной лист в 150 000 рублей подоходного налога. Сразу хана нэпману со всеми его затеями! Полюбовались мы их бурлящим бешенством мордами, сказали нравоучительно: "Это вам не Париж!" – и брат, чисто случайно, подался к Волге, а я вернулся за дополнительным советом к заметно постаревшему папаше. Отец развесил по достоинству пережитое и продуманное нами, сделав заключение,

чтоб не зарываться слишком и держаться полновеснее, – вот где торжество черпановского яйца, что мне необходимо подсыхать для воздвижения себя в рабочем классе, ибо он – даже по намекам К. Леонтьева – есть тот, на кого возложена миссия России. Исходя из папашиных нравоучений, поступил я, Егор Егорыч, подмастерьем в государственную штемпельную мастерскую. Бросается в глаза особенность Черпановых: не успокаиваться нахождением данного, а отыскивать, пробовать прочее. Так задумался я над значением и смыслом штемпеля. Задумался – и содрогнулся! Существует много сортов штемпелей: треугольные или восьмиугольные, например, самые презренные, ими обладают крошечные канцелярии или какие-нибудь совершенно безнадежные предприятия, вроде общих бань или прачечных; есть четырехугольные, эти посолиднее, особенно если сверху значится наркомат или что-либо вроде, но и эти штемпеля редко составляют счастье человека, а самый важный и самый поражающий штемпель — круглый, да круглый не резиновый, а медный, тяжелый и гулкий, который опускается на сургуч вроде парового молота, дробя жизнь одним и давая счастье другим. Таким штемпелем, вернее, печатью, закреплен мой конверт в девяти местах – и вот, когда мы соберем полный комплект, когда я надену американский костюм и в одной руке... еще целиком не выяснено, Егор Егорыч, что я буду держать в одной руке!.. другой я ударю конвертом по столу, печати отпадут – и выйдет удивительное приказание, остановка, облачающая нас удивительными полномочиями. Вы отчаянным образом, Егор Егорыч, возводите мнение о некоторой моей самовольности в смысле печатей. Не мог же я позволить отволгнуть, намокнуть чепухой своему мозгу. Я создал свою биографию посредством штемпелей. Уверяю вас, что она была складней иной подлинной. Мешали года, – я отпустил усы и добавил к удостоверению лета, – и кое-какие совсем ничтожные подвиги. К тому времени вкатываются Лебедевы, у них в Москве произошла какая-то неясность с часовыми механизмами, они – по старой памяти – желали посоветоваться с моим братом. Брат мой уже давно примкнул к северному сиянью! Лебедевы пустились в спортивный инструктаж. Мог бы им прояснить жизнь мой папаша, да он за год то того, насосавшись коньяку, тихо умер в баньке. Лебедевы и начали поджаривать меня. Влезли они в наш домишко, укрепились и развели чрезвычайную драчливость, сопровождая ее целиком издерживающим мои запасы пьянством. Я совсем было вскипел, не подвернись Шадринское строительство, где требовались бойкие для вербовки рабсилы. Шад-

ринск желал укрепить свою индустриализацию, а ехать туда никто не ехал, так как все застревали в Свердловске. Шадринцы ставят пятнадцать рублей премиальных за рабочего, – вербуй сколько хочешь. Кроме того, пришло время военного призыва, а войну я всегда считал пустым занятием – и совершенно несвоевременным. Банк – это вещь, а война? Я и документики припас, а Лебедевы – жидко разведенная дрянь, – подсмотрели и говорят: "Лева, тебе доступно класть необыкновенном количестве яйца жизни, нам же доступно просветлять людские страсти кулаками. Соединяешь ли ты наши кулаки со своим количеством?" Разговор идет у оврага, восемь кулаков передо мной, – я начинаю понимать. "Беспокоимся, продолжают они, часовым делом и тем, почему остался в Москве друг наш Мазурский, и почему нам не пишет Степанида Константиновна, что же касается твоей теперешней бедственности, то главный коммерческий вид у Степаниды Константиновны. Вверяем тебе для оборотов зеленую поддевку. Вообще, нюхай, Лева, будешь плохо нюхать, будем сажать тебе в голову наши кулаки, обильно и ярко. Из премиальных отчислишь ты для нас треть и тем ты прибит к нам окончательно!" Желал бы я видеть отказавшегося от лебедевского предложения: позиции для приема моих отступающих мыслей не было никакой. Попробовал я им было изложить свой проект, болтавшийся в моей голове уже давно, о конденсаторах энергии в виде стальных закрученных пружин, которые вы берете с собой, скажем, в дорогу, и когда понадобится, вставляете, и пружинка, развертываясь, дает вам нужное количество энергии. Проект их раздосадовал. Они яростно желали, чтоб я налюднял шадринские места. Я умею жертвовать собою, даже если и не вколачивать мне эту самоотверженность. Приезжаю в Москву. Возобновляю знакомства, не секретничаю – и мысль доктора сталкивается с моей, Егор Егорыч! Имеется возможность населить шадринское строительство. Запрашиваю телеграммой. Валяй, отвечают. Государство боится использовать силу и знания этих дураков, преувеличивая их мощь, – и великолепно! Их использует Черпанов, как используют вредных микробов, вводя их в организм в виде сыворотки. Важно, конечно, облокотиться на ядро, но развернем и без ядра, кто знает, не вскормим ли мы сами нужное ядро. Оно необходимо еще и для отпора Лебедевых, буде они пожелают вернуться в Москву и здесь нам пакостить. Всесветная мерзость! – уже если им удастся узнать о чем-либо денежном, у них засвербит, загудит и – сразу с кулаками. Растворимость этих кулаков известна только в Москве – и мы разнюхаем, где таковой рецептик. А кроме того,

считайте 2300 по 15 рублей за рыло, нам перепадает 34 500 целковых. Выходит, что я должен отдать 11 000 рублей ни за что ни про что Лебедевым на пропой? Съешь меня живым, а не дам! И в этом нежелании я опираюсь на вас, Егор Егорыч. Я за вас и за доктора плачу Степаниде Константиновне десять рублей суточно, я улаживаю ваши драки, а вы лакомитесь – трудиться пора! Вот вы, Егор Егорыч, сидите и размышляете, полагая, что меня невероятно огорчают сегодняшние события в этом доме – и это дурацкое кресло. Напрасно! Пусть и сейчас без пролетарского ядра, вот когда заструится перед нами 2300 человек, воткнем их в какой-нибудь опыт предварительной работы, массовой и успешной; выхолостим изворотами нашей мысли, расцарапаем их до самого нутра, поднимая, понемногу, с земли, а затем явимся в ЦК и скажем: "Назначайте ядро, а сущность готова! Растение застручилось". И тут же разорвем мой девятипечатный пакет – и прочтем, какой огромной важности документ лежит там. Меня не это засовывает в удручение, Егор Егорыч, а то, что неожиданно всходит перед нами Мазурский. Этот гад способен подстрекнуть нас к взаимному уничтожению. Чем? Сбежал он. Да вот и сбежал! Я узнал о бегстве его перед самым уходом сюда – и сбежал он, по всем признакам, на Урал, к Лебедевым! Причины его бегства и беспокойства? А прах их знает эти причины, просто струсил. В общем, даже оно и не плохо, если он сбежал на Урал, я боюсь, что он бродит по Москве. Кто его знает, не заходил ли он сюда, к Некрасову, перед нашим приходом? Вошел, брякнул и скрылся! Пользы я от него и раньше не видел, наоборот, он даже бегством своим позволяет нам пустить в дело Сусанну. Она мечтает, если откровенно сказать ее мнение о будущем, сидеть в большой парикмахерской кассиршей, где много света и зеркал; без конца отражается она во всех зеркалах, тормоша ваши желания; стеклянная будка ее дико прозрачна! Заступимся за нее, посадим ее в парикмахерскую, даже застеним для нее специальное возвышение, – иди слух по всему строительству о красавице кассирше, преграждай путь малодушным и колеблющимся, прибивай их полы гвоздями любви! Вот как я рассуждаю о Сусанне, я полагаю, что она сможет, допустим, не завлекать, но и не вспугивать тех 870, которые предназначены Мурфиным, а мы, тем временем, будем себе наживать да поднажовывать душевный капитал. Денежный в наше время – пустяки; денежный всегда застанете врасплох и разрушите, а вот заставьте нас запропаститься, завязнуть в умственном, организующем капитале. Егор Егорыч, да вы никак остыли, никак замышляете отказ от договора?..

– Просто я чересчур много ночью шатался, Леон Ионыч.

– Завтра вы увидите точный план нашего строительства, вам необходимо глубоко его изучить. Он лежит в камере хранения на вокзале, иначе нельзя же, ванна сыровата, легко испортить. План ценности непревзойденной, не столько по исполнению, сколько по замыслу. Поясню. Кого-кого, но вас в барышничестве, Егор Егорыч, упрекнуть трудно, и все же, дабы вас глубже загнать в план, уступаю вам по 2 рубля с рабсилы, таким образом, вы сразу возбуждаете в себе внимание к 4.66 рублям. Взболтните душу, пронзите себя предстоящим счастьем. Дабы не быть голословным, вот – шестьдесят рублей задатка, на кои монеты вы обязаны завербовать, считая вас лично и доктора, еще двадцать восемь рабсил, по два рубля со штуки.

– Едва ли за всю мою жизнь у меня наберется знакомых двадцать восемь... Разве считая родственников...

– А мы и родственниками не брезгуем. Берите, застрельщик!

И он перевернулся на спину, распялив руки и ноги. Рассказ ли его ошеломил меня, пугала ли запутанность и какая-то зашельмованность моего положения; встряхнуть ли себя я не мог, – как бы то ни было, я обнаружил странную уступчивость: взял шестьдесят рублей. Шелестели тощие ветви над скамейкой, дворник спал в кресле, его всхрапы доносились даже сюда, а я, зашелудивый, прогнав сон бесследно, сидел, вытянувшись, разглядывая Черпанова, который, растопырив конечности, ширился под небом на зеленой скамейке, неутомимо подтягивая части походной колонны, неутомимо зашпаклевывая все возникающие щели своего блиндажа, пронюхивая запах малейшей опасности, убирая мгновенно любые препятствия. Я сознавал свою мелкость, внеразрядность, заштатность. Но самое главное, приковывающее меня к сиденью, мешающее подвигаться вперед моим мыслям, – то, что Черпанов даже и не пытался спрашивать меня о впечатлении, произведенном его "исповедью". Он искренно и откровенно, наилучшим образом, очистил себя передо мной; зашельмовал свои недостатки, отодвигаемые далеко тем высоким общественным подвигом, который он производил, подвигом, уже звучащим в столетиях, а я, – заштатная личность, колпак, зонт, раскинутый в неурочное время, – снова пытаюсь подниматься, отсрочивать решение, не доверять ему: "Добро бы он говорил правду, а если врет, если желает, чтоб я заплутовал в лесу его психологистики?" Да, секретарь...

Он перекинулся животом вниз, достал колоду карт, тщательно завернутую газетной бумагой, – и предложил мне сыграть в двадцать

одно. Мы отодвинулись от фонаря. Уже приближалось утро, и лиловый свет уже разъединял крыши. Прохожий, пьяный и простой, оглядел нас удивленно: "Вот надрались!? – сказал он, останавливаясь и зашнуровывая башмак, который и без того был туго зашнурован. Я немедленно, от волнения плохо разбирая карты, проиграл Черпанову шестьдесят рублей. Он понаслаждался восходом, сообщил, кстати, что папаша его был знаменитый преферансист, что в картах важна взнузданность чувств, долго любовался первым трамваем и, когда вошел в ванную, то сразу же пощупал воду: "Тепла еще, а? Вот и буду спать на воде, прогреюсь. Кроме того, влажность способствует сну". – "А если доски раздвинутся и вы грохнетесь?" – "Я-то, Егор Егорыч!" – И я понял, что он никуда и никогда не грохнется.

"Да, – сказал я сам себе уныло, – секретарь... тяжелая штука секретарь большого человека!"

XXXVII

Смежная с черпановской беседа, посетившая меня в тот же рассвет, заставив беспокойно подумать о себе: не сполоумил ли я, – однако – если не сполна, то кое-что перечислив, – разъяснила мне кое-какие тревоги и душевные состояния обитателей дома № 42, которые заставили их верить и – даже ожидать – казалось бы, изумительный по невероятности вымысел Черпанова (ибо только я один начал догадываться, что здесь, пожалуй, производится единственное в своем роде психологическое испытание, более реальное и более ощутимое, чем все затеи доктора Андрейшина). Буду рассказывать подряд. Я оставил Черпанова споласкивающим на ночь рот. Коридор, бесхлопотный и тусклый, встретил меня толстыми колоннами, толстым гардеробом, толстым трюмо. Я шел, тонко ступая. Настроение мое было сплошь – как бы сказать точнее! – сиротское. К тому же и коридор, – трудно перечислить чем, – способствовал внутренней суете. И вот у последней колонны, за несколько шагов от нашей двери, я увидал Савелия Львовича. Право, достойно сказать, – поприглядевшись к его лицу, – что он рехнулся. Всегда, без разбору, полный неиссякаемой вежливостью и опрятностью, он теперь, разводя ручками, приплясывал возле колонны, словно стараясь свалить ее своими словами. Дополню еще, что я и сам испытывал тогда

страшное возбуждение, близкое к бреду. Эта встревоженность, эта взбулгаченность очень меня пугали, хоть я и смертельно устал и еще более смертельно желал спать, – ноги словно распаренные, – я непрестанно зевал, но Савелий Львович, пожалуй, взбаламучен был сильнее меня. Его алпаковый пиджачок, застегнуный всегда на три пуговицы, – распахнут, причем распахнут не случайно, как распахиваются все, когда вам, например, жарко или когда вы шатаетесь от усталости, нет, здесь полы были разведены с таким отчаянием, что я до сих пор не понимаю, какие обстоятельства помешали вырвать пуговицы с корнем, тем более и времени у него имелось достаточно для вырыванья не трех, а трехсот пуговиц – он ждал меня здесь с полуночи. Пуговицы эти он непрестанно ласково шнырял пальцами, словно их вскармливая, и они мало того, что обнаруживали его всполошенность, но и говорили, что в нем вместо четких размышлений клокотало воображение, увлечение и – надежда.

– Спозараночку я поднялся, Егор Егорыч, спозараночку, – забормотал он, тут же, через две минуты, сознавшись, что ждет меня с полуночи. Опровергаете ли вы утверждение, что вы являетесь ближайшим советником и другом Черпанова? Открою, была мысль самому с ним переговорить, но не лучше ли расставить, предварительно, силы с вами, при том условии, конечно, если вы работаете с ним, а не просто бродите около.

Вопрос его распахивал передо мной то, что я боялся распахнуть и бродил около. Ответ Савелию Львовичу был ответом и самому себе. Соглашаюсь, что и сейчас, спохватившись, я все-таки задержался с ответом; задержался я еще и от какого-то трескучего и брызгающего волнения Савелия Львовича, с которым он никак не управится, даром что управлял людьми четыре года – и как управлял! – но об этом после. И вот, закрывая свою сонливость и размягченность, наматывая, так сказать, все нити размышления на шпульку разума, я установил перед ним, что "не брожу, работаю и буду работать!" Он отскочил от колонны и, раскидывая полы, сверкая никогда не сверкавшими ранее пуговицами, помчался коридором. Все это меня столь занимало, что я безропотно ходил взад и вперед с ним. Он фыркал, пыхтел, подпрыгивал на одной ноге, его альпаковый пиджачок раздувался, делал его похожим то на мяч, то на рыбий пузырь. Многое от этого спотыканья было в нем искреннего, но кое-что понадобилось ему для выведыванья, для открытья меня толчком. Да и начало он выбрал не зря: обычная здесь ночная суета стихла, изредка скрипела где-то фанерная перегородка, раскачивались желез-

ные ножки ночного успокоения, видимо, кто-то пытался вспомянуть молодость – как ему пособить! – со вздохом он прекращал свое бесплодное тщение. "Тишина, – думал Савелий Львович, – удаляет препоны, натыкает на откровенности... случается..." И он набросился:

– Если так, Егор Егорыч, то встречать ли вам вначале экономическую обстановку или вас интересует вышибить на поверхность лицо, возглавляющее эту экономическую обстановку? Вне всяких препятствий, я сознаюсь, что дом, в котором вы сейчас живете, есть одно целое...

– Я давно так полагал.

– Приятно! И эта целостность, за последние четыре года, укрепилась еще круче.

Он обвевал меня хитростью! Я отвечал уклончиво:

– Если вы, Савелий Львович, желаете, чтобы я доложил Леону Ионычу экономическую обстановку, то, несомненно, ввиду хотя бы и того краткого времени, коим обладает он, лучше начать с лиц, тем более, что он будет вести с ними переговоры, но с лиц, опирающихся на экономическую обстановку.

Он возбужденно, несколько раз, кивнул головой, запачканной – и затасканной, с какими-то неуловимо грязными глазами:

– Приятно! Без всякой опасливости начну с того, что главная действующая сила здесь не Степанида Константиновна, и не Жаворонков, и не Насель, и не Ларвин, и не Тереша Трошин, и не прочие вообще, а главный здесь – я, Савелий Мурфин, присяжный поверенный, правозаступник. И четырехгодичный план, удачно осуществляемый, тоже мой.

Я бережно сказал:

– Любопытно и неожиданно.

– Еще бы! Неожиданно это не только для вас, мало знакомого с обстановкой дома, но столь же, если не больше, неожиданно было б и для Жаворонкова, Ларвина, Трошина и прочих. Осмотрительность, Егор Егорыч, в наше время самое важное – осмотрительность и недоверчивость. Четыре года назад поведал я свой план Степаниде Константиновне, и с той поры вам говорю о нем второму.

– А если я, вместо Черпанова, иному лицу сообщу? Пообъемистей?

– Мало ли какие сны видите вы, Егор Егорыч, нельзя же все сны передавать иным лицам, даже и объемистым. Да и головка может заболеть от неудобного сна. Так вот, Степанида Константиновна,

после того, как закрыли ее пуговичную и после принятия моего плана, жить начала опасливо, но лучше. На женщину, да особенно если инвалид муж с ней, который кроме "вон, контры!" и выговорить ничего не может, мало обращают внимания. Ну, спекулирует маслом там, молочишком, и прах с ней. А мысль моя о четырехгодичном плане возникла по поводу некоторых странных чисел эпохи, всяческих опасиц...

– Чего?

– Опасиц! Простонародное выражение, Егор Егорыч, нечто вроде такого времени, которое способно вредить. Приятно? Скажем, четырехлетняя война, закончившаяся телеграммой Макса Баденского от 4 октября 1918 года, гражданское неустройство и внутренние войны в СССР с 1918 по 1922 год; мирная, хотя и таящая в себе предначертания весьма грозного свойства, добыча от 23 по 27, когда возникает пятилетний план, опять-таки превращаемый в четырехлетний – и насаживают на нас 28, 29, 30 и 31-й годики-с, Егор Егорыч. Высушливые годики, откуда ни смотри, на касательно высушливости разрешите мне, Егор Егорыч, попозже, а сейчас даю вам растяжимость моего начертания. Растяжимость в том значении, что к концу четверочки обязательно в российских мозгах тушится одно и поднимается наверх нечто иное, часто выворачивая наизнанку первое, образцом совершенства представляя это "иное". Сделали заметку? Причем, сила расширения последнего года из четырех иногда перетаскивает свои остатки на пятый. Но тут мы бессильны, своеобразная выслуга лет, выключить ее невозможно, требуется быть равноценным природе, то есть ждать! Ждать! Величайшая из величайших способностей человека, Егор Егорыч, причем, способность довольно безопасная. Теперь касательно высушливости, Егор Егорыч. Опасаюсь, что вы истолковываете данное слово в смысле выпаривания из нас некоего мелкого духа, а я, мол, охраняю его и жалею. Ошибаетесь, Егор Егорыч, жесточайшим образом ошибаетесь. Я даже, в каком-то смысле, готов распространять коммунизм и социализм, но так, чтоб в него вошли все классы российского общества. Разве мы не дети одной страны, которая придумала, – да что там придумать! – осуществила идеалы многих тысячелетий. Стыдно мне б сопротивляться тысячелетним идеалам, Егор Егорыч. Ну-с, вот, вернемся к нашему дому. Теперь, представьте, что я, предвидя худое, надел бы и своим предложил надеть, в "противовес" гибели, – четырехлетнюю выносливость и терпение. Испарись, ответили б они мне, в "противовес" есть люди, оберегаемые прессой, общественным мнением, армией, рабо-

чим классом, и те дрейфят, а где же нам набраться терпения и выносливости? Бог? Исследовал я все небо, а не нашел там бога. Выгорел ваш бог, как лес в засушливое лето. У него рушат храмы, жгут иконы, переплавляют золотые ризы, меняют буржуям на машины бриллианты с рук угодников его, а он сидит себе одесную и шую, поглаживая вытюженную бороду. Извините, если вы религиозны, Егор Егорыч, но от бога они отказались, то есть не совсем отказались, а вот только четыре года терпеть отказались бы, если понадобится опереться на бога. Следовательно, я должен был развивать перед ними иные сроки, да и та удивительная ловкость, которой орудуют в "противовесе", не держа субъекта в одном и том же месте продолжительное время, а перекидывая его, как перекидывают мяч, лишает нас возможности укрепиться сплошным четырехлетним фронтом против одной позиции, то есть черпать жизненные соки из единого участка. Я предложил Степаниде Константиновне решиться на четырехмесячный план терпения. Соглашается. Разбиваю Москву на двенадцать участков, – но для себя! – срок обработки каждого участка четыре месяца: и разнообразно, и безопасно, так как – пришли, цапнули и скрылись. Себя не распустили, связь мелкая, подумают – гастролеры из провинции.

– Простой язык называет подобные действия кражей, – сказал я, волнуясь и весь дрожа.

– Человечество, милый Егор Егорыч, имеет много языков, а самый ценный – философский, философия, хотя того же Локка, учит, что "управление своими страстями есть истинное развитие свободы". Здесь ли, в четырехгодичном плане, не собраны воедино все страсти? Приглядитесь к лицам, которых я веду и сдерживаю! Они, борясь посредством четырехмесячного плана с четырехлетним "в противовес", так научатся управлять своими страстями, так разовьют внутренние свободы, что через четыре года – с другого конца, правда, – целиком присоединятся к коммунизму!

Я только развел руками. Савелий Львович залился вежливейшим тонюсеньким смехом. Чем дальше он говорил, тем больше он становился мне противен. Любопытно, все расширяющееся, неутолимое любопытство сдерживало меня от дерзостей.

– Таким путем, Егор Егорыч, разнообразнейшим путем добрались мы и до сухаревского участка.

– Здесь вам и встретилась корона американского императора, – с досадой сказал я.

– Именно! Приятно! Сейчас мы расширим эту тему. Должно за-

метить, что сухаревский есть самый вздорный и пустой участок из всех пройденных нами, здесь трудно распуститься. Возможно, вам любопытно узнать, как мы раскидывались и распускались, а мы расширялись, иногда, до того, что снимали неугодных нам завов универмагами и складами. Вначале, конечно, личные знакомства. Появляется перед завом или другим нужным лицом – букинист, – замечу, что среди подобных людей имеют спрос издания "Академия" вроде "Тысячи и одной ночи", причем мой план имеет, считая високосный год, одну тысячу двести шестьдесят одну ночь, а выкинув праздничные и выходные, тысячу одну ночь, и эта последняя ночь вот кончается сейчас...

Допек он меня этим последним признанием! У меня даже колени задрожали, и я прислонился к вонючей колонке. Он, опахивая меня ладошками, продолжал донимать:

– Букинист не берет, часовщик явится. Тот же Насель. Или продовольственник Ларвин. Или картежник и винных дел мастер Трошин. Или спортсмены Лебедевы... или, извините за откровенность, но истина всегда останется для меня дороже племянницы, Людмила Львовна, великий мастер сводного дела. Выпускали также и Сусанну, некоторые избалованные люди обожают холодность и сухость, особенно в блондинках, Егор Егорыч. Впрочем, Сусанна не столь холодна, как с первого взгляда кажется. Вот вы обругались кражей! Какая ж кража, если мы покупали по твердым ценам и продавали тоже по твердым, но, правда, мною установленным. Государственные вещи? А разве я не государственная вещь, разве на меня не простираются милости государства, разве я лишен карточки или паспорта? Затем. Я ставил перед собой философские цели, я воспитывал свободных людей, пока не выступил Черпанов. Я не позволял им заниматься валютой, золотом, мой план был разработан с удивительной точностью, добросовестностью, если хотите.

– Сухаревка подвела?

– Откуда возникло у вас, Егор Егорыч, такое убеждение?

– Корона!

– Забраковано! Сухаревка кое-что напутала, но сама истекла на этом деле кровью...

– Кровью?

– Иносказательно, иносказательно, Егор Егорыч. Братья Лебедевы, подстрекаемые отчасти Жаворонковым, отчасти своей жадностью и умаленностью своей роли, они были у меня чем-то вроде разведчиков, пошли наперекор и, посредством Население, хапнули из ма-

стерской несколько золотых часов. В мое отсутствие. Я ездил отдыхать на юг. Я вспыхнул, поджарил их следствием, – вел его лично, – передал дело в домовой суд, – вел лично, а затем изгнал их, простив Мазурского, так как он жених Сусанны, и вообще – дурак. Впрочем, Лебедевы тоже идиоты. Очень, очень крупное наслаждение, Егор Егорыч, бороться и побеждать. Ходишь осторожненько по участку – и видишь: вот выезжает вполне благополучный государственный транспорт. На дугах обозначение правительственного предприятия, против тебя необычайно организованное государство с его табелями, усовершенствованными цитатами из вождей, с путевками возчику, а все-таки воз – твоя добыча, он поворачивает и едет по твоей путевке. Отрада сердцу и взору, Егор Егорыч, управлять людьми, и вряд ли кому возможно выдуть из себя это наслаждение!

– Что ж, вы и мной управлять хотите? И Черпановым?

– Зачем, Егор Егорыч? Я вам развил людей и сам целиком капитулирую, да не выговаривая себе прибыли в развиваемом вами деле. У Черпанова чересчур опасная грамота, Егор Егорыч.

Мне хотелось выведать у него побольше:

– Неужели так-таки вы мгновенно распались от девяти сургучных печатей?

– Конечно, пропал! Но заглядывая глубже, хочется мне также, чтоб вы помогли разболтать столкновение двух могущественных интересов, которые появились в конце самого последнего из четырехмесячных участков. Работая вполне благоприятно, я все же понимал, что Степаниду Константиновну нельзя слишком усиливать, она возомнит бог знает что, пожелает самостоятельно решать сделки, напортит, а главное – не пускать ее в основной замысел предприятия, а попасть она туда могла, так как я часто пользовался услугами ее дочерей. Начал я ей разыскивать противника. Насель, он послушен и робок, но его, знаете, могли тоже на избранность, отборность – в смысле руководства – толкнуть его родственники, а через них он, сговорившись со Степанидой Константиновной, столкнет и меня. Очевидно, оставался Жаворонков. Поговорил я с ним наедине, начал его разгибать и раздувать, а он, – опираясь на бога, извините, – притянул к себе Лебедевых, а те чуть всего дела не повалили. С глазу на глаз выражаясь, я следил с живейшим участием за развитием конфликта Жаворонкова и Степаниды Константиновны, и этот конфликт, если его не прекратить, способен их разметить...

– Но вы ж его начали, вы и прекратите.

– Зачем? Кончается тысяча первая ночь, а люди, с внутренней

свободой, переходят к нам. А вы так-таки без единого конфликта имеете поползновение их принять? Черпанов избран для сплочения. Здесь вам нечего выпытывать, Егор Егорыч, я все открыл.

– Уловки! – воскликнул я, вспыхивая, – вы струсили бегства Мазурского, он вам мешает выползти, Лебедевых трусите!

Он словно ждал моего выпада. Он перестал меня беречься, внешнее его беспокойство исчезло, и голос, прежде угасший и дрожащий, он перевел на обстоятельность и спокойствие:

– Ясно, что при плановом хозяйстве не может быть кризисов, но как ни планируй, международная обстановка такова, что без затруднений не обойдешься, – социализм строить нелегко, всякий понимает, – и вот тогда, то есть при затруднениях, возникает мысль: не помогут ли вывести понизу ползущие силы. И тогда появляется Черпанов. Черпанов есть развязка. Он их выпускает, эти силы, прощает им прошлое...

– Иначе?

– Иначе они продолжают осаду, но с гораздо большим успехом, потому что приобрели внутреннюю свободу, то есть возможность найти любой исход.

– Вы черт знает что говорите, Савелий Львович! Иной исход! Да вас истребят, как мух, если вы будете сопротивляться строительству.

– Во-первых, я не сопротивляюсь, а помогаю строить, а, во-вторых, попробуйте истребить мух. Мух истребить совершенно невозможно, да что совершенно – хотя бы на две трети, как истребили малотурки, Энвер и Малаат-паша в 1915 году, две трети армянского народа, после чего имели право сказать: "Армянского вопроса уже больше нет, потому что армян нет". А невозможно вот почему. Тысячу лет вы прививали народу, через посредство церкви и философии, привязчивый и неистребимый гуманизм, однако сами не будучи гуманистами. Попробуйте-ка вы, появившиеся правители из народа, отбросить от себя гуманизм. Жалко человечка! Гадкий он, ничтожный, хитрый и вредный, а жалко резать! И нож бритвой, и возможности полные, и результат впереди прекрасный, и тратить сил много ли! – чик по горлу и все! – а жалко. Не в состоянии слезы удержать. Иную дорожку выбираете. Пустой спор, Егор Егорыч, не получится с мухами! Ну вот, возьмем вас, Егор Егорыч, к примеру.

– Какой же я государственный деятель, я выпадаю.

– Финтите! Однако же вы секретарь большого человека. И вот, допустим, вам бы приказали физически уничтожить всех живущих в

доме 42. Допустив наличие чрезвычайной у вас необузданности, все-таки на шестом человечке истощились бы ваши силы и поблекла бы вывеска. Да, сказали бы, вот если б у окопа, винтовка в винтовку, – а вообще не лучше ли их использовать, ну хотя бы временно...

– Ага, временно!

– Да, временно. Четыре года передышки и общественного спокойствия. Имейте в виду, что я говорю не про себя и не про тех, которых я вел и переделал, а про других – их еще много, ибо помните, что в 1927 году частное капиталовложение в государственное дело достигало 30%, – которые готовы к борьбе и борются. Вот я не допускал валютных дел, бандитизма, а они не брезгуют ничем. Четыре года солидирования! – кричите вы. Приятно, отвечают они, через четыре года неизвестно еще, какие силы возобладают. А тут для разливки спокойствия появляется Леон Ионыч...

Я испытывал крайнее негодование:

– Не равняйте Леона Ионыча со сточной трубой. Полагаю, Черпанову вы не менее омерзительны, чем мне.

– Боюсь, вы слишком однообразны, Егор Егорыч, в своих суждениях. Ваши обязанности, как секретаря, доложить Леону Ионычу мои предложения.

– Вносите их! – завопил я.

– Я внесу лично.

– Выторговать хотите побольше!

– Пускай так. Я предлагаю прекрасно сделанный аппарат, чудесную материю в две тысячи триста восемьдесят восемь рабсил, готовых хоть сейчас для выставки и пробы труда, надо вывести только смысл наименования. Касательно же вашего утверждения, что я боюсь Лебедевых, – они, пускай, грубияны и вообще готовы для пули, то я племянников своих, Осипа и Валерьяна, рекомендую вам познакомиться короче, вооружил финками, кроме того, разве мало способов заиграть вредную личность, будь их и пятеро.

Вязкие грязные соображения внезапно шевельнулись во мне: а если Черпанов направил Савелия Львовича испытать меня, если он тащит меня к тому, чтоб я проявил малодушие? Взволнованность его, искательство и то, что он покорно выслушивал мои оскорбления, убеждали в противном, я не мог отцепиться от своих соображений, они плелись на мной, кисли во мне, – особенно странное появление этой цифры 2 388 рабсилы, – я чувствовал себя уходящим в какое-то топкое дупло, в какую-то болотистую вымоину...

или я устал слоняться туда и сюда по коридору... как бы то ни было, выморенным голосом я сказал ему:

– Припоминается мне по этому случаю... был он настолько вежлив, что когда знаменитый человек посетил его и стал коротко обходиться с его супругой, то он, сидя на диване, притворился спящим. Брат жены, воспользовавшись случаем сна, потащил со стола, возле дивана, деньги. Он вцепился ему в волосы, сказав свирепо: "Неужели ты думаешь, идиот, что я сплю для всякого?" – Про него же говорят, что когда жена упала с порога, грохнув блюда и жареную курицу в пыль, он заключил: "Так-то и я могу носить". – "Можешь-то можешь, – ответила жена, – но поскольку ты увидал это от меня!"

Когда я отделился от колонны, чтобы идти к себе, Савелий Львович исчез. Еле-еле, полусонный, добрел я. Доктор спал на спине, правая ладонь его уткнулась в левое ухо, у изголовья лежал лист бумаги. Я прочел: "Разбудите в 11. Выезжаю завтра Негорелое". Я горько ухмыльнулся. Как и что теперь мне ему сказать?

Ну и нагрузка – секретарь большого человека!

XXXVIII

Токмо волнением объясним мой сон в течение почти целых суток. Я, если вы помните, лег ранним утром, а проснулся глухой ночью, часа в три; проснулся с выученной крепко-накрепко фразой: "Э, так вот ты какое задумал!" И фраза эта относилась к доктору. Он шнырял по комнатке, настолько горбясь, что казалось, он пробует приспособленность своих четверенек. Глаза его неимоверно блестели, хоть гаси. Я привстал, чувствуя себя страшно легким и очищенным. "Лежите, лежите, я на минуточку, за ножиком, – сказал он. – По очень сходной цене приобрел петуха. Будем стряпать, того ради будет обед небывалого размера". И точно, подмышкой его теперь лишь я разглядел петуха. Как ни толкуй вкривь и вкось причины важности этой птицы, одно бесспорно покамест, что пред нами был весьма крупный экземпляр с превосходным нежно-серым оперением, похожим на дым папиросы, с маленькой головкой, украшенной синим, переходящим в черный, гребнем, и с огненно-рыжим хвостом. Ноги его были связаны носовым платком. Сидел он спо-

койно, и что-то неестественно умное выражал его взгляд, истоки чего-то обезьяньего, если не человеческого. На мгновение даже я смутился, глядя в его вразумленные глаза, на мгновение подумал даже: "Не сплю ли я?" И отвел взор. Петух опять нашел меня. Его глаза передавали мне такое презрение, с каким ни один человек не смотрел на меня никогда, и опять я подумал: "Нет, сплю, откуда петуху так смотреть?" Побуждаемый, скорее всего, этой тревогой, я сполз с тюфяка и босой ногой начал шарить на полу ботинок, все еще глядя в удивительные, я бы сказал, изливающие повеление глаза петуха. Заноза впилась в ноготь большого пальца. Я тотчас же выдернул ее – и рассмеялся. "Чего вы?" – спросил доктор. "Да мне показалось, что сплю, – ответил я. "Сквозь рассвет, вставая, всегда кажется, что спишь", – ответил весело доктор, шаря в узелке, где мы хранили пищу. – "Вам иод?" – "Прошло", – ответил я, поспешно натягивая ботинки, вместе с тем искоса взглядывая на петуха. Из-под синего гребня петух наблюдал за доктором. Скоро доктор достал ножик, из тех, которые именуют "сапожными" – откуда он у него? – попробовал пальцем лезвие – и, честное слово, мне показалось, что петух ухмыляется. "Сами будете резать?" – "Другие", – ответил доктор уклончиво. И тогда я, стараясь поймать глаза петуха, сказал: "Разрешите мне прирезать!" И опять доктор с несвойственной ему уклончивостью ответил: "А там видно будет". – "Да вы не опыт какой ли намерены производить?" – "А там видно будет", – опять выпустил доктор. Петух теперь уже сидел на руке доктора, глядя куда-то поверх моей головы и будто говоря своим поразительно умным взором: "Нет ли у тебя, доктор, резака крепче сего?" Подстрекаемый этим особенным презрением, я быстро накинул платье. Доктор, нетерпеливо постукивая каблуком, ждал меня. Петух сидел бездвижно, и если б не его глаза, то вы б подумали, что на руке доктора сидит чучело. Торопливо покинув комнату, мы – еще более торопливо – почти бегом, устремились коридором. Молча, по лестнице, глядя на выходную дверь с мертвенно-вялым лицом спускался Жаворонков. За ним плелись старушонки, жена, дружно, с внезапным натиском, скатились тощие дети. Затем пробежал, опережая нас, Тереша Трошин с кучей гостей с заспанными лицами и картами в руках. От них несло вином, они что-то еще жевали, – и все они жадно смотрели пристально на дверь, словно желая ее опорожнить, как незадолго перед тем опоражнивали бутылки! Показался Насель в гладко выутюженных брюках, окруженный уймой родственников. Ларвин со свертком масла, похожим на полено. Валерьян Львович с велоси-

педом и обнаженной финкой, с финкой тоже и с тортом в руке брат его Осип, мамаша их Степанида Константиновна с запахом иодоформа, с баночками медикаментов; Людмила, подмигивающая и подсматривающая – с губами сводницы и отъявленной стервы, из карманов ее сыпался овес; Сусанна, холодная, безвольная, в туфлях на босу ногу и пальто в накидку; старик Мурфин, багровый и задыхающийся; нырнул и скрылся Савелий Львович и, напоследок, я увидел Мазурского и за ним четырех стройных молодцов в спортивных костюмах и с кулаками величиной с хороший табурет. ”Лебедевы, – подумал я, – да и Мазурский, видимо, пошутил, остался в Москве”. Шли не только перечисленные, но и вокруг каждого теснились – на три, на четыре стороны – много чужих, но все-таки чем-то знакомых людей, должно быть, из тех, которые приходили сюда ночью с узлами, которые вкатывались на грузовиках ночью, – неискоренимые! – грузили в подвалы, на чердак, приводили пьяных извозчиков и жадных мужиков с тощими глазами. Светало. Где же Черпанов? Давно людской поток широко лился во двор, а коридор все еще был полон. Розовато-голубой, с каким-то фарфоровым блеском, преувеличенно настойчиво превознося свежий воздух, показывала двор и булыжник – распахнутая дверь. Вдруг мы остановились. Трубное урчание пронеслось по толпе. В голубом четырехугольнике показался доктор Андрейшин. ”Пожалуйста” – воскликнул он отменно-протяжно. Когда он ускользнул от меня? И почему все нет и нет Черпанова? И опять я подумал: ”Да не во сне ли это все я вижу?” И хотя у меня имелись спички, но я попросил их у соседа. Тот сунул мне их, не глядя на меня, а рассматривая розовато-голубой четырехугольник, где спиной к булыжникам, тряся петуха возле плеча, стоял доктор Андрейшин. Я закурил и нарочно держал спичку до тех пор, пока она мне не обожгла палец. Отвратительный табак и волдырь совершенно разуверили меня, исчезла мысль о сне, но снизу, сознание истощая, накинулось: ”А не глава ли он какой-нибудь мистической секты? Да не простой, а с древними ритуалами. Петух! При чем здесь серый петух?” С тех пор, как я его узнал, он всегда проявлял редкую ненависть ко всему мистическому и метафизическому, но мало ли найдешь людей, которые говорят одно и кои думают: обведем, будет ладно и ладан будет. Я начал искать Черпанова. Он, плохо выспавшись, стоял у дверей ванной, сплевывая и почесывая о косяк спину. Я – к нему. Шаг. Другой. Дальше: пустая ванная, и от воды пар. Какой смысл из этого всего выбирать? ”Пожалуйте!” – еще раз прокричал протяжно доктор и скрылся. Толпа хлынула, увлекая

меня с собой. Ни около, ни близ, ни внутри – нигде не нашел я Черпанова. Широкий двор, подчищенный, разряженный крупной осенней росой, но в то же время чем-то бесстыжий и наглый, мгновенно сплошь наполнился толпой. Особенно густо набилось вкруг доктора. "Егор Егорыч, да вы поближе!" – крикнул он мне. Я протискался. Доктор поднял нож, – страстное любопытство отразилось у всех на лицах, – петух наклонил голову, и я утверждаю, что он, поморщившись, чрезвычайно неохотно закрыл глаза. Доктор взмахнул ножом. Вздох, тихий, выстраданный и какой-то вывихнутый, проплыл по толпе. Но доктор, – признаюсь, я плохо разглядел, – промахнувшись, что ли, полоснул петуха меж ног.

Петух взмахнул крылом, бессовестно и дерзко топнул ногами, повел плечом, фыркнул, – уверяю вас, – фыркнул. Два белых жгутика – половинки распоротого платка – упали на землю. Петух вскарабкался на плечо доктора, еще раз фыркнул – и через головы толпы – перелетел к распахнутым воротам, где некогда доктор пытался сковырнуть сконсовые усы Леона Черпанова. Толпа молча хлынула к воротам, нога в ногу, – к петуху. Петух – шаг вперед. Толпа споткнулась. Петух присел. Выпрямился и чинно зашагал переулком. "Лови!" – крикнул чей-то трубный голос. Я кинулся. Я услышал за собой мягкий топот многих ног. Я, не оборачиваясь, бежал. Помню, мне страстно хотелось поймать петуха. Но уже населевские родственники, стараясь пресечь путь петуху, далеко забежали вперед. "Пускай он бежит", – думал я, однако опережая всех и уже протянув руку, дабы схватить его за огненный хвост. Петух чуть-чуть приостановился и выкатил на меня такой умный человеческий взгляд, что руки мои опустились, я остановился – и толпа далеко оставила меня за собой. Замедлив шаги, – тем более, что я сильно запыхался, – я имел теперь возможность оглядеться. Мы уже находились на Остоженке. Брыкаясь и украшая бег бранью, выскочили трошинцы, на ходу засовывая карты в карман. Петух несся далеко впереди, потрясая огненным хвостом и широко разбрасывая ноги. Трошинцы раскраснелись, капли пота катились с висков. "Лови! – легонько оттолкнув меня, проскочили трошинцы, добавив: – рутина! Отстаешь, а в деревне что скажут?" Дурацкий этот упрек подействовал на меня странно подкрепляюще. Я, уже не чувствуя усталости, опять кинулся, вначале твердя про себя, что ко всякому делу самое важное – привыкнуть, остальное зависит от таланта, затем более важное – проспаться. Да и что размышлять? Помочь размышления не могут, а ноги спутают. Меня кое-где обгоняли, то я кое-кого обгонял. Там

отстал Трошин и его трошинцы, теперь они мелкой рысцой трусили возле меня, ощипанные какие-то и запыленные; здесь вперед выбежала Степанида Константиновна, мелькнуло алебастровое лицо Сусанны и карельской березы ее локон, тонкие губы Людмилы – но сдали, отстали; тут опередил всех, возле храма Христа Спасителя, Жаворонков, в руках его я увидел перочинный ножик, искореняющий зло, возглас вылетел из горла! "Этот прирежет, поймает", – подумал я, но – чудное дело! – и Жаворонков к серому петуху не ближе, чем остальные. Петух! Допустить бы ему нас еще шага на три, – и готово, а куда там и на пятнадцать! Он прибавлял такого шагу, так замахал искрами своего хвоста, что самый застарелый пот вылазил с самого нутра и струился непрестанно от ушей до пяток. А тут еще различная рухлядишка на руках, поневоле отстанешь. Мы страшно сердились и обижались друг на друга, если кто перегонял, – куда ему, дураку, идти вперед? – а раз перегонял, общая тревога, ругань наша сменялась благожелательством и даже заискиванием: мы спешили перекинуть ему ножик. Уже по городу двинулись трамваи, я думаю, было начало пятого; я не могу восстановить точно, потому что часы Пречистенской площади завешены были почему-то номером "Известий"; уже последние грузовики вывозили из-за дощатой ограды вокруг храма Христа Спасителя "облагороженные" детали древне-русского стиля; уже на классических формах купола попригнездились рязанские и пензенские мужики, сортируя отбросы; уже из окон трамваев раздавались в наш адрес до конца изнеможенные возгласы: "Я понимаю мертвеца пропустить, автомобиль, но надоели нам пробеги!" В трамвае, наверное, до того их давили, что петух, – к слову сказать, покрасивевший очень от бега, – не пробуждал ни негодования, ни даже внимания, разве что слаб был выбор ругани, предназначенной для птиц. Подумают, бежали мы сломя голову! Бежали мы, я б сказал, деловым бегом, который как будто бы и бег, а поприглядеться – и не бег. Да мало ли, к чему надо приглядеться, мало ли где попригнездиться и мало ли кого приголубить!

Не спорим, Егор Егорыч, не спорим, – поприглядитесь! Москва, она еще среднего роста, но она упирается уже в тысячелетнее величие, уже многие будущие века она омеблировала советскими скамьями и воздвигла трибуналы. Москва! Иной уже нет, иная есть, иная будет. Москва! Видеть ее, поздороваться, пожать ей руку, прежде чем ее расхлябанность и рыхлость, ее пыльность улиц зальется асфальтом, – уже поздно. Вот Егор Егорыч выбегает на площадь, где был Охотный ряд, еще он помнит и церковь Парасковьи Пятницы с

ее удивительно подобранными колоколами, ему б полюбоваться дольше, но он, ощущая сегодня удивительную легкость, уже выскочил, вслед за серым петухом, на Театральную площадь, к Дому Союзов, где в зале с колоннами, похожими на стеариновые свечи, а люстры на догорающий бенгальский огонь, уже заседает очередной съезд, уже стоит перед микрофоном докладчик, за его спиной диаграммы, выше портрет Вождя. Делегаты записывают, а доклад идет или о стачке где-нибудь в Силезии, об эксплоатации цветного труда на Гвинее, или о постройке электростанции на Вокше, у сердца Памира, там, где за две сотни километров, за горами, стоит, прислушиваясь к шелесту красных знамен, Индия. Вы помните этот год, когда Москва внезапно покрылась пленкой лесов, как бы желтоватой вуалью; когда ринулись ночами к этой вуали телеги, вагоны и грузовики с кирпичом, цементом, деревом; какие картинные возчики в оранжевых балахонах от кирпича сидели на возах; как в закоулки вылезли рельсы, голубая сварка визжала над ними!.. Пусть через столетия покажутся наивными (так же, как и эти строки) — все эти машины, черпающие и перевозящие землю; эти заводы, обрушивающие на нас металл, выжимающие у человека отвратительное покровительство прошлого; эти самолеты, это оружие, эти танки и эту конницу, пусть, но никогда человечество не увидит такого умения и жажды напрячь свои силы, таких трогательных истоков героизма!..

Петух свернул на Тверскую!..

Петух повернул на Тверскую!..

Тверскую!

Извините меня, дорогой составитель, что я столь нагло прервал ваши размышления. Помимо того, что вы влезли в роман, присвоив самый отборный кусок, который я хотел приберечь для себя (мы с вами близки, но не до такой же степени!), вы еще изводите нас прорицаньями, и со всем тем петух, действительно, повернул на Тверскую. Прекрасно, мы еще лучше изловим тебя на Тверской. Прекрати широко шагать! Уткнись в здание почтамта, его силуэт вырезан прежде, чем революция решила дописывать до конца далекий образ пятилетки; здесь долгие годы стояли развалины, ютились беспризорники и бандиты, и как раз относительно этих развалин Б. Пильняк утверждал когда-то составителю, что здесь на него, Б. Пильняка, писателя, напали бандиты и вернули золотые часы, узнав, что он писатель и, главное, считая его за отличного писателя! Сколь чувствительны наши бандиты! Однако петух, узнав о Б. Пильняке, переметнулся через голову и забежал в Камергерский, где, остановившись перед

Художественным театром, крикнул: "Ку-ка-ре-ку!" – Но они еще спят, эти великие актеры: Станиславский, Качалов, Москвин, Хмелев, Баталов, Ливанов и другие, иначе б они непременно вышли, непременно полюбовались бы этой странной толпой, этим удивительным петухом с человечьим взглядом, не только б сумели отобрать для себя что-нибудь поучительное и полезное, но и в этом петушином взгляде они б обнаружили нечто поприободряющее; нечто от уловок зверя и лукавства человека, словом, какое-нибудь новое доказательство, новую возможность нафаршировать вдоволь свою систему. Пустые отговорки! Петух бежит дальше. Вот выемка: багровое здание Моссовета, статуя Свободы. Отсюда начинают клики манифестанты, здесь пробуют голоса, здесь уютно и тепло крикнуть – да здравствует! – чтобы затем пронестись в каком-то ошеломляющем урагане по Красной площади – и ничего не запомнить, а увидев фотографию вождей, глядящих с Мавзолея, машущих фуражками, попрекать: почему ты не видел эту фуражку-шляпу, эти брови, эту руку с саблей, эти трубы оркестра, словно переплавляющие солнце! Люблю я Страстную, памятник поэту, которого наивный скульптор превратил в великана, – люблю, пройдя, взглянуть на решетку Музея Революции, а затем выйти на кольцо "Б"...

"А ведь, знаете, тяжелая штука – секретарь..."

Петух несется неудержимо. Отсюда, от кольца "Б", без отговорок разворачивается во все стороны заводская, лихая, фабричная Москва! Электричество, автомобили, аэропланы, текстиль, сталь, книги, недоговоренность проектов, лаборатории: от молний ВЭТ'а до крошечных колбочек любителя; ампирные особняки; деревянные домишки с палисадниками... Но ты, чье стальное сердце бьется неустанно, ты куда нас ведешь, петух? А он крутит, сворачивает, возвращается, кидается вперед – переулками, бульварами, улицами; вот мы промчались мимо Сухаревой башни, знакомые ринулись с рынка. "Куда, куда?" – кричат они нам, изумленно смолкая, потому что мы пробегаем мимо. "Нас не проведешь, – думают они, – тут найдется пожива!" И они устремляются за нами. Мы, не останавливаясь, обгоняем грузовики, трамваи, мимо везут кирпич, строят дома, мимо нас мелькают вокзалы, катят поезда, груженные шпалами, чугуном, лесом, гвоздями, везут хлеб, сено, мясо, тысячи свистков, тысячи рельс, дорог, мостов, вокруг все строится, льется бетон, сталь, ползет нескончаемо текстиль... Я призадумался: куда он бежит? Уже перед нами Воробьевы горы, уже Нескучный сад прилег изворотливыми тенями. Здесь-то, среди березок, мы его и поймаем,

петушка! Уже за полдень. Река согрета купающимися; сталкиваются лодки, гудит глиссер, мелькают пароходики, – и чертовски хочется жрать, тем более, что река похожа на нож, коим перво-наперво режут хлеб. Окаянный петух мчится и мчится. Ежели он не остановится?.. По шоссе едут в город колхозники; уже вплетены мы в бесчисленные ленты огородов; уже наливаются сивые кочаны капусты, они похожи на растрепанные пакеты, которые идут из Камчатки в Тифлис и находят там уже ликвидком, откуда их, на всякий случай, направляют в Москву, а последняя, слегка подумав, шарахает их в Ташкент, тот, скосив узкие глаза, гонит их в Ленинград, и из Ленинграда идут они, растопырив бока, многоглазые, круглоглазые, обратно на Камчатку, – все-таки добившись слабого сходства с кочаном капусты. За кочанами – золотые кочаны Новодевичьего монастыря. Фу ты, штука какая, здесь бы попригорюниться, хватить бы насчет неудачной любви к курчавой ученице художника, прибывшей из Тифлиса и поселившейся у Новодевичьего, был у меня такой случай, да где там отмечать неудачи, успевай подбирать пятки, ибо петух заворачивает влево, перед нами встают Фили, – петух опять влево. Кончено, я не могу больше бежать, – пусть бежит, если хочет, составитель! – этак он черт знает куда добежит, до Кунцева, до Звенигорода или до Смоленска! Ага? Устал! Зевает!! Нюхает по ветру? Петух остановился на Поклонной горе, изнеможенный и клубящийся паром. Близ него копает картофель деревянной лопаткой рухлявая старушонка с крючковатым носом и желтыми височками. От усталости, что ли, но меня больше, чем судьба петуха, занимает: "Почему старуха роет деревянной лопаткой и почему не взглянет на эту, прибежавшую сюда, громадную толпу?" А петух? У, противно и помыслить, что кто-то сейчас чиркнет ножом по тоненькому горлышку – и судорожно ударят в землю серые крылья. Я совсем повернулся к старухе. "Гума-а-нисты..." – несся откуда-то рядом вежливейший шепот Савелия Львовича. "Да ну вас, – я ненавижу петуха, истинно! – режьте все же его сами!" Выбраться лучше на простор, погулять полями, – ради того я тронулся из толпы. Меня остановили, кто-то ласкающе повернул мою голову от старухи к петуху. Попризатихло. До самой смерти своей петух будет теперь окружен широким и плотным кольцом, похожим на хоровод. Мое плечо давят вниз. Ага! Мы приседаем на корточки, дабы петух не проскользнул между ног, а перемахнуть через нас у него нету сил, – это ясней ясного! – он распустил врознь серые свои перья, его клюв раскрыт, он тяжело дышит, впрочем, глаза его по-прежнему умны и, пожалуй, еще умней.

Я креплюсь, но все шире во мне распластывается неодолимое желание: пора отполоснуть эту маленькую голову, туда ей и дорога! И мы, словно вприсядку, полуползем. Круг уменьшается – и вот, когда кому-то лечь и сделать пилящее движение рукой, вдруг этот странный многолюдный хоровод разомкнул руки, низко склонился, лбами коснулся земли, изрыгая препротивную почтительность. ”И если мне тоже быть почтительным, – с озлоблением думаю я, – то перед тем, как лишиться остатков уважения, не надо ль взглянуть: кого ради я лишаюсь?” Я и поднял свою, уже почти склоненную голову. ”Вот тебе и секретарь большого человека!” – шепчу я оторопело лишь для того, чтобы шептать.

Петух стоит бодрый, веселый, выпрямившись, задрав голову. Одно крыло он заложил за спину, другое за серый борт сюртука, в разрезе коего виден крап белого жилета. Его гребень передвинут, кренится набок и принял явственные очертания черной треуголки, то есть в ее современном очертании.

XXXIX

– Егор Егорыч, – услышал я, – хватит спать. Ибо долгие сны похожи на то изречение бедняка, к которому ночью залезли воры: ”Чего вы, идиоты, ищете здесь ночью, когда и днем здесь ничего найти невозможно”. Кроме того, надо варить петуха.

– Петуха, – вскричал я, вскакивая и протирая глаза. – Чрезвычайно странный сон! А кто прирезал серого петуха?

Доктор сказал, что к великому его сожалению, он не поинтересовался узнать, какого цвета был петух и кто его прирезал, ибо петуха на рынке он купил и ощипанного и прирезанного. И точно, на руках его лежал петух. Переложив его на левую руку, а правую подняв к уху, доктор заметил, что, наверное, целебные свойства петуха помогут ему, доктору, почувствовать себя лучше, с рынка он возвращался совсем ослабевшим. Затем он вернулся к положению с Сусанной, видимо, вид у меня был оторопевший, и он пытался найти тот мотив в разговоре, который бы заинтересовал меня.

Он все еще не нашел фразы, которая проникла б до самой сущности холодного Сусанниного "я", в то время, как все данные ее конституции указывают на чрезвычайно яркий темперамент (характеристика), значит, надобно употребить точно измеренную фразу, но пока, он убеждается все больше и больше, необходимо выступать с поступками, которые в виде извлечения могли б достать из нее скрытые эмоции. Он, например, с удовольствием влез бы в курятник и прирезал чужого петуха, но, к сожалению, нет ни одного чужого курятника, затем как она посчитает его поступки, просто ли хулиганством или хулиганством, так сказать, возвышенным, ему кажется, что ее конституция позволяет так и думать, что здесь необходимо чрезвычайно возвышенное хулиганство, кроме того, надо во что бы то ни стало, раз мы сюда попали, вскрывать всю мерзость этого дома и все их мелкие страстишки, обобщать их, ибо ей будет сообщена вся мерзость их поступков, и она должна полниться нашей миссией и тем обследованием, которое мы производим. Исправление заключается не в том, что она сознается, а в том, чтоб ее натолкнуть, что мы знаем об организованном ею преступлении, мы ждем от нее перелома, зная, что она выдающийся человек и произошла ошибка, которую мы ей поможем исправить. Вот если б натолкнуться на одну фразу, я могу произнести речь по любому поводу, начиная от и до истории Винландии, о которой говорил еще Вашингтон Ирвинг, вероподобное повествование об этом находим у С. Стурлесона в его саге о короле Олая, Мальбрун и Фольстер не сомневались в истине этих простых и правдоподобных повествований, исследователи допускают, что северный берег Америки открыт еще за 500 лет до Х. Колумба.

Впрочем, мы, кажется, отвлеклись от истории Сусанны, но вот нет ли у нас какой-нибудь фразы, с тех пор как вы ушли сюда, у вас непременно должны быть такие фразы, к тому же... Прошел уже день, мне пора потрезвиться и, кроме того, прекрасный мотив для того, чтобы у ней выступило наружу...

Он кинул мне внезапно на руки петуха и выбежал.

Здесь я опять умолчал, но если я молчал там, во вчерашнем дне, то я сейчас просто обязан был рассказать о Сусанне, но история ее тесно переплеталась с историей Савелия Львовича, а это последнее упиралось в Черпанова, в его план и в его документ чрезвычайной важности за девятью печатями, тут как ни приукрашай, но задумаешься – пускай его доктор бежит, я подумаю.

Но тут в дверь постучали; мальчик, спросив, я ли Егор Егорыч, кинул мне сверток бумаг, я развернул его, и мысли мои потекли в другую сторону, отделывая жизнь, так сказать, и заставив меня отложить беседу с доктором, предоставив его самому себе. Доктор вбежал на минутку, осмотрелся, примерил что-то такое в воздухе, сказал, что здесь посредине будет стол, и вскоре исчез, даже не посмотрев на меня, посоветовав натянуть мне штаны, ибо скоро придут гости. Я все-таки порадовался, решив, что он желает, наконец, объясниться с Сусанной и я скажу ему, что и мне уже поздно ехать в дом отдыха и ему в Негорелое тоже поздно.

Если вы около меня поставите то смущение и нерешительность, о которых я говорил выше, без особого удовольствия я раскрыл планы, но вряд ли я провел когда-нибудь минуты ярче тех, которые я провел там. Это были чертежи того комбината, о котором неустанно говорил Черпанов, причем планы и чертежи тех зданий, которые относятся к бытовому обслуживанию рабочих, служащих и инженерного состава. Я разом понял Черпанова, его восхищение, преследующее его сухое лицо, понял, что достаточно взглянуть на эти планы, чтобы стало понятным стремление совершить такое, чтоб поразить всех.

Я не особенно верил его исповеди, может быть, ему казалось странным, что человеку поручили такие полномочия, может быть, он стыдился и роль, по его масштабам, казалась ему малой, есть такие странные честолюбивые люди, почему он должен собирать рабсилу, и, возможно, Лебедевы приплетены тут сбоку, и выигрыш в 75 000 рублей, и то, что он таким странным способом, как набор рабсилы, хочет вернуть себе обратно эти деньги, странным казалось, например, что это за пакет и кем дан, и если он совсем без полномочий, то кто и что ему написал, здесь полнейшая путаница; я падкий на таинственность, ко всему присматривающийся человек, и то задумался. Я брожу окрест, и Черпанов меня испытывает. Пускай. Меня не так скоро поймаете. Я умею молчать и держать про себя, посмотрим.

Здесь мне, во-первых, попалась баня. Такой чудовищной приспособленности, чтобы выжать из человека грязь, пот и мерзость, я сразу же понял, добраться до его кишок, промыть их, прополоскать мозги, пропарить мозг на полке – и все это, учитывая особенности уральского климата и уральского человека, все это видно по тому, как сложены камни и бетон, дома побежали с газом, лифтами, дружно встали разноцветные клумбы перед домами, даже выпал ли-

сток отдельно с рисунком частокола: в жизни я не видел такого частокола, затем я увидал библиотечный зал в клубе и даже можно было разглядеть, что все читают... и, наконец, появился сам клуб; из уютной шахматной выкатитесь в огромный зал, облицованный камнем; здесь говорит, скажем, чахоточный оратор, но вы все 5 000 человек имеете возможность курить, так как чудовищные вентиляторы выжимают воздух, гнилой и тягучий; в конце концов понял я: вредно не столько то, что мы курим, сколько то, что не проветриваем наших прокуренных помещений. Я долго любовался клубом.

Я медленно обошел все его залы и комнаты, особенно долго задержавшись в детском театре. Что вы там ни говорите, но мало, слишком мало, заботимся мы о детях, подумал я, т.е. мы заботимся о них много, во много раз больше, чем раньше, лет двадцать, но все-таки мало им даем чудес, книжки для них скучны, как требники, игрушки однообразны и дороги, а здесь предо мной развернулись все чудеса надземного и подземного мира, я увидал полет аэроплана среди облаков, плывет подводная лодка, акула жрет и не сожрет человека, он в резиновой одежде, и многое другое.

Затем я спустился вниз, в подвалы, в аппаратную, обслуживающую клуб, в кухни, отопительные и прочее. Этот блеск нельзя набросать легкими штришками, здесь на глубине четырех-пяти сажен под землей было не темнее и не грязнее, чем наверху, здесь человек, занимающийся трудом, чувствовал себя не хуже, чем люди в зрительном зале. Затем я поднялся на крышу в ресторан, буфет увидел заставленный закусками, сыры, колбасы в бревно, водки, наконец, но нельзя пьянствовать в таком клубе, здесь никто не напьется, ибо каждому хочется трезвыми глазами ощущать и видеть все эти чудеса. Затем опять передо мной побежали чистые улицы, залитые светом, прямые голубые горы, леса вокруг, полные ягод и грибов. Нет, несомненно, великие художники задумывали этот план.

Я увидел удивительное творение, я простил Черпанову, ложь ли, правду ли, все равно.

Я решил умолчать о подвигах Синицына, исповеди Черпанова, Сусанны и Савелия Львовича, умолчать и остаться – впредь до особых его распоряжений. Я только не знаю, говорить ли о предложениях Савелия Львовича или пусть он сам расскажет. Я просто стеснялся теперь перед Черпановым и понял, насколько легкомысленны и глупы были мои размышления насчет легкости жизни секретаря большого человека. Поприберег бы я их для себя, а то суюсь туда же. Размышления мои были прерваны. Запыхавшийся, но с лицом чрез-

вычайно воодушевленным, вымазанный в известке и кирпиче, в дверях стоял доктор. "Где вы в кирпиче-то успели вымазаться?" — спросил я. — "А вот", — сказал он, отступая. Каменщик, в фартуке, белобрысый и рослый парень, стоял за ним. В руках он держал, ухмыляясь, громадный противень с замороженным поросенком. Второй, еще более ухмыляясь, — подальше, с бутылками. Затем еще росли улыбки и каменщики: с сырами, сардинками и проч.

Я опешил. Откуда столь быстро он мог достать закуски. Я осведомился, что не свадьбу ли мы справляем. "Нет, смелость, — ответил доктор. — Чрезвычайно удачный план. С одной стороны, лихое как-будто бы и нападение, с другой стороны,я выиграл пари у Тереши Трошина. Ибо прошло более суток, как он должен был представить пятьдесят голодных и не представил, а я решил собрать пятнадцать сытых, которые и разделят со мной выигранный обед. Я имею ведь право распоряжаться им, как хочу". — "И он выдал его вам безропотно?" — спросил я. — Каменщик с поросенком сказал: "Чудной гражданин. У нас, граждане, говорит, обед. Вы разбираете храм Христа Спасителя, вы безбожники, смелый и беспечный народ... Сначала мы и не поверили, а затем решили, что с женой развелся. Рассказывают, что в Москве много таких, с женой разведутся, она ушла не известно к кому, знакомого позвать невозможно, может быть, она к нему и пошла, ну и приглашают первых встречных, и вот, как разведут, обязательно такой обед устроят".

— Сносно сказано, — завопил доктор. — Расставляйте закуски, Егор Егорыч, я Трошина позову.

Я спустился в погреб поставить петуха, но затем вижу: сундук открыт. Ясно, психологически рассуждая, он признает свой проигрыш и не дорожит своей пищей. Это на языке психологии называется... "Рассаживайтесь, ребята. Главное, промолчать, здесь не только не обижать человека, главное в нашем деле — осторожность". Он исчез. Каменщики расположились рядами, один выше другого.

— Отличная закуска, — сказал каменщик. — Успеем ли в перерыв обмозговать?

— Калуцкие да не успеют?! Успеют. Где хозяин-то? А... вот и хозяин!

Доктор проталкивал заспанное лицо Тереши Трошина. Я напряженно смотрел, чем это кончится. Тереша Трошин, конечно, не узнал свои закуски.

— Не к нему ушла? — спросил каменщик, наливая водки, затем раздумал и хватил хересу.

– Нет.

– А то что-то он скучный.

– У меня сегодня вечером крупная вечеринка, хочу, знаете, Черпанова вовлечь в игру, что-то он скучный, вот и готовлюсь, на какую бы он игру пошел... есть... и вот вина... Отличное вино. Где достали?

– Он достал, – сказал каменщик, указывая на доктора, уже захмелев, – то есть до чего чудной гражданин. Непременно, значит, жена сбежала. Ты ее только не бери, она сволочь. Конечно, Москва. От Москвы мы непременно ждем чуда, учимся, воспитываемся, перед нами разворачивается новый мир, а разве не чудо пятилетка, где мы ни работали и чего только не разбирали и не сооружали, и везде пьют преимущественно на тему, что развелся с женой. Везде. Я, как бригадир, утверждаю. Приходит мокрый человек, в лоск пьяный. – Он погрозил пальчиком, величиной с огурец, доктору и сказал: – Вижу, что уже предварительно напился и теперь говоришь: не пью. Приходит в лоск пьяный и говорит: "Вы калуцкие?" – "Калуцкие". – "Хочу выпить за калуцкую губернию!" – "А кто ставит?" – "Я ставлю". – "На скольких?" – "На всю бригаду". – "Да нас пятнадцать!" – "А на всех пятнадцать". – "Клюка тонка". – "Пожалуйста, можете проверить, об заклад достаточно золотые часы".

Бригадир показал золотые часы и, держа их на мизинце, вышиб пробку, крякнул, положил голову поросенка перед собой, ломоть хлеба, прожевал и, еще хватив, отдал часы доктору.

"Тут я подумал, что непременно с бабой развелся, и баба та из калужской губернии. У нас бабы ехидные".

Доктор, здесь я только заметил, что он ничего не пьет, а чрезвычайно внимательно наблюдает, и никто не желал угощать его, очень ловко обходили Трошина, все они почему-то решили, что жена доктора непременно ушла к Трошину, и его ловко обносили, я заметил, и у того просонь проходила, и он уставился в голову поросенка.

– Позвольте, но у вас поросенок? – потянулся Трошин к поросенку.

Плотник почему-то чрезвычайно был обижен.

– Ты, брат, не тянись, еще жену взял, да и поросенка сожрать хочешь! Сосунок, – подтвердил он. Все пили из единственного стакана от бритвенного алюминиевого прибора доктора. – Но к тому же, вы вегетарианец.

– Ухо! Могу ли я отведать ухо? Ухо – вещь почти вегетарианская.

— Выдать Трошину ухо!

Доктор наблюдал за ним, выбирая момент, когда можно ему все сказать, чтобы самое легкое и благоприятное впечатление от шутки, чтобы всех развеселить и все посмеялись бы, но Трошин делался все мрачнее и мрачнее, белобрысый каменщик слопал, хрустя, хрящеватое ухо, поднес ему стакан и ловко опрокинул его себе в рот, спустил перед его вытянутыми губами пузырьки, естественно, что доктор не мог найти места для вступления с шуткой.

Каменщики уже начали обниматься и целоваться. И когда они сплелись, обнявшись, откинувшись, и запели что-то калуцкое, Трошин, увидев разгромленные припасы, спросил, откуда это, а доктор, который и вообще ложь и в данном случае считал излишней, — попросту говоря, я, увидев кулаки и побагровевшее, одутловатое и налившееся кровью лицо Трошина, выскочил, с трудом пробившись сквозь запах каменщиков.

У дверей стояла Сусанна и чрезвычайно близко от нее Черпанов.

Утверждаю, что вчерашнюю неудачу он хотел наверстать сегодняшним успехом.

— У вас есть твердые убеждения, что вы провинциал? — спросила томно и протяжно Сусанна.

Я по ее голосу понял, какова она и почему ей завидует ее сестра; если она может и способна сдерживаться и теперь даже, если б Черпанов сказал, что он не провинциал, она, уже решившись, едва ли бы сдержалась. Словом, они сближались.

— Вы, если способны, отвернитесь, — сказала она, и все это проделано было с тем, чтобы я передал доктору или из подхалимства или потому, что эта нелепая девица действительно думала, что Черпанов провинциал.

В другое время я бы отошел, но здесь я с полной безнадежностью попер за ними. Очень мне хотелось избегнуть кулаков, и вообще мне драки надоели, но и оттуда я видел, что спор разгорелся и что Трошин обижен и тем, что съели его закуски, которыми он желал угощать Черпанова, и что еще более обидно, — что он пробовал вина, но не узнал их, во-первых, а, во-вторых, ему не дали поесть.

Мы вошли в комнату сестер.

Я думал, что объяснение затянется надолго, но Черпанов, не смущаясь моим присутствием, приступил к такому детальному обследованию, что я потупился, — и все-таки не уходил, просто хочется иногда повергнуться в пакость. Я увидел и тщательно разглядывал

белый сундук, обитый жестью, громадного кота, дремавшего на нем. "Какая девическая чистота комнаты!" – услышал я за сопением голос доктора. Они не разошлись. Черпанов изогнулся и убрал что-то, – точно, он провинциал, грубый и безнадежный в данном деле. Доктор стоял мокрый. Улыбаясь.

– Он не понимает шуток, – сказал он брезгливо. – Кроме того, говорит, что пища Ларвина, с которым он в пае, и вино его, И если даже выиграл пари, он и слушать не хочет о нем, то я обязан был тратить вино. Они облили меня водкой...

– Да вы мокрый.

Доктор хотел сказать, что высох бы мгновенно, если б прислонился к ней так же, как она прислоняется к Черпанову, он не мог сказать этого еще и потому, что смотрел смущенно в пол и сам не понимал, я думаю, как он сюда попал и, возможно, он даже нашел фразу, но ее, несомненно, потерял немедленно же. Я вначале подумал даже, что он трусит, нет, он не мог трусить, это ему и в голову не приходило, он просто пригласил нас быть свидетелями, в частности, меня и Черпанова, в его споре с Трошиным.

– Вы уже мокрый, – повторила Сусанна, нагло глядя на Черпанова, тот только извивался и сопел.

– Есть способ вас высушить.

Доктор был чрезвычайно обрадован, он держал в руках сверток. Он молчал и потуплялся еще больше, но бумажный сверток все-таки отслонял от себя.

– Вот сундук.

– С котом? – довольно непонятно спросил доктор.

Сусанна смахнула кота.

– Это тоже имеет смысл. Вам не кажется странным, что кот лежит на сундуке?

– Сколько я знаю жизнь, – вставил я на молчание доктора, – коты всегда дремлют на сундуках.

– Однако, этот кот даже печке предпочитает сундучок. Это потому, что все последние дни в нем стояла керосинка, в сундуке, мы из него вынули платье, он приобрел сырость, мы его просушивали, он громадный и прожарился, у него кирпичные стенки.

Она все время смотрела на Черпанова и боялась, видимо, что его провинциальность исчезнет.

– Это самый лучший способ сохранить имущество от воров, ведь любые железные стенки можно вырезать, а попробуйте-ка вырезать кирпичные – тотчас же услышат и поймают. У него даже крышка выложена кирпичом.

— Впервые слышу о таком сундуке, — сказал я.

Доктор напряженно смотрел на ножки Сусанны. Ему было безразлично.

— Разрешите просмотреть?

— Зачем же? Уйдет тепло. Вот в нем можете обсушиться, — сказала она внезапно доктору. Она взяла два полотенца в руки. — Я открываю. Вы ныряете, и чтоб вам не задохнуться, я с краев кладу полотенца, остается достаточная щель для прохода воздуха и для того, чтоб вы не выпустили тепла. Сверток можете оставить здесь.

В другое время я бы не пустил доктора, но он принял это как ощучивание жизни, как намек на шутку. Он, не посмотрев даже ей в лицо, схватив сверток, приподнял крышку и нырнул. В другое время я бы предупредил, но здесь — я бы и сам нырнул с великим удовольствием, так мне не хотелось присутствовать при развязке трошинской истории.

Сусанна свернула полотенца жгутом и положила их на край сундука, затем как-то подпрыгнув, села на сундук. Бесчисленность карманов устремилась к ней.

— А вы можете отвернуться, — сказала она мне. — Вы просто рохля, подумаете совсем иное.

Трудно было подумать что-либо иное, хотя я отвернулся, и, чтобы действительно подумать иное, я преодолел свою нежелательность встретиться с Трошиным и вышел в коридор.

— Дверь-то закройте, — крикнул мне вслед Черпанов, а то еще простудимся!

Я стоял у дверей и стерег Черпанова, думая, сколько же я все-таки получаю жалованья. С другой стороны, я полагал, что, стоя у дверей, в случае, если Трошин кинется на меня, картина, которую они увидят, вполне перенесет их внимание на другое и заставит рассмеяться и помириться даже, но и Черпанов может быть скомпрометирован. Так как же, растворять мне двери или нет в целях защиты? Пожалуй, лучший способ — превратить все это в шутку и посмеяться, и, пожалуй, доктор тоже бы посмеялся.

Но тут дверь из нашей комнатушки распахнулась и по лесенке скатился Тереша Трошин. "Началось", — подумал я. И точно, началось, видимо, уже давно. Боюсь, что Трошина уже били давно и били усердно, потому что он выкатился даже несмотря на сумрак, уже можно было рассмотреть у него синяк под глазами. За ним выбежал каменщик, белобрысый бригадир с французской булкой в руке.

– Я тебе покажу калуцких баб отбивать! – вопил он. Я тебе покажу калуцких упрекать!

Трошин бежал. В руках у него была обглоданная донельзя поросячья ножка. Прижимая ее к щеке, он бежал по коридору, направляясь ко мне. Я уже готов был распахнуть перед ним дверь. Он видел меня, потому что привел поросячью ножку в такое положение, как будто хотел вспороть мне ею живот.

Я плохо верил вообще-то в возможность вспарывания живота поросячьей ножкой, а здесь в особенности, но все-таки сделал свой кулак так, чтобы никак не допускать столь позорной гибели своей.

Однако кулак мой не понадобился. По лестнице катились каменщики. Грохот от их сапог стоял неимоверный, но похож был на грозовую тучу, я сам понимаю банальность сравнения, но и вы сами видите, что мне было не до сравнений, хорошо, что и это подвернулось, а то бы вообще пришлось обойтись без сравнений, разве что...

К тому моменту, когда я напряг все свои силы не столько для удара в кулаке, сколько для сравнения, я увидел, что сравнение мое было излишним, ибо французская булка с такой силой опрокинулась на затылок Трошина, что он выронил из всех карманов карты, даже из глаз и рта посыпались тузы и марки вин, язык его лизнул пол, зубы проползли где-то подле моего ботинка, затем вскочили и побежали, и Тереша Трошин их догнал и, так сказать, поймал их на лету, я не утверждаю это, но для вас будет, надеюсь, понятна вся стремительность этой драки. Он бежал, хотя и знал, что бежать некуда.

Один мой знакомый... Я тогда же вспомнил, как только они пробежали мимо меня, – рассказывал о своей поездке на автомобиле по казахской степи с фарами чрезвычайной мощности. Степь там настолько ровна, что автомобиль бежит там без дороги, прямо, как корабль по компасу. И вот в луче прожектора показывается заяц. Не оборачиваясь, не пытаясь даже выскочить из луча, он бежит перед автомобилем, ослепленный и залитый светом. Зайца можно застрелить или взять голыми руками.

Нечто подобное было и с Трошиным. Он бежал в прожекторе каменщицкой брани, плюясь кровью и зубами. Каменщики кричали, что они умеют мстить за калуцких баб. На крыльце французская булка нанесла ему уже второй удар, уже в область таза. Он перевернулся в воздухе и грохнулся.

Каменщики, даже не взглянув на поверженного, потрясая плечами, прошли через двор и скрылись в переулке. Обалделый, забыв

обо всем, я вбежал в комнату. Черпанов встал, потер руки:

– Очень помогает напряженности шум, привычка общих квартир, вот, например, попробуй в лесу, – ничего не получится.

Сусанна была довольна: он оказался провинциалом и не спросил ни до, ни после о подвязках. Он похлопал меня по плечу:

– Вы очень любезны, Егор Егорыч, что постерегли, а то превратное толкование могло получиться, сказали б, что служебное положение Сусанны использую. Она едет с нами и будет сидеть в парикмахерской. Видали вы планы? Там нет парикмахерской? Я закажу или, вернее, заказал специальный план для нее.

Сусанна сияла и была довольна, холодок находил на нее, она думала: а вдруг проспится и уже на правах близкого человека? Самое страшное для женщины в мужчине – это когда он начинает чувствовать себя близким человеком. Он спросит: а где же, милая, подвязки? Она холодела, и когда Черпанов ушел, мы услышали стук, и несколько раз она сказала: "Войдите", подошла к дверям, там никого не было, крышка поднялась, и смущенный, глядящий в пол доктор сказал:

– Это я стучал.

Он вылез и, держа сверток в руках, смотрел на странно искомканные жгуты полотенец:

– А действительно жарко, – сказал он, наконец, и вот он взял сверток в левую руку и, с трудом поднеся правую к правому уху, начал:

– Я говорю не о всех, но об известных состояниях человеческого организма, которые бывают в нашей жизни несколько раз, а у некоторых и часто, у многих никогда, и тогда человек резко осматривается, задумывается, мысли его, словно направленные на иное, задерживаются, когда он то смеется беспрестанно, то, когда ему надо рассмеяться, – самым дурацким образом молчит. Несомненно, эти шесть способов для того, чтобы извергнуть из себя это состояние, не есть, может быть, самые главные, но лучшего я не знаю пока, а я прочел много книг, а, главное, спросил множество свидетелей, свидетелей, чрезвычайно заинтересованных и близко знающих это состояние нашего организма.

Он потупился, покраснел и посмотрел на бумажный сверток.

– Я говорю о любви. Первый и наиболее удачный способ – это никогда раньше не говоря выбранному вами объекту, не намекая даже звуком о своей любви, выбрать такую минуту, когда даже не пожимая рук предварительно, обнять его и поцеловать, причем, удача

зависит от того, как вы сможете, с какой выразительностью, я бы сказал, поцеловать. Правда, степень обратного поцелуя разъяснит вам те затруднения, которые вы предвидели до того, когда намеревались приступить к этому способу. Но способ этот дурен тем, что люди, в силу им свойственной нетерпеливости, ослепленные кажущимися им благоприятными обстоятельствами, часто в обратную силу истолковывают и вышибают ударом там, где надобно брать выбором. Ведь как ни странно, любовь мы знаем, как будто, и хорошо, а на самом деле совсем мало, то есть, когда чувство это вламывается в дверь, тогда-то мы и задумываемся.

– Я предполагал, – продолжал он, – что возможно организовать институт любви, где бы любовь преподавали практически, где человек, сколько бы то ни было нуждающийся в любви, проходил краткие курсы и тогда пускался... Но здесь-то выступает человеческое нетерпение более, чем когда-либо, и я боюсь, что в институт попадут педанты, болтуны, у которых не только выболело, но и никогда не болело. Вы возразите: книги и театр? Помимо того, что любовь сейчас вы видите преимущественно в опере и балете, то есть наиболее вульгарные воплощения любви, всякий театришко опошляет неуловимость жизни. Да и по времени театральное зрелище не имеет места, чтобы заниматься длительно любовью. Герой едва сказал: люблю вас, как уже должен спешить или на заседание, или на прорыв плотины, или на производственное совещание. В то время как, наоборот, в жизни он уходит с производственного совещания или говорит, что пойдет на него. Опять-таки, и художники, в силу кустарного изучения любви, дают вам самое ничтожное и грошовое понятие о ней. Убежден, что будущий институт в первую очередь уничтожит беллетристов, признав их выдумку наиболее скучной и спекулятивной процентов на 90.

Он, помолчав, опять заговорил:

– Теперь перейдем ко второму, тоже прославленному способу, который тесно примыкает к только что веденному разговору о беллетристах, – это сказать: "люблю вас..." Но если первый способ имеет какие-то, что называется, созвучия современности, хотя и ухабистый, но человечество уже давно идет по нему... В нем есть известная доля возвышенности. Правда, возможность выплескаться целиком. Но второй способ довольно пошл, глуп и ничтожен. И я говорю о нем, чтобы поскорее покончить. Хотя, как ни странно, в жизни он встречается довольно часто. Но тут опять-таки играет роль нетерпение, когда человеку кажется, что он способен чрезвычайно вырази-

зительно говорить это. Причем, беллетристы прошлого уверяли, что мужчина при этих словах падал на колени. По-моему, совершенно невероятно, потому что данный объект, на которого устремлялись слова и падение на колени, видел, тоже из практических зачастую целей, много спектаклей, где актеры падают перед дамами на колени, а так как хороших актеров вообще всегда мало, а преобладают преимущественно или подхалимы или родственники, то, падал актер обычно толстый. Склонились жирные складки брюха, толстые воловьи ляжки, апоплексическая шея, пропитой голос. Все это, если вы встанете на колени, вызовет в девушке самые неожиданные и смешные мысли – и она хохочет! Вы встаете сконфуженно, и без того вам неприятно опускаться на колени. А книжные традиции совратили вас – и вы, опускаясь, от застенчивости не поддернули кверху брюки, и брюки у вас лопаются, к счастью, на коленях. Девушка ваша хохочет уже неудержимо. И, во-вторых, тоже по тривиальному обычаю, вы, сказав "люблю вас", должны добавить: "И прошу вашей руки". Не говоря уже о тусклой качественности, не каждый имеет твердое намерение просить именно руки. А так как вам неинтересно говорить о руке, то вы смолчите о том, солжете и тем самым оболваните слова "я люблю вас" совершенно.

Этим способом объясняются актеры, начинающие беллетристы и грузчики волжских пристаней, народ чрезвычайно чувствительный и любящий литературу. Третий способ – это написать объекту письмо. Способ увлекательный и широко распространенный. Но потому ли, что секрет эпистолярного творчества нами, в XX веке, утерян или просто нет времени и терпения водить пером по бумаге, а на пишущих машинках как-то не принято писать подобные сообщения. Или мы из-за бумаги, испорченной и волокитной, потеряли всяческое уважение к ней, но как бы то ни было, способ этот не приносит требуемой от него пользы. Пишут чаще всего после, а мы разбираем преимущественно "до", нас мало занимают исхудалые ключицы после. Теперь дальше, четвертый способ. Сущность его заключается в том, что человек ходит вокруг желаемого объекта, пялит на него глаза и вздыхает. Как ни странно, но этот грубый и часто животный способ воздействия, употребляемый в большинстве очень юными людьми, потому что трудно вообразить, чтобы уважающий себя человек с плохим сердцем, лысый и с бородой, начал пялить глаза, – хотя глаза я допускаю, – но вздыхать и выдыхать это совершенно маловероятно. Повторяю, такой способ приносит иногда пользу, но польза эта непродолжительна. Как только после первого объятия

девушка начинает припоминать, каким способом покорил ее мужчина, ей делается слегка совестно, и так как все наши девушки ученые или собираются учиться, – она понимает, что всякая наука есть способ применения сложнейших и запутаннейших рецептов для достижения простого результата. А здесь уж очень несложен рецепт. Девушка начинает раскаиваться в своей малоопытности и ослепленности: "Пора отблажить, думает она, пора остепениться". Раскаивание, милые мои, есть первый шаг к охлаждению! Это все равно, что если бы мы стали выдавать покупателю пшеницу вместе с колосьями, не дожидаясь обмолота. Бесспорно съедобно, но не питательно.

– Теперь разрешите осветить пятый способ. Он малоизвестен и малообследован. Я говорю о сводниках, как профессиональных, так и непрактикующих, и часто даже не подозревающих, что они сводники, до конца своей жизни, и самые подлые и злостные. К этому способу, чрезвычайно распространенному, прибегали в древности, и так как обычно к нему прибегают трусливые люди, то я заключаю, что древность преимущественно хвасталась храбростью, так же как Антанта хвастает теперь победой над Германией. Но на этот счет можно сильно посомневаться.

Трусливые люди чрезвычайно скрытны, но об этом способе сообщить многое невозможно, не впадая в преувеличения и ложь, что опять-таки будет вызвано нашей трусостью вызывать истину. Во всяком случае, полезно утверждать, что он полезен как для атакуемого, так и для атакуемой. Здесь благодаря присутствию свидетеля, у вас есть все данные не зайти слишком глубоко в наступлении и, если отступить, то с пользой, прикрываясь третьим лицом, и свалить на него все свои ошибки и трусость, так что трусом окажется сводник, а ему уже нет оправдания, ибо по самому ремеслу своему он обязан быть трусом. Много раз я приходил к выводу, что необходимо подражать трусам, если даже хотите как-то восхвалить трусость. Трусы придумывают самые умнейшие способы завоевания, так как они дико властолюбивы и жадны. Мне кажется, очень показательна для этого история Англии и ее правящих классов. Причем, должен заметить, что трусливая нация создает самую воинственную литературу. Люди самые героические – самые трусливые. Но как уловишь труса, как у него поучиться? Он настолько от нас удален, что его никогда не найдешь! Трус необычайно искусно прячет свое лицо, ибо иногда самый прославившийся по храбрости человек окажется подлейшим трусом, но трусом, который настолько перетрусил, что его уже невозможно уловить, потому что все бежит в нем, все течет, и уловить его – все

равно, что рукой удержать реку, так как его берегут и поддерживают страшные трусы и прикрывают, и попробуйте сказать ему: трус! Какое поднимется! Какие всплывут защитники! Вы проговорились — открыли страшную тайну. Вам все могут простить, но нельзя никого упрекать в трусости. Вот почему об этом мало пишут и говорят. Можно говорить и осуждать нетерпение, говорить, что человечество чересчур нетерпеливо, многого хочет, но трусить его лучшие представители не могут! А как люди держатся за самые глупые предрассудки. Как они цепляются за прошлое! Как боятся оторваться от крова и постели у теплой печки! Какие хитрые извороты придумывают, чтобы прикрыться богом!

Итак, про пятый способ я скажу, что очертания его имеются только грубой наметкой — остов, который, боюсь, никакие институты любви не могут наполнить конкретным содержанием, потому что трусы вас будут постоянно обкрадывать. Этот пятый способ будет постоянно неуловим. Даже я не могу найти в себе достаточно смелости, чтоб в него углубиться. Отсутствие материала — уже есть трусость. Я знаю, что он есть, но я его сам и прячу.

Предостерегаю, что секция института, разрабатывающая пятый способ, несомненно, будет наиболее неудовлетворительной, потребует огромных дотаций. Вечные склоки, от которых я предостерегаю как будущее советское правительство, так и высшие планирующие органы, в ведении которых будет находиться институт. Причем, очень характерно, например, что люди струсят назвать его просто институтом любви, а назовут его институтом оплодотворения, что совершенно неправильно, ибо биологические основы — основы генетики или что-то в этом роде, а институт любви, это, что же, сводничество или вообще пошлость? Что такое любовь, что такое за гегельянство, за такая идея, летающая над всем? А я говорю: любовь, — это то, о чем я говорил в начале речи и чему вы подвержены все, но из трусости скрываете, а я не могу скрывать, и вот тут-то я прихожу к шестому, последнему из исследованных мною способов объяснения в любви. Я люблю этот шестой способ. Он красив и краток. Человек, скажем, к примеру, подходит на Пречистенской площади к будке, где продают квас, платит за кружку клюквенного кваса, смотрит задумчиво в лицо продавцу, и продавец сразу понимает вас, ухмыляется, и лицо его, так взболтано, и он на несколько ступеней спустился к вам ниже в понимании человека человеком, ибо он тоже когда-то испытал нечто подобное и засыпался в крупные неприятности, он ловит ваши добавочные деньги и...

Доктор быстро разорвал бумагу свертка. Четыре багровые розы сияли среди газетных столбцов. Не поднимая глаз, красный, держа дрожащий палец возле правого уха, он левой рукой передал розы Сусанне.

XL

– Есть шесть способов отказывать в любви, – сказала Сусанна, держа розы в руках и подобрав под себя ноги на сундуке. – К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств, я лишена была возможности изучить вопрос этот научно, а изучала практически, житейски, а значит, недостаточно широко и жестко.

– Наука также часто изучает вопрос хуже, чем даже житейски, а совершенно обывательски. Но в ее распоряжении огромный арсенал справок и терминов, – и наука имеет видимость науки. Однако, продолжайте, Сусанна.

– Я выберу из моих способов наиболее характерные. Способ первый, нами редко употребляемый, но, по мнению мужчин, наиболее распространенный среди нас, – это: "Идите-ка вы к чертовой матери!" Чаще всего так думают мужья о своих женах. Они так же обращаются к другим мужьям или холостякам. Грубая ошибка. Женщина тщеславна. Это одно из ее главных достоинств. Достоинство, которое вы так любите и так культивируете. Каждой женщине льстит, что к ней обращаются с любовью. И если она видит, что есть хоть малейшая возможность не воздвигать проволочных заграждений, то, будьте уверены, она их не воздвигнет. Она будет до последней минуты давать знать влюбленному, что есть надежда, а он будет вздыхать. (Доктор вздохнул). Правда, она часто не замечает своих, до известной доли, даже чем-то преступных поступков, ибо не легкомыслие, а даже известная доля наследственности, что женщина, постоянно находясь в угнетении у мужчин, должна была выработать сама способы своей защиты, но это хорошо. Правда, женщина иногда говорит приведенные выше слова, но это происходит или от болезни, когда ей не до любви, или испробовав ее настолько, что уже любовь становится однообразной, и это уже явный признак глубокой старости.

– Второй способ. Мелкий. Не стоило и говорить о нем. Но он,

— я опять-таки хочу сказать, что согласно задачам вашего института, — вы их ставите чересчур узко, — женщины многое скрывают, приблизительно столько, сколько и мужчины, лгут и трусливы. Способ этот очень уж распространен, хотя нами в каждом отдельном случае выдается как исключительный. Женщина говорит: "Я вас люблю, но до решительного шага разрешите подумать", хотя этот решительный шаг зачастую есть самый нерешительный, но люди любят хвастать страхом там, где его нет, и смелостью, когда они трепещут при одном произнесенном ими даже мысленно слове. Понимайте это хотя бы в творческом, литературном, что ли, порядке. Люди начинают бродить, каждый пустяк выдают за решительный шаг, каждый взгляд — и заметьте, это хотя и мелкий, но самый верный способ отделаться от нежелательного объекта. Сначала это мужчину увлекает, ибо если он даже чихнул в сторону своей будущей возлюбленной, то это уже рассматривается, как страшно решительный шаг. Но затем ваше раздражение растет, как если бы рядом с вами жил человек, постоянно боявшийся захворать. Вначале это даже смешит. Кончается обычно ненавистью, переходящей часто из поколения в поколение. Этим, например, можно объяснить причину кровавой мести. Практикуется обычно молодыми женщинами как наиболее смелыми и не боящимися потерять по службе.

— Способ третий, — вам, наверное, более известный даже, чем мне, — и не будем на нем останавливаться. Это отказ письменный. Эти отказные письма во все врѐмена странно похожи одно на другое, как вся современная литература на Льва Толстого. Это объясняется тем, что люди много думают, но пишут как раз не то, что они думают. И притом стараются быть вежливыми. И вежливость берут из старых книжек хорошего тона. Выбуксировать себе себя на прошлом. Отсюда сухость изложения. Их рвут немедленно, настолько они оскорбительны и пошлы, так что нигде и ни в каких архивах вы их не найдете, хотя когда придет время создавать архив института, — это понадобилось бы. Возможно, это для вас оскорбительно. И вам кажется, что я выдаю женские тайны? Уже многие тысячелетия женщина выдает свои тайны, и никто их не принимает, потому что им не верят, считают парадоксами, — а парадокс — это выброс софизма.

— Четвертый способ — это уже крайность: отсылают узнать к родственникам за мотивами отказа, а сами плачут. Я работаю чисто эмпирически, — на личном опыте, — и этот способ вам маловероятен. Это все равно, чтоб, скажем, к наркому пришла комиссия, и он ее направил за мотивами к буфетчику. Буфетчики, как известно, са-

мые грубые из всего человеческого рода, обитающего в СССР. Я – буфетчик в юбке. Способ этот указывает на крайнее душевное разложение, цинизм какой-то уже уходящих классов, которым терять нечего. Я привожу его потому, что родственники обычно заняты склокой или чем-либо иным. И вдруг человек приходит с любовью. Брань поднимается невероятная, хуже, чем в трамвае. Бывают крупные членовредительства, и одному влюбленному даже откусили нос. Я привожу этот просто как штришок, нимало не упираясь в это.

– Остановимся подробнее на способе пятом. Это удивительный способ, очень легкий и простой, к сожалению малоизвестный не только мужчинам, но и женщинам. Не я изобрела его, но многие применяли. Да и что такое изобретение? Условное понятие. Изобретений нет. Есть только усовершенствования, одно удачнее, другое нет. "Хорошо, говорит она, я люблю вас и согласна на все, но предупреждаю: могут ли мои прежние не только мужья, но и любовники посещать меня, а также дети мои прежние, которые частью живут у них, частью в другом месте? И гостить у меня?" Самый передовой, воспитавший себя на успехах разума и общепринятых утверждениях, слегка опешивает и соглашается. Но тут надо взять с него расписку или чтобы он публично утверждал, что согласен. Обычно же он робко спрашивает: "Сколько же у тебя мужей?", забыв даже, что он и не обещал жениться. Вы спрашиваете: "А как ты предполагаешь?" И он робко отвечает: "Ну, три". Конечно, вы сейчас подумаете, надо сказать, триста. Вот и глупо! Никто не поверит. Да и по законам, – хотя я и плохо разбираюсь в юриспруденции, – полагается не более семи. Вы говорите: "Пять!" Это действует наверняка. Редкий честолюбец вынесет такое конкретное доказательство вашей пригодности к жизни, но все-таки если он и найдет в себе силы сказать "Очень хорошо", тогда у вас имеется еще один козырь – дети. Причем, детьми рекомендуется орудовать мулатами, и чем больше помесей, тем лучше. Конечно, мы стараемся утрясти национальную рознь, но это не так-то легко, и на таком, казалось бы, беззащитном и милом материале, как дети, она и всплывает. Если вы скажете, что первый ребенок от русского, второй от еврея, третий татарин, четвертый черемис, пятый негр, а два близнеца – китайцы, уверяю вас, искатель вашей любви больше к вам не придет, хотя бы работал в Совете национальностей. Почему вот, объясните мне, будет распутством по его мнению, дети различных национальностей, едва ли он и сам объяснить сможет, а все-таки он будет испытывать к вам брезгливое чувство! Вот вы говорите, люди трусливы, а я полагаю, что самое

страшное в них – любопытство, но не закрепленное, а быстро исчезающее. Всем хочется полюбоваться, но никто не хочет долго сидеть над этим и, больше того, раздумывать. Вот и в данном случае с детьми. Всякий пожелает немедленно увидеть их, но не усыновить, скажем – извините, и тем более жить с ними вместе. И вот это любопытство, когда закрепляется не на детях, а на чуждых совершенно любви предметах, когда оно распространяется и говорят, что у нее замечательное ожерелье и влюбляются в него из любопытства, вот что должен поставить себе своей задачей институт, который вы создаете на Урале. И это-то я передам Черпанову, тем более, что у меня есть данные, что он-то, как провинциал, как раз мало занят любопытством, а мыслит конкретно. Это чрезвычайно ценное качество у всякого провинциала. Качество, которое теряют люди столицы. Вот первая и основная задача института. И рада я, что вы собираете сведения. И тем более обратились ко мне.

– Все? – спросил доктор уныло.

– Нет, есть еще шестой способ. Он очень короткий.

Сусанна наклонилась и поцеловала доктора.

Тот вспыхнул настолько, насколько перед тем побледнел от обиды, что она не так поняла или не хотела понять его. Он вскочил, и я видел, как он внутренне боролся. Ему и хотелось действовать, но, с другой стороны, страшно хотелось проверить мысли, которые возникли в нем по поводу поцелуя.

Преодолело последнее.

Он встал прямой и низенький и, держа руку возле уха, размышляя и классифицируя, причем, он не мастер был на классификацию, Р и С бегали, как хотели, да он и не признавал логики традиционной; словом, у него была такая сумятица во взоре, что Сусанна сидела совершенно разинувши рот. И хотя холодность из нее выкачал Черпанов, и она остывала, но тут она была поражена, смотря, как задумчиво выходил доктор, и как многозначительно роились мысли возле его поднятой руки. В лице ее я увидел страх.

XLI

Когда мы мчались по коридору, нам встретился Насель. Он посмотрел на нас испуганно; он был с каким-то мешком за плечами и с кошелкой в руках. Отметнулся прочь. Доктор пробежал мимо него торжественно.

Он мгновенно разделся, и мы легли на матрац. Доктор, видимо, чувствовал необычайное возбуждение. Он катался с боку на бок, завернувшись в одеяло. Мне тоже не спалось. Он сел и поднял ладонь к уху. Я попросил его погасить свет и говорить про себя.

– Заметили ль вы, как на нас воззрился Насель?

– Я устал, избавьте меня от ваших выдумок.

– Он увидел соперника! Что же касается ваших анекдотов, они более неправдоподобны, чем мои "выдумки", всегда основанные на конкретном материале. Насель! Чем больше я думаю, тем он встает передо мной с большей опасностью. Населя необходимо осмеять. И осмеять немедленно же, абстрагировать его, превратить всю его жизнь в шутку. Ничто так не уничтожает людей, как легкая шутка. Смех сразу донесется до Сусанны, и она утром посмеется вдоволь. Уже одно то, что я надсмеялся над Трошиным и тем заработал поцелуй. Она смеялась вдоволь.

– Э, мало ли кто получал от нее поцелуи!

– Вы ничего не знаете! Правда, с Населем будет труднее. – Он вскочил и накинул на ноги туфли и на плечи одеяло. – Надо идти немедленно! Пока ночь, я чувствую в себе гуманность, иначе возбуждение пропадет и легкая шутка, которая во мне сейчас, исчезнет. Мысли ускользнут. Впрочем, надо оттрезвонить, и тогда можно спокойно спать.

Я знал, что все-таки мое присутствие его способно сдерживать. Затем я не желал будить Черпанова, сам надеялся отговорить его. Накинув тоже одеяло, я побежал за ним. Коридор был пустынен и гулок мягким гулом каким-то подземным. Кроме того, мелькнула мысль: так как Насель отчасти еврей, не будет ли рассмотрено выступление доктора врагами как юдофобское? Мне, главное, проникнуть в щелку его речей и втемяшить ему... Но где там!

Доктор несся по коридору; из-под развевающегося одеяла видны были штрипки кальсон и волосатые ноги. Он придерживал одеяло левой рукой. Насель все еще стоял у дверей своей комнаты, прислушиваясь к голосам, доносившимся оттуда. Он косо ухмыльнулся, хотел было пожаловаться, начал было:

– Добыл, знаете, случайно вещь. А они так же, как из-за гардероба, вот он наш. – Насель и с ненавистью и с любовью постучал по стенке. – Купил случайно, знаете, он принадлежал Лебедевым, они здесь хранили имущество, купил по дешевке, так, знаете, спорили три месяца. Хорошо, что призвали мебельщика из комиссионного

магазина. Выяснили, что гардероб настолько мощен, что его вывезти нельзя, скрепы обессмерчены.

Доктор схватил его за руку. Он, видимо, находил, что весьма уместно ему встрять. Тут приоткрылась дверь и чей-то скрипучий голос сказал: "Утюг готов". Насель поморщился. Он желал скрыть свое унижение, что его ночью заставляют разглаживать брюки. Я же подумал: "Не заграничный ли костюм?" и поэтому, хотя Насель нас оттеснял, я все-таки протискался вслед за доктором.

Угловая комната. От окна к окну проложена гладильная доска. На венском стуле гора брюк. Какой-то предмет ускользнул под матрацы, расположенные на полу. Люди лежали, завернувшись в лоскутные одеяла. Проходить надо, ступая осторожно, чтобы не наступить. Часть уже спала. Один спал, даже в гамаке. Это были все населевские родственники. Спали те, которым уже не было надежды получить свою долю; они спали, все еще споря. Я слышал: "Отличное сукно, первоклассное сукно".

Спали все вперемежку, торчала чья-то жирная нога, я все время смотрел на нее, пока она во сне, когда доктор взял особенно высоко, перевернулась, и я увидел такую сальную рожу, что мне стало муторно до невероятности. И я думаю, поздний час не удивил их и то, что доктор пришел, завернувшись в одеяло, кто-то даже сказал, что спать ему здесь негде.

На окне стоял паровой утюг. Как они не угорали? Правда, окно открыто, но, по-моему, и в нем спал населевский родственник. Вам, наверное, встречались такие паровые утюги, с громадной согнутой в виде Г трубой? Он был наполнен углями, клокотал, шипел.

Насель явно был удовлетворен тем, что спор прекратился, – может быть, даже вследствие прихода доктора, – он даже чувствовал благодарность. Он хорошо поторговал, продал какие-то книжки, кому-то часы, и теперь ему казалось чрезвычайно естественным гладить брюки. Отдых! Он мог теперь вслушиваться и даже предложил доктору тоже погладить брюки и сказал как-то даже весело: "Продолжайте, очень любопытно", из чего я понял, что он всецело поглощен был спором за дверями и не слышал ни того, что бормотал доктор, ни того, что я бормотал доктору. Насель дунул в утюг. Брызнули искры, и с подоконника слетел воробей.

– Можно соблюдать достоинство и без брюк, – сказал доктор, осторожно ставя ногу между двух подушек, на одной лежала, раскрыв рот, рыжая волосатая голова, на другой – лысая, повязанная платком, причем, платок сполз на ухо. – Древние ходили вообще без

брюк, и тем не менее искусство красноречия стояло у них высоко. Возможно, оттого, что они поддерживали достоинство, а не брюки.

– И хотя это правильно, – совершенно доброжелательно сказал Насель, усердно водя утюгом вдоль брюк с заплатами и осторожно поднимаясь вверх и вниз.

– Теперь вот и перейдем к основному вопросу, – донесся до меня голос доктора, пока я разглядывал ногу, на которую, казалось мне странным, никто не обращал внимания. – Мы не коснемся родственников. Что такое родственник? Если по правде говорить, то это обман.

– Почему же это обман? – спросил Насель, раздувая утюг.

– Обман воображения. Надежда и остатки какого-то родового быта, а на самом деле теперь более чем когда-либо поставлены мы перед вопросом о том, как мучают нас родственники. Если человек женится, то лишь бы люди почувствовали его тяготение к родственникам. Мгновенно набегут уймы. Он женится, и как правило, у жены окажется десять детей, десять бабушек и двадцать дедушек, которые и поселятся у вас. Это преимущественно лодыри и негодяи.

Какая-то рыжая голова поднялась. Лысый поправил повязку и спросонья сказал в подушку: "Ты не очень". В это время нога повернулась ко мне лицом и начала разглядывать лысому бороду.Тот смотрел на штрипки доктора, зевая, и на кончик одеяла, а я видел, как раздражение постепенно осмысливало лицо его, и он имел вполне трамвайный вид. Я его узнал – человек человеком. Он ждал, когда ему наступят на ногу. Он даже руку протянул для держания за какой-то ремень.

– Пока вы находитесь в их власти, исполняете их приказания, причем, это не отдается прямо, а вы как-то косвенно начинаете чувствовать, все идет хорошо, но вот попробуйте полюбить. Да будем говорить открыто, Насель! Полюбили вы Сусанну, и тут-то перед вами и встает задача, как жену примирить с родственниками. И вы начинаете мучиться, вы думаете, что все это утрясется само собой. Вам не выдержать этого боя, у вас астма, вы задыхаетесь, Насель.

– Я задыхаюсь всю жизнь.

– Следовательно, вы не уступите Сусанну? Родственники! – и то не всегда же думать о родственниках. Боритесь с ними, Насель!

– Давайте ваши брюки или идите спать.

– Не уступаете!

Но здесь раздался дикий вой. Доктор наступил на нос лысому человеку. Тот готовился к сопротивлению. Все вскочили. Насель ед-

ва не уронил утюг. Дикий испуг возник на его лице. Доктор изобразил чрезвычайное удовольствие.

– Приятно, что вы проснулись, – легким и грациозным движением поднимая к уху правую руку, сказал он. – Приятно будет вдохнуть в вас бодрость и веселье, утреннюю зарядку, так сказать, потому что вам пора спешить на службу. Егор Егорыч может вам рассказать даже по сему поводу анекдот.

Лысый понесся к Населю. "Мне наступили на нос!" – орал лысый.

Насель шел, ведомый под локти, через руку у него висели брюки чьи-то, приготовленные для гладки, он держал утюг, он важно кивал головой из стороны в сторону, я понял, какими ничтожными крохами может питаться человеческое честолюбие.

Кто-то сказал, – может быть, он из домкома. Толпа несколько отхлынула от нас. "Невообразимо потное и грязное белье, спутанные волосы и тусклая лампочка над всей этой толпой, и тут же прячут платки, лампочка с накинутым рваным шерстяным платком, который уже никого нагреть не может. А самому пора нагреться от лампочки. У них 16-свечевая, такой жалкий вид, что просто сердце сжимало от жалости", – думал я.

Лысый кричал:

– Уходите, никакие силы Осоавиахима не остановят моей ярости!

Насель важно ответил:

– Именно, никакие силы Осоавиахима не остановят меня. И про какую девушку вы говорите?

– Я говорю: оставьте Сусанну! Она не приготовлена для ваших родственников. Так же, как и не приготовлена для Жаворонкова. Не в том ее сверхценная идея! – оттопырил губу доктор и обернулся. – Это не о том ли?

– О том? Идите вон, доктор! – сказал Насель. Его толкали к доктору. Он поднимал утюг все выше и выше, а это-то поднимание тревожило меня, ибо не может же Насель поднимать его без конца. Из трубы утюга шел пар и клокотал дым, хорошо, что ладонь, которая была приспособлена, и не потому ли доктор держал ее у уха, что всегда отгонял дым, и говорить ему приходилось в прокуренных комнатах, он теперь и дым утюга считал за чье-то курение.

Доктор смотрел в пространство и говорил и говорил. Он был в ударе. Я знал, что здесь драки не будет. Здесь все интеллигенты, лентяи, любящие рассуждать, в иное время они бы не без удовольствия

выслушали доктора, но тут они мало-помалу начали понимать, что доктор уговаривает Населя не жениться, и оттого их уважение к Населю не уменьшилось, а увеличилось. Они никак не думали, что его заработки исчезнут, нет, ничего подобного. Девица с толстыми ногами даже подыскивала место, где могла бы спать Сусанна. Они верили в непоколебимую мощь и способность работы Населя. Им хотелось просто спать.

– Подите вон!

Насель повторил это, поднял еще выше утюг, из него брызнули искры, и кто-то охнул. Насель уронил утюг, и он проплыл по доктору и затем по мне, и мы отскочили с такой силой от дверей, что вся толпа упала, а Насель так напугался, что ему казалось, наверное, с испугу, что он ставит утюг, он просто онемел. И он несся за нами, чтобы поставить утюг.

Доктор произвел еще прыжок, спиной назад, чудовищный прыжок. Я сам никогда не испытывал такого испуга. Вообще я вам скажу, вряд ли наступление танка может быть так страшно, как это наступление утюга. Его труба выросла, как труба парохода. Утюг просто сбесился, как будто шофер потерял руль. Становилось совершенно понятным, что машина тащит за собой человека. Утюг с собачьим проворством хватил меня за бок, словно я делал малый прыжок. Я догнал доктора. И вот здесь-то произошло чрезвычайно странное событие, которое я не могу объяснить и до сих пор.

Я помню отчетливо, что раздался крик, затем мы оба прыгнули и ударились в гардероб.

Громадный гардероб покачнулся, и мы – направо, налево. Гардероб был чрезвычайно удивлен, по-видимому, что нашлись какие-то силы, которые встревожили его вечный покой. Подался назад. Дотронулся до стенок кладовой. Ему сочувственным рокотом ответили дрова, перекликаясь с удивлением, что гардероб тронулся и пошел.

Но тут утюг щелкнул еще раз доктора по низу живота. Гардероб упал. Дверцы его крякнули. С великим грохотом гардероб упал на спину. Мы очутились в неимоверно густом облаке пыли. Дверки прихлопнули разное барахло, которое там висело. Гардероб лег на спину не сразу спокойно. Дверцы были вышиблены задом доктора, страшным задом, в котором явно сказалось его крестьянское происхождение. Стенки откатились. Одна побежала по коридору, а на другой мы погрузились в недра гардероба.

Неслись мы долго. Это падение было странно. Нас окутывали

облака пыли и нафталина. Я зачихал, зажмурился и подумал: "Что же будет?"

Но тут я почувствовал жар возле спины, открыл глаза, и мне захотелось, чтобы Насель упал вместе с нами в гардероб. Насель бегал вокруг гардероба. Представьте, он был с громадную комнату! Насель всплескивал руками. Запах гари доносился до нас.

Я лежал вполне удовлетворенный. И отомщенный. Мне даже не жаль было одеяла, которое несомненно тоже сгорит. Я твердил: "А вот тебе и не тычься утюгами". Мне это казалось страшно остроумным. И внутренно подсмеиваясь, я опять закрыл глаза. Но тут я услышал голос доктора:

– Обороняйтесь, Егор Егорыч! На нас пустили газы. Толкайтесь ногами!

И здесь, надо сказать, большую услугу оказали нам ноги доктора. Он оборонялся ими с отменным усердием. Он поднял неимоверное количество нафталинной серебристой пыли, известки, и едва в этой серебристой пыли показывалась какая-нибудь голова, он так ловко поддавал, что голова с визгом скрывалась, и действительно, наше положение было чрезвычайно удачно.

Мы бились на крышке гардероба. Внизу и вокруг нас лежало платье, причем все это пружинило, и если уж толкнуть, то человек откидывался метров на двадцать пять и скользящим полетом. Вообще мы здорово садили. В этом было известное большое наслаждение. Доктор командовал. Вонь разрасталась все больше и больше. Доктор хохотал, орал.

– Мы на испытательном судне, Егор Егорыч, направляемся в море!

Я думаю, все это воспоследовало в ответ на то, как кто-то полез ко мне. Я укусил за локоть, а затем саданул его в бровь. И раздался голос:

– Они сожгут все имущество! Лей воду! Буди Черпанова! Занимай ванную!

Затем я увидел, что в столб пыли и дыма ринулось ведро воды, за ним второе, но дым поднимался все выше и выше.

Я услышал голос Черпанова, командующего и распоряжающегося. Он говорил, что ванную легко снять и притащить. Затем послышались новые голоса. Я плотно завернулся и решил, со стыда, лежать до тех пор, пока уже явственно не загорюсь.

Затем на нас ринулся поток воды. Честное слово, я уже мог плыть!

Доносился, сквозь заткнутые мои уши, веселый докторский голос:

– Страшные водоросли, Егор Егорыч? Мы что, в Средиземном море? Говорят, его водоросли пахнут нафталином? Не орите, ибо бой еще идет! Они оглушат вас веслом. Нужно грести от себя, тогда водоросли не заплетутся вокруг ваших рук!

Опять полилась вода. Он на мгновение затих, но затем опять послышался его голос. Вода прибыла, я начал грести.

– Но вода совершенно пресная! Или мы попали вместо Средиземного в Байкал? Вы замечаете берег, Егор Егорыч?

Это было так нелепо, что в иное время я бы захохотал. Я открыл глаза. Дым клубился по коридору. Гарь и чад. Я поплыл. Под руки мне попались подтяжки, которые облепили мою голову. Какая-то тяжесть висла у меня на ноге. Я нырнул и достал утюг. Ярость овладела мной.

Доктор кружил вдоль стенок гардероба. Он устал, и радость сияла на его лице.

– Я не могу плыть, Егор Егорыч, меня здорово обожгли. К тому же, водоросли облепили меня. Скажите, мы же все-таки осмеяли Населя?

Вода доходила мне до пояса. Я схватил утюг для защиты, схватил неподвижно повисшее тело доктора, перекинул его через плечо и потащил. У дверей столпились родственники Населя.

Я кинул утюг в их сторону, и они брызнули в комнату. С доктора струилась вода, голова его была похожа на фонарь в дождливую ночь, из носу его, когда его втаскивали на ступеньки нашей крошечной лестницы, выскользнули – он чихнул – два нафталинных шарика. Так вот отчего он гундосил и тонул?

Он лежал, стонал, ему казалось, что он все еще тонет. Я смазал его свиным салом, лучшего лекарства у нас не было; он благодарно пожал мне руку и улегся спать.

Я сидел возле его тюфяка, который, как и пол в комнате, еще и не убранный после пиршества каменщиков, был закидан объедками и свиными костями, пустые бутылки торчали отовсюду... Я размышлял об этой чудовищной ночи. И с чего, собственно, может долбануть в голову, что доктор обладает неистощимыми запасами веселости, когда он так плохо переносит то, где ничего странного нет. Доктор вскакивал, щупал голову, попросил поставить термометр, который показал 36,4. Доктор успокоился и заснул.

В дверь постучали. Черпанов передал мне обгорелое одеяло. Я принял этот мокрый комочек.

— Спрашивали совета, разбудили? Спите, пока не понадобились.

— Значит, не пошлют в милицию?

— Ожоги на теле есть?

— Есть.

— Не пошлют.

XLII

Ванна стояла боком. Рассохшиеся доски гардероба лежали, как громадные рыбы. Сушили платье, все было чрезвычайно буднично. Мне было стыдно. Голова болела, то ли от ушибов, то ли просто от волнения.

Черпанов держал какие-то смятые бумажки в руках, вид у него был торжественный. Несколько человек стояло у ванны, разговаривая и обсуждая происшествие с гардеробом. Жильцы всякие бывают, вон один укусил за икру, — так ни с чего, взял да и укусил, освидетельствовали: не бешеный ли? И ходит по-прежнему на службу, а та, укушенная, с испугу прививалась в пастеровском институте.

— Совсем противоречивые сведения о жизни, — сказал Черпанов, глядя в бумажку. — Жаворонков представил тех, которых он должен вести. А вы можете идти. Я составлю более разумную анкету. А тут только рост преимущественно. И надо ли оскоплять или не надо? Никого оскоплять не будут. Мне важно выработать, какая конституция больше подходит. Тут бы, собственно, комиссию создать. Пока они ждут, когда их отправят, комиссия выработает типы, необходимые для перерождения в первую очередь, затем — во вторую и так далее, по скале. А то — полная дезорганизация! Где я вас ощупывать буду? Здесь полная невозможность, причем, вон установка: верить ли в бога и возможность возобновления храма Христа Спасителя и надо ли оскоплять? Идите, я не могу беседовать на такие дурацкие установки. И это что за графа "Уч. в взрыве стд. Нет"? И одинаково у всех.

— Чем же это дурацкие? — сказал человек с длинными рукавами. — Оскопить людей может и дурацкое, а ведь дальше-то как же с

ними поступить, если вы признаете свою ошибку? А последние сокращения означают: в предложении о взрыве стадиона не участвует.

Черпанов захлопнул ванную. Он был доволен. Он посматривал на меня чрезвычайно хитро!

– Вы полагаете, я спал? Нет, зачем же! Я приглашен вечером к Трошину, но я нарочно лег посмотреть, что-то будет. Он ведь хитрый и наглый! Списка составлять не хочет: "А вдруг, говорит, конъюнктура переменится и вас ко всем чертям?" Так я лежу, а он все-таки трусит. Заглянет в дверь, и видно на морде такое желание разбудить. И не решается разбудить. Вот и сидят. Это доктор их здорово подделал. А как вы думаете, не было желания у доктора мобилизовать каменщиков для нас и с этой целью он устроил обед?

Я только изумленно поник головой.

– Все возможно. А теперь мы пойдем к Трошину!

– И зачем вам нужен этот шулер, крупье и вообще сволочь?

– Поверхностно вы смотрите, Егор Егорыч. А вдруг это в прошлом был инженер литейщик, специальность, которую, небось, из-за границы выписывают, а тут чем-нибудь обиделся и скрывал ее. Мы ж внимательным и нежным к нему подходом приспособим его. Человека нельзя не рассматривать разносторонно, если вы его ведете в бесклассовое общество.

– Это Трошина-то в бесклассовое общество? – произнес я в чрезвычайном изумлении.

– А чего нет?

– Шулера?

– Дался ему шулер! Ну, допустим, нет у него никаких добавочных и скрытых качеств. Так вы полагаете, что и шулера нельзя приспособить. Мы из него карточного фокусника сделаем. Пускай ребятишек забавляет. Но в конце концов меня занимает не столько Трошин даже, сколько костюм.

– Костюм?

– А как же? Он у Трошина же. Вот здесь еще раз... – Он показал список. – Жаворонков подтверждает свои показания. Вы понимаете, глупо, конечно, искать костюм для себя, но я его надену один раз, а затем передам для общего пользования всей коммуны. И здесь, с известной какой-то точки, начинается и для самого меня какое-то перерождение.

Я заколебался:

– Но стоит ли брать ради того шулера? Он же всех обыграет и картам научит.

— Неужели вы думаете, что социализм создают какие-то особенные люди? Люди создают самые обыкновенные, с присущими им задатками зла, но надо пресекать это зло и направлять зачатки добра, которые у них и раньше были, но они в них не нуждались, ибо при капиталистическом строе — это вещь очень неудобная, почти нелегальная. И вот — направляй человека в изыскание его благородных чувств, добра, самопожертвования и прочего! Разве бы мне раньше могла прийти в голову мысль поделиться костюмом, с таким трудом добываемым, с другими? Вы увидите еще не такие случаи самопожертвования. В дальнейшем.

Я согласился. У дверей Трошина я еще поколебался: не спят ли? Не могли спать. Мы вошли. Комната была густо набита. Здесь курили, сидели на полу, на деревянной кровати, смотрели на нас с величайшим вниманием. Черпанов держался гордо, я бы сказал, даже повелевающе. Он зевнул, потянулся, сказал, что дела и выспаться не дадут. Вообще высказывал полное пренебрежение обществу, и это действовало, лица становились все почтительнее, хотя и морды здесь были самые отъявленные. Не знаю, то ли я не проспался, то ли действительно был такой подбор рож. Трошин был чрезвычайно озлоблен, и вот здесь-то еще мое появление. Он сидел с завязанной головой, ему да и мне тоже было совестно смотреть друг на друга. И вот здесь-то даже и его озлобленность помогла. Черпанов спросил:

— Что же, по списку принимать буду?

— Нету списка, — ответил Трошин. — И не будет! Вообще я собрал самую отъявленную дрянь. Лучшего нету, знаете, все лучшие ушли, сознаюсь, на более подходящие места. И вот если вы эту дрянь желаете вылечить и можете вылечить как от телесных, так и душевных недугов, то тем и лучше.

XLIII

Черпанов осмотрел все эти испитые, пропитые, опухшие и высохшие рожи. Отвращение скользнуло на его лице, но он сдержался. Он ткнул в лицо первому попавшемуся.

— А ну, открой рот!

Тот открыл. Черпанов постучал по остаткам черных зубов.

— Вылечим. Вставим. Но как же без списка? Вот видите, Егор

Егорыч, что значит нет у нас подходящих анкет. Надо вам поскорей созывать комиссию. Тут главное, я их, конечно, могу записать.

– И записывать не позволю, – взвизгнул Трошин, видимо радуясь возможности причинить побольше пакостей. – Если хотите, принимайте на память!

– Здесь люди все осторожные. Доставите на место, там и можно составить список – сказал какой-то осипший бас.

– Что же касается того, запомните ли, так я вам ручаюсь, что могу рассказать такие пакости и вообще вопрос пойдет совершенно в открытую. Принимаете ли вы их с такими недостатками или отвергаете? И если отвергаете, то укажите им ближайшие перспективы.

Черпанов вдруг замахнулся кулаком. Они отхлынули. Он прошел и сел впереди, положив ногу на ногу, выставив сухой и громадный кадык. Они посторонились:

– Это даже становится интересным. Хорошо! Говорите истину, как ни перед кем не говорили, и я даю слово, что перспективы будут открыты.

Что-то человеческое и даже страшное промелькнуло в их глазах. Черпанов понял, что обмануть их не удастся. Он так и сказал перед тем, как Трошин приготовился говорить. Странное дело, это волнение захватило и Трошина; он-то никак не думал, что вопрос Черпанов сможет поставить так глубоко. Пожалуй, я не совру, если скажу, что он первый раз в жизни говорил правду, причем, и озлобленность в нем играла, и жажда как-то возвыситься.

Черпанов смотрел на каждого подводимого внимательно и даже с усмешкой, но по мере того, как продолжался рассказ Трошина, он строжал.

– Здесь отобраны преимущественно люди, которые до известной степени связаны еще с обществом. Нам необходимо представить двести десять человек... Характеризуются они, – как вы сами понимаете из моей профессии, – не теперешней, о ней и говорить не стоит, а прошлой – пристрастием к вину или же к картам или к тому и другому вместе. За ними много грехов. Как, сам кандидат будет рассказывать или же мне?

– Пускай, кто может.

– Здесь, понимаете, в каждом деле, самое трудное начать. Поэтому скажу вначале сам. Вот этот, он, видите, подвержен аффектации. С детства он не приучен владеть собой и попал в обстановку, благоприятствующую безделью, кутежам. Он и перенес это. Он был даже на высоких постах, до секретаря губкома. Держала жена. За-

тем ей надоело. Он мгновенно сорвался, хапнул деньги, проиграл. Быстрая смена качеств совершенно противоположных. Доброта и дикая нелепая жестокость, гнусные выходки, чрезмерное самомнение. Страдает болезнью печени, страшно мучается. Вы посмотрите ему в глаза.

– Дальше! Следующий!

– Рассказывал мне сам. Удовлетворение некоторых влечений желудочных и половых. Все, что возвышает и облагораживает, отступает обычно на второй план, обжорство и грубый разврат, выиграв в карты, он может много жрать и спать с кем попало, иначе не встает. Изнасиловал дочь и тем мучается. Погубил старуху мать, проиграл у ней казенные деньги, старуха научилась грамоте на шестом десятке и умерла от потрясения. Вот теперь и ноги отнялись, но при виде вина удержаться не может: все проест и пропьет.

– Следующий. Противоположный.

Черпанов махнул рукой. Выступил противоположный.

– Постепенно осознавал эволюцию народа и общества. И все это разрушено. И тогда выкинул благоразумную расчетливость и осторожную сдержанность и решил, что можно нажиться и в карты. Никогда не придерживался крайних убеждений. Умеренно либерален. Определенные, прочно сложившиеся привычки. Боюсь я всяческих новшеств, и странно, в картах тоже имею уже привычки, но не играю крупно. Подчиняю любовные увлечения требованиям рассудка и вот странный же я тип: начали играть в карты, и я обыграл и предал лучшего друга. Убежден, но совершаю всегда противоположное. Надо поставить на средний уровень. Если можно сказать, самая главная вина в благоразумной расчетливости, и вот надо же не карт лишить или вина, надо меня научить или, вернее, найти место, а много ли я совершил преступлений? Да нет, просто умеренностью своей и либерализмом вогнал в гроб всю семью. Я ученый, даже мог бы быть большим ученым!

Опять вступил Трошин:

– Поэт. Бурная эмоциональность и огненная фантазия. Любит карты и вино, потому что находит что-то за их пределами. Совратил этим многих. Сам не знает и таблицы умножения, но сосредоточенная мощь и глубина, жизнь спиной к мелочам и лицом к идеалам, питающим его вдохновение. Чрезвычайно трудолюбив. Он целен, но однако он губил друзей, всех близко соприкасающихся с ним. Моральная стойкость, несмотря на все невзгоды жизни. Он свободен. Республиканец, демократ, аристократ, ему наплевать на все,

лишь было б искусство. Вино и карты непременно. Иначе он не едет. Что его мучает? Любит детей, но не может их держать при себе. И загубил трех, они умерли, потому что жена его слушалась. Вот если вам удастся сочетать детей, он приведет не восемь человек, которых надо привести, а сто восемь.

– Активный. Склонность к деятельности. Почему его не пригласили, а он только должен исповедоваться? Что это за предприятие, в котором он не приложен?

– Замолчи. Я скажу про него. Склонность к душевной борьбе и самообладание у него отсутствуют, поверхностна и примитивна психика. Деятельность его лишена планомерной и целесообразной последовательности, я его держу для разнообразия, перекинешь на то, на другое. Он немедленно хочет осуществлять многое, без сомнений и колебаний. Он погубил целую группу людей, строителей большого дела, он инженер, и его презирают. Любит карты и вино, потому что здесь какие-то намеки деятельности. Страдает катаром, вообще-то дурак, и на него не стоит обращать внимания.

– Дальше!

– Расчетливый эгоист. Все будто в порядке, он даже и костюм другой надел, вообще он любит переодеваться. Демагог он и в разврате, втихомолку и потихоньку, никогда не доведет дело до крупного расстройства дел и разорения. Я даже и сам не знаю, какая его истинная профессия и чем он занимается. Он стоит, ухмыляясь, не выражая беспокойства. Видит здесь какой-то чрезвычайно утонченный разврат. Осматривался плотоядными глазками, и вид у него чрезвычайно благоразумный. Ограниченность умственных, эстетических и идейных интересов толкает его на чрезвычайную чувственность. Он весь лоснится и не верит, что я его выгоню. Только его постоянная сдержанность не дает ему полный простор, и он соглашается ехать только потому, что я его припугнул. Он поедет не с нами, а, смазав, где нужно, он получит еще командировку двойную. Он мне многое обделывает и во многом сам меня спасает. Еще?

– Дальше.

Говорит сам. Скоро говорит. Богат мимикой, жестами, быстро изливает все свои чувства. Энергия находит выход в этих чувствах. Весь интерес направлен на окружающее. На первый план общественная жизнь с ее нуждами, планами и потребностями. Карты и вино – это развлечения не на душевном интимном мире каждого. А междучеловеческие отношения ему нравятся. Например, что так много картежников и винознакомцев соединилось. Это можно развить, только

поработать. Он большего ничего и не хочет. "Я могу привлечь и организовать людей". Мало 15, прошу увеличить эту сумму! Не только подберу приглашенных, но и сгруппирую их интересы! Кто любит Сотерн, кто Шабли, кто шестьдесят шесть, кто железку. Заинтересовать людей и придать разговорам известное течение! Для удовольствий и развлечений я объединяю людей. Чем мучаюсь? Да ничем. Бойкий, расторопный, могу услужить. Все было б хорошо, но погубила беспринципность. Прошу привить принципиальность и направленность. В этой надежде и еду. Человек голый, никаких принципов. И как только будут принципы, и все хорошо. Здесь же невозможно, ибо благодаря беспринципности отовсюду изгнали, даже из собственного дома, чем и несказанно огорчен.

Но огорчения на его лице не читалось. Наоборот, он даже радовался тому, как разворачивается жизнь.

XLIV

Я устал. Прошли неудачники, истерики, прошли люди, измотанные в результате напряженной работы и целая гигантская теория карточной вины, с результатом осознанного дела. И Черпанов обещал представить это в обширном докладе, и отсюда его отправные цели, что он намерен поставить точкой опоры в будущей деятельности. Прошел человек. Он, единственный из всех, желал вчувствоваться в наши горечи и радости, которые мы пережили с Черпановым, он желал направить свою деятельность на помощь страдающим и нуждающимся, ибо за последнюю игру он здесь всех ожидающих обыграл и выиграл даже души их. Оказалось, что он в лоск пьян.

Затем прошел человек, который желал реформировать карточную игру, чтобы придать ей глубоко научное значение, чтобы люди, играя, проходили целые научные дисциплины, математику. Он даже соединил филологию с картами. Все это получалось страшно интересно. Он преодолевал внушения авторитета многих веков и желал нас спасти.

Прошел и такой, который, всецело подчиняясь нынешней толпе, не верит, чтобы люди не могли играть, он не видит из этого выхода, и если удастся устроить, то потому, что вы просто сами станете играть вместе с нами, бежать от мучения и горести об утраченных

жизненных возможностях. Он был когда-то красив, и его могла полюбить девушка. Его ожидало счастье, но и это прошло за картами, как заигранная карта. Видите, и лица нет! Только большие знатоки могут отличить.

Черпанов слушал их все более с гордым лицом, он возносился на какую-то необычайную высоту. Он задирал голову, кивал головой, и только в конце концов торчала его нога, и перед нами колебалась подошва, которая в этом сумраке, где было и тесно и накурено, вполне могла заменить лицо. Она и заменяла до известной степени.

Люди были чрезвычайно взволнованы и потрясены всеми этими откровенностями, тем более, что и сам Трошин тоже чрезвычайно гордился тем, что это ему удалось вызвать такое возбуждение, такую откровенность, и думаю, что это его потрясло настолько, что он начал больше верить Черпанову в конце довольно утомительных жалоб, которые в сущности сводились к одному и тому же; здесь перед нами прошли и люди с большим воспитанием, и мелкие лавочники, и боюсь, чуть ли не князь один, но все это подействовало на нас страшно возбуждающе. Все с нетерпением ждали, что же скажет Черпанов, когда последний преподнес свою жалобу.

Мы видели, что Черпанов начинает спускать подошвы. И вдруг он мгновенно кинул их на стол. Вскочил и облобызал первого попавшегося. Затем второго. Дал всем руки. Сухое всегда его лицо сияло. Уверяю вас, что он плакал. Затем откинулся прочь и заговорил, выпятив вперед грудь:

– Для начала мы произведем вспрыскиванья! И не думайте, что так и мгновенно намерен отучить и лишить всех ваших мучений. Нет, я не пройду мимо! Мне вас не жалко, в сущности, вы бы должны погибнуть, но только недостаток рабочей силы вынуждает нас произвести данный опыт или даже не опыт, а использовать вас. Вы даже играть будете. Здесь я беру замысел сего гражданина, который хочет придать картам какую-то научную окраску. Возможно. Но пока вам вспрыснут химические препараты, посредством которых вы и излечитесь от мучающих вас физических болезней. Но не от душевных! Душевные я вам лечить буду! Никто из вас не сказал, что и как ворует, да это и хорошо. Я вас всех запомню. Я имею привычку заходить к каждому на дом и проверять анкетным способом. В данном случае придет мой секретарь. А теперь идите и, если встретитесь на улице или в учреждении, сразу увидите, насколько вас запомнил Черпанов.

Это были поцелуи, тонко рассчитанные. И это сражение их гор-

дости и высокомерия. И даже слезы на Трошина подействовали. Он сидел потрясенный. Когда те вышли, нас осталось трое, Черпанов приступил:

– Показывай костюм, который получил от Жаворонкова!

– Он у Населя, – упавшим голосом, все еще не опомнившись и без озлобления, сказал Трошин.

– Променял? Вот гад! На что?

– Часы отдал.

– Покажи!

Черпанов посмотрел:

– Ты думаешь, золотые? Они фальшивые.

Я подумал, что это из часов ювелиров и Насель испугался и замыл их.

– А черт с ними! Костюм требуйте с доктора. Я занял поросенка для закуски, а часы я отдам Ларвину, а поросенка сожрали. – Он впал в обычную свою озлобленность. – И вообще, что такое счастье, Леон Ионыч? Вот вы говорите, полное счастье, мне при полном счастье никак жить невозможно. Кто же при полном счастье будет в карты играть? Слышали ль вы, чтоб когда-нибудь влюбленные, не до того, когда они объяснились, а когда получили полное счастье, играли в карты, хотя бы в покер? Нет, они пользуются своим счастьем. Исчезнут карты в вашем строительстве, Леон Ионыч!

– Зачем же, невинные карты могут остаться. Скажем, в подкидные дураки.

– Не будет. Если человек счастлив, то он и подкидным дураком не пожелает быть! И, кроме того, если имущество общее, то во что же играть?

– А по носу бить? Любопытно.

– Разве что по носу. И зачем тебе костюм, если полное счастье? Может быть, ты Егора Егорыча желаешь одеть? Так ему к лицу. Но, вот что. Ты мне по рублю дашь за человека. Двести десять рублей, а я тебе тогда и анкеты заполню, а то не будут заполнять.

– Да, но за каким чертом тебе надо было продавать костюм? Насель? Это с которым вы сегодня плавали? Препротивная фигура. Книжками торгует? Придется к Населю идти.

Трошин повторил с озлобленностью:

– Ну, у этого не получите, он ни в карты, ни вина, за ним никаких грехов нету.

– Найдем у него грехи. Пошли. Ты насчет представителей в комиссию подумай и свяжись с Егор Егорычем.

XLV

Я мучительно раздумывал. Какого же сорта анкета и что в ней должно содержаться? Мне казалось легкомысленным то, как я согласился быть секретарем большого человека. Надо, конечно, иметь крупную подготовку, и мечты мои совершенно не имеют под собой ничего реального. Надо бы посоветоваться с доктором, но, боюсь, он придаст этому внесоциальный вид, ибо он говорит только о социологии, а на деле опирается на одну биологию. Я перебирал лиц, к которым обратиться за советом. М.Н. Синицын? Но его отношение ко мне резко отрицательное, и, кроме того, имею ли я право выдавать тайну?

Доктор поднялся стоная, он был одет очень прилежно. Сверкая глазами, он в то же время стонал; черт его знает, как он мог соединять все это в себе, он сообщил мне, что давно поджидает меня, что уже давно ходил по коридору, встретил старуху Мурфину, она, дьявол, молодится, тогда он ее подвел к трюмо, которое возвышается рядом с разрушенным нами гардеробом, и сказал, как от носа курицы проводят черту, и она не может отойти.

Доктор мне сказал: "Обратили ли вы внимание, что тусклое зеркало придает лицу удивительно трупный и пыльный вид? Пойдемте посмотрим на нее и, кроме того, погуляем по двору. Сегодня уже не успеть, но завтра мы непременно выедем за границу. В сущности все дело ювелиров ясно и уже приготовлена фраза".

Я не знаю, какую черту провел доктор, но, признаться, мысли его мне казались странными: ему все казалось, что Степанида Константиновна смотрит в зеркало, в то время как она вела совершенно ясный разговор с одной бабой. Баба ясно обратилась к Степаниде Константиновне с заявлением. Она утверждала, что дала ей на хранение вещи. И та орала, – будет ли она, во-первых, хранить добро какой-то контры, а, во-вторых, ее муж действительно сослан. Баба вязалась: оставила на хранение серый заграничный костюм, пианино, одеяло, а приехала, – нет ничего и все!

"Какая тут, к черту, курица", – подумал я, но тут же обратил внимание на разговор их насчет серого костюма, значит, есть какая-то истина в разговоре Черпанова и в его поисках? Значит, он не поддевку ищет?

Доктор взял меня под руку, мы бродили по булыжному голу-

бому двору. Прекрасный осенний день. Тепло, даже душно. Несомненно, разговор у трюмо преломился в душе доктора, он его несомненно слышал, но преломил его по-другому. Он даже как-то затуманился, но мгновенно вспыхнул:

– Разве возможно грустить в такой день? Здесь надо только повод найти рассмеяться! И вообще с легкой шуткой отнестись ко всему! Несомненно, семейство Мурфиных сейчас более чем когда-либо нуждается в шутке. Ряд удивительных шуток скопился у меня в голове. Я наслаждаюсь жизнью. Хотя странно, на меня находит страх, например, в гардеробе мне казалось, что я тону, а теперь я убежден, что у Сусанны впечатление обо мне как о лихом человеке. Самое важное – подождать. И когда придет победа, люди уже сами наполнят своими выдумками те ощущения победителя, очень постыдные, может быть. Но он же не может сказать истины, потому что эту истину могут сказать и понять как рисовку. Поэтому я нахожусь в редко выгодном положении. Я еще не победитель и еще могу делиться своими чувствами. Но вот, когда я побежу и когда будет рассеян туман бреда о короне американского императора, и то, что мне кажется наиболее достоверным, то что в этом доме ничего не говорят об этой короне, и воображаю, что творится за границей и какое важное значение придали тому, что я не приехал и я должен принести для них уничтожающее положение. И я его принесу! Я сделаю особый доклад здесь. Аудитория будет переполнена. Мне будут аплодировать. В качестве экспоната выйдет Сусанна. Для нее будет это решающим днем. Ее уже, сверхидею, она получила, и ей будет смешно рассказать о своей выдумке. Но она расскажет. Аплодисменты. И где-то будет сидеть юноша и мечтать о славе доктора Андрейшина! Слышали ли вы что-либо о короне американского императора здесь?

Я мог, не совравши, сказать, что ничего не слышал. Как я жалел, что беспомощен в таких делах, мне надо ж было что-нибудь сказать доктору Андрейшину, он находится в диком заблуждении, но сладострастие и даже злорадство было во мне, и я молчал, наблюдая за его веселым лицом.

Замечательно весело я себя чувствую. Расскажите какой-нибудь анекдот, Егор Егорыч. Сегодня-то я непременно расхохочусь, дайте повод огласить этот убогий двор смехом.

Я рассказал. Парикмахер спросил мужика, который вез на коне мешок сена на рынок, сколько он возьмет за то, что на коне? Мужик запросил умеренную цену, которую парикмахер и обещал запла-

тить. Когда же мужик, сложив мешок, потребовал деньги, то парикмахер потребовал также и седло, как находившееся на коне. Мужик спорил-спорил, но принужден был отдать. Спустя некоторое время после того мужик пришел к парикмахеру и спросил его, что он возьмет за бритье его и его товарища. Парикмахер запросил тридцать копеек. Мужик, обрившись, привел после того своего коня и сказал: "Вот мой товарищ. Или брей, или отдавай обратно седло". — Один подагрик, увидев вора, ведомого на виселицу, сказал: "Желал бы я иметь твои ноги". А вор отвечал: "А я б желал иметь твою голову".

Доктор с удивлением помотал головой:

— Нет, неудачные рассказы. — Он опять отошел от меня, посмотрел и поднял к уху руку. — Непременно необходимо крайней шуткой разрушить их семью! Если мы так могли разрушить семейство Населя, то здесь, конечно, гораздо легче.

— Разрушайте сами. Ведь у вас еще ожоги по всему телу, вы еле ходите. Вот пробежитесь.

Доктор попробовал побежать, но, стоная, остановился.

— Вы правы, я думаю, что и не рассмеялся вашему анекдоту, потому что внезапно почувствовал боль в какой-то части тела, но сознание так великолепно налажено, что оно отодвинуло эту боль, и тем не менее, конечно, не поступками, но смехом и вообще шутками все возможно.

XLVI

— Мой доклад, — начал Черпанов, — будет краток. Я только дам чистую пометку работ, так как по общим вопросам мы уже столковались, Но раньше чем приступить к докладу, мне бы хотелось сказать несколько вступительных слов, в частности, направленных в сторону Ларвина.

— Правильно, — словно и ожидая только этого выступления, сказал Ларвин, — дайте мне слово!

— Нет, я вам не дам, пока не скажу своего, — с непонятной всем злостью вдруг сказал Черпанов и даже стукнул ладонью по столу. — Вот вы, товарищ Ларвин, надели сюда на заседание лучший свой костюм, и этот поступок был правильный со стороны вашего

желания предстать более опрятным, чем вы есть, данному собранию, по существу же в подобную духоту одеваться глупо!

– Дайте мне слово! – крикнул Ларвин и вскочил.

Черпанов тоже вскочил. Их злость несомненно всем казалась непонятной.

– Нет, не дам! – еще громче сказал Черпанов, – и я знаю, что вы желаете сказать, товарищ Ларвин, но раньше вы все-таки выслушаете мое мнение и о вас и о вашем костюме и вообще о костюмах, хотя для некоторых здесь присутствующих этот вопрос и первостепенной важности, но не для меня. Если я забочусь о костюме, то я забочусь о костюмах для всех, и нельзя посредством какого-то мифического костюма вводить раздор в нашу коммуну. Сядьте, Ларвин, и будем говорить спокойно.

Ларвин сел, но торжествующий пот уже стекал у него подмышками. Мне кажется, что от него пахло, но Людмила, которая сидела рядом с ним, испытывала чуть ли не большое удовольствие, точно она его загнала – как коня – и радуется тому, что конь не издох.

– Итак, я продолжаю. Костюм, конечно, важен, но все-таки сущность не в этом, и, боюсь, что мы можем обмельчать, если будем думать, что войдем в коммуну в одном костюме и он, так сказать, будет прикреплен к нам. Ничего подобного, мы в самом деле должны изгнать зависть в каких угодно проявлениях, и самое страшное – не загонять ее внутрь.

Не знаю: то ли рассказ его самого утомил, то ли его волновала наглая торжественность Ларвина, но речь его была очень бесцветна и, главное, запутана, так что все смотрели недоуменно, и даже ошалевший от своего подвига Жаворонков прислал ему записку, которую Черпанов изорвал в мелкие клочки и положил в карман. Вскоре после прочтения этой записки он остановился на полуслове, словно ожидая кого, но всюду было тихо, и он сказал: "Теперь, когда мелочь отметена и мне хотелось, чтобы вы поменьше мелких фактов вгоняли в себя в эти несколько дней, когда вы готовитесь к полету, да, безмоторный полет по социализму в коммунизм, когда вы шагнете и уже будете наполнены новыми чувствами..."

Опять вскочил Ларвин, но здесь дверь широко и с силой распахнулась – и, клянусь чем угодно, или я устал от всего виденного, и, заскучав над речью Черпанова, от которого я ждал большего, я задумался о докторе Андрейшине, но мне показалось, что в дверях мелькнуло его круглое лицо. Но все внимание было сразу же погло-

щено фигурой старика Мурфина, который стоял совершенно багровый, босой, в длинном пледе, который прикрывал необычайно рваную и грязную рубаху далеко ниже колен. Он трясся, он говорил с трудом, он опирался на палку, вообще, в нем было много и страшного и смешного, на пледе, на груди была прицеплена английской булавкой краюшка хлеба, для того, должно быть, чтобы он сразу наклонялся и откусывал, а не тянулся руками, а на руках были почему-то длинные шоферские, засохшие и чрезвычайно паршивые перчатки... Смотрел как-то особенно внимательно в пол, и особенно торжествующая улыбка показалась у него на лице. Прошли две-три минуты, не более, но вдруг старик взмахнул рукой так сильно, что шоферская рукавица взлетела, и обнажилась пухлая рука, обычная старческая, которую прикрывать было незачем, и вообще старик был бы благообразен даже, а что он, наверное, очень силен, то это было без сомнения, подержать бы его только в большой чистоте. Так вот старик в эту поднятую руку всунул другой палку и затем проговорил медленно: "Вон, контрреволюционеры!" Начал он на высоких нотах, а кончил бормотанием, так что никто не понял; поэтому он счел необходимым повторить и повторил: "Вон, контры!" А затем опустил палку, сильно стукнул ею о пол и засопел. Гнев ли его душил, говорить ли ему трудно было – не знаю, но на Черпанова возглас его произвел просто какое-то освежающее действие, он встрепенулся, оглянулся, до того он сидел, низко склонив голову, он даже встал. Я почувствовал, что он в ударе, но тут в дверях показалась запыхавшаяся Степанида Константиновна.

– Опоздала? – сказала она и, увидев старика, еще более приосанилась, вообще она его запугивала, уничтожала его своей видимостью и мощью жизненной силы. – А его зачем притащили?

– Сам пришел, – сказал Жаворонков.

Увидев Степаниду Константиновну, старик испугался, она его подхватила под-мышки и повела, а он сразу осел, у него опустились губы, и огромная любовь и еще какое-то сладострастие появилось в лице, так что дочери отвернулись, ее власть над ним была безгранична, и мне было противно, что развалина может сладострастничать, и кто знает, не ревностью ли был вызван его возглас, потому что почти умоляюще он бросил, уходя: "Убери их, Степанидушка!" Он с трудом перевалил за порог, уперся в стену, дверь за ним закрылась сама собой.

Я уже окончательно убедился, что доктор Андрейшин впихнул

его, – это его глупая шутка, недаром у него были такие озорные глаза. Молчание прервал Ларвин чрезвычайно подлой усмешкой:

– Еще один член президиума! Кооптируем, что ли?

Черпанов посмотрел, я бы сказал, на меня изумленно. Я стукнул кулаком о кулак. В конце концов, надо и мне приобрести некоторые привычки. Я повторил: "Ну, к Ларвину, так к Ларвину". Поскольку теперь для меня выяснилось, что дело, видимо, не грозит смертоубийством, я готов. Но в каком отношении он с братьями? Мы их так и не увидим, не очень-то я бы их хотел видеть. Признаться сказать, такие зверские рожи даже во сне, зная, что это сон, нельзя увидеть с удовольствием.

Скажете – это детские игрушки. – Извините, что-что, а детские игрушки я знаю. Я жил вместе со служащим Мосторга, он приносил – он не любил переписки, да его приятель запил – утром распакуют, а к обеду они уже развалились, так мой сосед по вечерам их склеивал и сгвоздивал. Родители изумлялись: "Отчего только в вашем ларьке крепкие игрушки?" Он вежливо говорил: "Получаем первый сорт". Так вот там я видел, что игрушки совершенно с благополучными лицами до непристойности. Такой представляешь свою будущую жизнь в шесть лет.

XLVII

Помню я, в гражданскую войну был у нас в полку петух. Мы отбили у белых несколько музыкальных инструментов, нашлись музыканты, раньше они работали в вольнопожарном обществе, а при скудости общественного движения при царизме сюда шли люди, как-то склонные к общественности. Всю ночь мы репетировали "Варшавянку". Помнится, когда уходили из села, то из-за школы вышел петух. Он шагал в ногу с оркестром. Я никогда не видел петуха, который столь бы любил музыку. Он спал на музыкальных инструментах, любил больше всех капельмейстера. В одной операции возле Златоуста наш полк зарвался, и нас окружили. На нас двигались "голубые гусары" и сибирские казаки. Мы были молоды и решили погибнуть с музыкой. Мы играли, на нас кинулась лава казаков. Когда петух увидел, что на капельмейстера несутся, он кинулся под ноги коню, конь вверх, офицер наклонился, чтобы его рубануть, – это

был лихой, видимо, парень. Как нам было жаль, сколько раз были голодные, но мы не резали петуха. Офицер тотчас же сковырнулся. Мы отбили атаку и даже штыковым ударом, на конницу, — подумайте, что значит молодость! — вышибли их из леса. Шестнадцать пуль было в башке офицера. Разговор о петухе отвлек наше внимание от опасности и дал нам возможность продержаться до подхода помощи...

XLVIII

— Любопытно, — спросил я доктора, — какова же, однако, роль Ларвина в этой интриге? Мне, по вашим рассуждениям судя, представляется он-таки довольно вялым и ничтожным человеком...

— Я и сам думал до последнего времени, — сказал доктор совершенно серьезно, — если б события не разъяснили мне многого. События заставляют иногда и самого вялого человека быть бойким.

— Сентенция, совсем не достойная вашего ума, Матвей Иваныч. Но может быть, в углубленной, так сказать, значительности Ларвина играет роль история со стадионом? Любопытно было б знать, кто выдумал взрыв?

Это доктор выдумал психоз относительно стадиона, сам я понял — откуда он пошел. Синицын ему говорил о новом психозе при последнем свидании: как бы не взорвали стадион. Приехал Юсупов, а все застроено, он остановился, бросил маскировку, и ходит, закладывая шашки необычайной силы, отыскивая свои сокровища.

— Иногда мысль имеет значения больше, чем взрыв. Но об этом мы побеседуем дальше, а сейчас хочется вернуться к истории с Ларвиным, посвятить вас в нее? За последние дни, как вам известно, произошло много событий в этом доме. По-прежнему, в саду шумят тополя над верандой, но многое изменилось. Когда Ларвин вступал в министерство, у него был ряд проектов. Они, руководители, — считайте, что дело происходило в Болгарии, — знали отрицательное отношение рабочего класса к войне и что рабочий класс будет сопротивляться, может даже объявить политическую стачку, и в первые дни войны работа военных заводов, хотя туда и подбирались соответствующие кадры из профсоюзной бюрократии, затормозится, кроме того, поскольку весь удар должен быть в этой войне направ-

лен со стороны газовой, а в стране газовых заводов тогда, когда Ларвин вошел в министерство, было мало, то одним из его проведенных проектов была заготовка страшного количества газовых баллонов. Теперь, в период его работы, количество газовых баллонов удесятерилось, заметьте, что им дала заем заокеанская держава, чего Ларвин не учел, а теперь уже шла агитация против него, что он зря запас газы, плохо предвидел. Ларвин желал войны: он провел большое постановление о маневрах, мы с вами приглашены туда, повторяю, что Ларвин заигрывает со всеми, кто есть в доме Мурфиных, ему чудовищно необходима поддержка, он утверждает, что страна наполнена шпионами соседней державы, маневры будут грандиозные, военные атташе все приглашены.

Я расхохотался. Доктор, тоже смеясь, полузакрытыми глазами смотрел на меня.

– Конечно, смешно, Егор Егорыч, что мы с вами, глубоко штатские люди, думаем разрушить военного министра.

– Ореол войны несомненно поднимет его в глазах Сусанны, Матвей Иваныч.

– Гигантски, Егор Егорыч!

– И этот же ореол войны задушил военную прессу.

– Несомненно!

– Вот и любопытно мне, каким же способом вы его думаете скомпрометировать и отогнать, так сказать, от Сусанны. Кроме того, у него невеста Людмила, хотя мы только что и слышали, что Людмила отказалась от него.

– А мы возбудим в нем любовь к Людмиле, во-первых, во-вторых, докажем, что Сусанна не столь-то любима матерью, чтоб мамаша пожертвовала своими капиталами, а, в-третьих, вы слышали об овсе?

– Война механизирована, и поставка овса не имеет большого значения для армии.

– А если овес идет на изготовление газов? И если Людмила закупила все его наличные запасы в стране?

Он неистощим на выдумки, в конце концов вся эта игра начинала мне нравиться, сумасшествие – это только чужой язык, который мы не понимаем, в конце концов это не так страшно и даже весело, а затем, если и сделал я первые шаги к сумасшествию, то что же мне отчаиваться и сопротивляться, оно находило на меня, как гора.

И мы пришли к Ларвину. Он щеголеват, в нем было, действи-

тельно, что-то военное. Он ходил по комнате, всюду были расставлены бумажные кошелки, на стене висела карта зоофизическая и чучело тетерева, изъеденное молью. Хозяин, видимо, любил путешествия. Другая географическая карта Африки висела напротив. Комната была щеголевата и опрятна, стаканы вымыты. Сам хозяин читал книгу об охоте. Встретил он нас приветливо:

– Ну, как вам нравится наше кафе? – спросил он, и все в его обращении говорило, что он готовит себя к будущей жизни и все называет именами своей будущей мечты или прошлого, черт его разберет!

– Кафе, я так называю это место. Кафе или клуб. Конечно, есть опасность, когда собирается группа одинаково мыслящих людей, что волей-неволей будут одинаковые поступки. Вот я убежден, что если б мы трое, как я, и мечтали о путешествиях, то может быть, трое и не уехали, но если б нас было десять, я убежден, что экскурсия была бы готова. Так и с нами. Не думайте, что мы сразу поселились в этом доме, нет, это вышло как-то случайно: дом гнилой, зимой в нем дикий холодище, всякий рад или обменять квартирку или продать под каким-нибудь удобным соусом, и так как некоторые были просто домовладельцами, сознаюсь, им нужно было выматываться из прежних квартир, все это соединило нас. И что же, вот я – продовольственный спекулянт, жулик и прочее, и говорю откровенно, а что создало меня? Случайность! Думаете, мы не обеспокоились, когда выяснилось, что в этом домишке собрались лишние? Очень обеспокоились, нам вовсе не хотелось иметь клуба. И, во-вторых, что это за дом, в котором нету даже ни одного коммуниста? Мы даже в милицию ходили – так, мол, и так, но странное явление: нет в доме коммуниста. Милиция тоже удивилась. Неужели, говорит, нету? Нет. Но, говорит, может быть, есть какой-нибудь ветеран гражданской войны? – И тоже нету, а есть, мол, только из чиновников госказначейства, первым перешел на сторону существующей власти, и теперь пенсионер. Ну вот, говорят, и напирайте на него. Да чего ж, говорим, на него напирать, когда он до того ослаб, что из второй категории скоро в первую перейдет и ничего, кроме "вон!", говорить не умеет. Обучите, говорят, но в общем, если будете вести себя смирно, то можете жить и без коммунистов. Ну, мы вернулись, научили Льва Львовича к слову "вон" – "контра" добавить и начали жить смирно. Но судите сами: если десять человек, любящих путешествия, собравшись, непременно пустятся в экскурсию, то не могут же пятьдесят человек, одинаково мыслящих, не пуститься в спекуляцию.

— Но ведь вы, небось, опасались друг друга?

— До последнего дня опасались, всякого лишнего человека обнюхивали, и не попади вы вместе с Леон Ионычем, вы б увидали примерных служащих, которые только и говорят о службе.

— Следовательно, Леон Ионыч развязал отношения, а вы говорите, клуб господ.

— А мы ни о чем не разговаривали, все было страшно втихомолку; если и останавливались нужные люди, так все родственники, и не больше одного-двух в месяц, а если и больше, так у нас часть людишек на дачках живет. Повторяю, даже анекдотов о текущей политике вы не услышали бы.

— Очень любопытно. Следовательно, Леон Ионыч вскрыл какое-то подземное течение?

— А как же? Разве я бы стал с вами разговаривать и предлагать вам: вот, мол, Матвей Иваныч, уважаемый, сыр есть ворованный, прямо ящик с сыроварни, шофер ехал и просто мне к извозчику в переулке, да и извозчик-то прямо знакомый, свалил. А теперь, что же, если Леон Ионыч, предлагает счастливую жизнь и переход в бесклассовое общество, мы и готовы перед уходом, кто сможет, конечно, сказать правду.

— А если Леон Ионыч вас выловить желает, переодетый милиционер, так сказать?

— Не исключена такая возможность, но ведь мы и ждали, согласитесь, что в таком мощном государстве, прикрываясь одним стариком, который говорить только и умеет: "вон, контры!", долго и невозможно и скучно. Конечно, мы бы могли и разъехаться, но человек легковерен и ленив, думает: а ну, может быть, это и не сегодня. Что же касается вашего предположения о Леоне Ионыче, то зачем же на такую ораву такую мощную силу тратить?

— Вы, что же, думаете, что ваши дела мелки или просто вас забрать, вы все и выскажете.

— Зачем высказывать? Мы тоже люди твердые, мы не интеллигенты. Да нет, нельзя, говорю, идею тратить зря, не будет наша власть. Они миллиона не пожалеют, пропадай, дескать, а идею тратить не будут, а ведь у Леона Ионыча, согласитесь, крупная идея.

— Идея крупная.

— И государственная?

— И государственная.

— Следовательно, государство к нам подошло с известного конца. Что же, мы государство благодарим и будем работать. Я, на-

пример, – путешествия люблю, но так как теперь открывать нечего и последний путешественник был Пржевальский, – путешествием называется открывать земли, где говорят не на наших языках и где люди все слабые.

– А как же насчет полюса? – Доктор ухмыльнулся. – Итак, вы отказываетесь от путешествия?

– Отказываюсь. Я люблю военную жизнь. Я могу комбинат, например, охранять, комендантом быть.

– Теперь разрешите, Ларвин, задать вам вопрос. А любовью вы в вашем клубе, кафе и вообще здесь никак не были связаны?

XLIX

– Да, да, – встрепенулся доктор и поднял ладонь в уровень со своим лицом. – Ведь у вас же есть невеста?

– Ну какая же это невеста? Перекидная сума это, а не невеста. Мне Мазурский говорит: уступи!

– Кого, Людмилу? Негодяй. Такая невеста!

– Да нет, не Людмилу, а Сусанну. Вначале я себе Сусанну наметил и до известных степеней проверил, все-таки надо было роднитъся, что ли, в доме, соображения чисто коммерческие, а Мазурский – мне станок нужен был... а ему продовольствие, но станок-то мне все-таки больше. Я и уступил. Присмотрелся к Людмиле, говорит она, конечно, много, но в нашем деле и лучше, ведь теперь, пожалуй, и вредно молчание, в новой-то жизни, там нужна общественность, а какая же у ней жилка общественная, если она любовников описала с самой пакостной стороны, я даже думаю, и с медицинской точки зрения это не любопытно.

– Нет, почему же?

– Ненормально, когда человек только об этом и думает, не знаю, свободный человек, может быть, и может так думать, но нам, борющимся за существование, надо – ткнул, вынул и пошел пищу добывать. А теперь-то я думаю Сусанну взять.

Я думал, что доктор начнет свое извержение, но он как будто вдумывался в слова и большим пальцем трогал мочку уха, ухмыляясь, словно предоставлял беседовать мне, если я действительно интересовался этим делом. Я спросил – мне не хотелось говорить о Сусанне. Что мне Сусанна?

— Скажите, а вот вопрос о стадионе недавно или же давно о нем рассуждали, мне как-то не верится, что все разворотил Черпанов.

— Разрешите и вас, Егор Егорыч, спросить — вы на Урал едете?

— Еду.

— О стадионе сегодня узнали?

— Сегодня.

— Не думайте, что мы умнее вас, Егор Егорыч. Конечно, мысль о стадионе очень опасна, и, если были колеблющиеся, то теперь они исчезнут. За Черпановым поедет весь дом, тем более, что дом и разрушат, наверное, весной, эквивалентных квартир нам не дадут, так как если порыться в нашем прошлом, то окажется, что мы все с какой-то стороны бывшие люди, следовательно не вселят нас и в бараки рядом с трудящимися, хотя по документам и мы все трудящиеся, а дай бог, если дадут нам какие-нибудь кутки в дачной местности, а, кроме того, и холод, Егор Егорыч... не знаю, отношу это на счет воздушного отопления; мало беспокойства за дрова, но с каждой зимой становится все холодней и холодней.

— Так у вас же связи, что вы дров не можете достать?

Доктор потрогал мочку, его узкие ладони и тонкие линии пальцев напоминали камыш.

— Приятно, Ларвин, что вы заговорили о дровах. Вы любите березовые, конечно.

— Я люблю тепло.

— Березовая роща. Я наблюдал ее остатки у Петровского парка, когда ехал к вам на маневры.

Удивительно, как доктор обладал способностью выводить людей из себя. Ларвин мгновенно вспыхнул.

— То есть, вы хотите сказать, что я люблю Сусанну?

— Именно, именно, и за этим только я приехал к вам, сообщить также, что Людмила скупила овес, вы напрасно к ней так пренебрежительны.

Я думал, что Ларвина не так-то легко вывести из себя, а здесь, когда вопрос идет об овсе, тем более, что же Ларвину теперь, когда он уезжает на Урал, какая-то спекуляция с овсом, но он разозлился очень.

— Вот дьяволица, но ведь это я должен был променять свои остатки продовольствия на овес, а овес Мазурскому.

— Мазурский сбежал.

— Как сбежал Мазурский? А может быть, он поскакал один

вперед, проверить на месте, как же идет строительство комбината. Не мог Мазурский сбежать.

– И очень разумно поступил. Вообще, Ларвин, маневры ваши не удались, и вы публично должны отказаться от Сусанны. Возможно, что она, обидевшись на бегство Мазурского, действительно пойдет за вас.

– Э, я могу отказаться. Но я не могу сбежать, потому что меня подвела Людмила. А я запас, вы бы посмотрели. Вы в хороших отношениях с Черпановым. Он об вас отзывается отлично. Если вас можно было б просить, конечно, я понимаю и приемлю его мысль... вообще, будем рассуждать по мотивам доброго старого времени, как будто мы с вами сидели в кафе... Ведь вот у Трошина сожрали все, а он специально ходил в милицию и представлял список гостей, люди все с профсоюзным стажем с 18-го года, а там говорят: да ну вас к черту, зовите, кого хотите, лишь бы соседи на вас не жаловались... Я вот работаю на общество, я сам есть не могу, потому что страдаю животом, у меня катар, а ведь тот же Трошин может пустить безумную мысль о том, что теперь вообще хранить ни к чему и не лучше ли перед общностью имущества сожрать все сообща. А у меня запасено столько, что мы спокойно можем, отлично питаясь, доехать до Урала. Мне и деньги не нужны. Зачем, если я перехожу в бесклассовое общество? Мне нужно только расплатиться с долгами, ликвидировать, так сказать, свои отношения, даже смазать кой-кого, чтобы люди не навредили мне там, на Урале. Я вам даю проценты. 10% продаю по себестоимости. Ведь не зря же вы сюда пришли и не зря живете. Вы желаете нажиться. Может быть, вам тоже необходимо какие-то щели в рамах замазать? У вас будут средства.

– Да, на маневры зря не ездят.

– Именно. Желаете, Матвей Иваныч, осмотреть продовольствие?

– Предупреждаю вас, господин министр, что я глубоко провинциальный ум, что я никакого отношения к бирже не имею, что моя осведомленность в продовольственном снабжении вашей армии весьма слаба, и, если я осмотрю ваши склады, то только из любопытства, чисто провинциального любопытства.

– А что? Ум у меня, действительно, министерский, и вы правы, я их снабжал продовольствием, и здорово и дешево снабжал. Меня познакомьте, говорил я, только с кем-то, а я к нему сам найду ходы. Вот я им и говорю: мне не надо Черпанова, черт его знает, как он ис-

толкует мое выступление, дайте мне или Егора Егорыча или доктора. И вот видите, столковались. Идем в чулан.

– В березовую рощу.

– Именно, в березовую. Я заложил их поленьями, и они там лежат.

Я предвидел, что дело добром не кончится, очень меня тревожило спокойствие доктора. Правда, он был весь в повязках, залитый иодом, и только теперь я понял, какое у него чудовищное здоровье, чем я похвастаться не мог, все тело час от часу ныло у меня сильней. Я сказал, что не плохо было б отложить все это до завтра, что я могу взять на себя обязанность переговорить с Черпановым, но я не знаю, какой черт дернул за хвост Ларвина, я думаю, ему льстили слова доктора о министерстве, военном, вдобавок, он понял их как лесть, причем, весь этот разговор происходил столь стремительно, а я при моей склонности все медленно обдумывать, больше попадаю в действия, что я не успел прочистить носа, как мы уже очутились в дальнем конце коридора у крайнего чулана. Ларвин оглянулся. Дверь, действительно, была солидная, наружная стена чулана была сцеплена колючей проволокой, электрическая лампочка горела весело, в чулане было так же опрятно, как и в комнате Ларвина, даже висели открытки. Полки были уставлены банками с вареньем, консервными коробками, мешками с крупчатой мукой, и все это было небрежно заложено березовыми бревнами длиною метра в два. Ларвин объяснил, похлопывая по банкам, что он не очень прятал, так как все равно найдут, зачем и им причинять излишние хлопоты и себе также, им искать, а мне думать и волноваться – найдут или не найдут. "У меня составлен уже реестр, видите, как я вам доверяю, в конце концов государству приятнее продать, чем кому-либо другому". – И он протянул сложенную бумажку доктору. Доктор протянул ладонь к уху и наклонился к банкам с вареньем.

– Страшные запасы, господин военный министр, чудовищные запасы. Какое количество смертей хранится в этих баллонах. Мне ни разу не приходилось видеть их с глазу на глаз, и какое слабое у человека воображение. Он думает: вот для тебя любимая девушка, как это важно для жизни твоей и для жизни всей планеты, а тут же, где-нибудь в городе, хранятся тусклые баллоны, каждый из которых в одно мгновение ока прервет жизнь и твоей любимой девушки, и твою и докажет всю ложную направленность твоих размышлений. Человек удивительно ловко умеет прятать смерть, он всячески изгоняет ее из страниц книг, со сцен театров. Шекспир велик только

тем, что огромное количество разнообразнейших смертей конец трагедий его превращает в комедию – отпускаются нити, и марионетки падают, могилу человек украшает цветами, кладбища наполняются деревьями, возле мертвеца ставят почетный караул, как бы напоминая, что вот стоят друзья, которые ждут, когда ты встанешь, а если не встанешь, то они не хуже тебя исполнят твое дело, вплоть до соответствующего утешения твоей вдовы. Но вот человек попадает в подвал, где баллоны, где он совершенно бессилен, и понимает целиком ужас смерти. Раньше, допустим, он попадал в пороховой склад, он зажигал спичку, склад взрывался к чертовой матери, и таким путем человек ухитрился хоть один раз в жизни определить свое истинное отношение к ней. А теперь допустим... – Он взял банку с вареньем в руки и потряс ею. Допустим, я грохну этот баллон о землю. Исчезнет бездарный военный министр и бездарный штатский доктор. Что изменится в этом страшном мире? Ничего. И бездарного министра и бездарного доктора заменят другие – но более даровитые. Даровитый бы министр просто не привел нас сюда, не рискнул бы похвастаться, а эта бездарность, ослепленная интригами и смазливой мордочкой, – все же достойна смерти. – И он поднял огромную банку над головой. Она блестела, как шар. Лампочка закачалась. – Я стою на возвышении! – кричал доктор, – стреляйте в меня, все равно ваши подрядчики столь небрежно и некрепко сделали эти баллоны, что они лопнут, едва коснутся пола. Стреляйте, но все равно вы не успеете добежать к выходу.

– Матвей Иваныч, да никто не думает стрелять в вас. Во всем доме всего оружия, что у братьев две финки, ну вот они и нагоняют панику. Может быть, все равно уральская коммуна должна будет оплатить мои убытки.

– Бегите к выходу, надейтесь еще на то, что спасете свою жизнь, но доктор понял уже бессмысленность происходящего, и надежды его кончились.

– Идемте, – сказал я, – он один не будет безумствовать. Но мы не успели добежать. Банка грохнулась, обрызгав меня вареньем. Вслед за ней – другая. Ларвин в диком ужасе выбежал. Ему в спину грохнулся кулек с крупчаткой и весь рассыпался. Доктор с такой силой бросил его, что разорвал. Затем упали несколько сплющенных консервных банок, дверь чулана отпиралась от себя, затем треск, видимо, консервная банка ударилась о лампу, все потухло. Я говорил, что чулан помещался в конце коридора, было очень темно, но все-та-

ки по отношению к доктору мы стояли на относительном свету, и он мог видеть, как мы вздумали б пробираться в чулан.

Ларвин особенно рассвирепел, когда огромный балык упал к нему в лицо, – откуда его доктор достал, неизвестно, – да еще вдобавок я на него наступил ногами. Ларвин решил избить доктора, откинул балык, но ребятишки уже подхватывали консервные банки. Ларвин бежал, а я попробовал уговорить доктора.

– Лезьте сюда, Егор Егорыч, я стою на достаточной высоте, чтобы не отравиться. Газы идут в долину.

–Опомнитесь, ведь это же просто приступ буйного помешательства.

– А вы крикните капиталистическому миру, чтоб он опомнился. Что он вам ответит? Он вам ответит, я в полном уме и твердой памяти, а вы безумны. Пожалуйте сюда, господин министр!

Ларвин хотел проскользнуть, но банка огрела его по зубам, и он опрокинулся. Я думал, что теперь, пока Ларвин встанет, я успею вытащить доктора, и я, сгорбившись, тоже хотел проскользнуть в щель, но я не отделался более счастливо, чем Ларвин, – доктор огрел меня по спине кульком муки, я поскользнулся и упал. Все покрылось туманом, мука ела глаза; доктору тоже, видимо, приходилось не сладко, он чихал, хрипел и кашлял. Но мне приходилось хуже всех. С одной стороны на меня наседал Ларвин, с другой меня бил доктор; не знаю, хорошее ли мое отношение к доктору или отсутствие желания попробовать финок заставило меня еще раз более энергично проскользнуть в дверь. На этот раз меня ударила по плечам картошка, она неслась с огромной силой. Доктор закричал:

– Внимание, друзья! Я, кажется, попал в волчью яму! Я тону. Меня окружает что-то сладкое!

Ларвин оглянулся.

– Ну, теперь-то я не могу терпеть, он попал в бочонок с маслом. – И он, вскочив, ринулся в дверь.

Я прикрыл голову полурассыпанным кульком муки и бросился за ним. Нас не встретило ничего. Но если Ларвин знал, где находился бочонок его, то я должен был следовать за ним, то есть по слуху, что было затруднительно, потому что Ларвин, из жадности, не имел возможности использовать средства обороны, кидая их обратно, дабы они не попали в руки мальчишек, вынужден был отбрыкиваться, и отбрыкивался он, надо прямо сказать, с большой силой отчаяния. Он очень искусно ухитрился влепить мне в зубы каблуком. Я закусил язык. Но, видимо, доктор забрался очень высоко, но тут

бревна, – он, наверно, находился на верхних полках, – помогли ему в том сохранении равновесия, чтоб он не полетел вместе с бочонком, оттуда доносились только одни шлепанья. Ларвин буквально взревел, но благодаря движенью и брыканью Ларвина, выведены были бревна из равновесия, полки затрещали, что-то грохнуло, я еще крепче натянул на себя мешок с крупчаткой, и очень удачно, потому что какая-то доска огрела меня очень сильно, и я почувствовал, в чем заключается преимущество пружины. Что-то большое неслось на меня, но Ларвин, который злобно кричал, вдруг замолк. Я почувствовал, что по моему лицу скользнули сапоги доктора, я, вернее, угадал их по запаху сливочного масла, я понял, что это сапоги доктора, в то время как ботинки Ларвина заегозились передо мной, уже в полном отчаянии, совершенно без всякой системы, мало, видимо, стремясь войти в соприкосновение не только с моим лицом, но с чьим бы то ни было вообще. Меня удивило это смятение ботинок Ларвина. Я протянул руку – и нащупал обручи, а затем и край кадушки, из которой выходили полы френча Ларвина. Я вскочил, увидел в дверях темную фигуру, схватил ее на руки – это был доктор, он брыкался, бил меня по шее и орал:

– Осада продолжается!

Я внес его в нашу комнату и опустил на пол. Он был весь в топленом масле, он вытер его с лица и сказал:

– Говорят, древние умащали себя, и я понимаю их – это, действительно, помогает при ссадинах. Заметьте, у меня нет уже ни одной повязки.

– Вы их просто утопили в бочке.

Он пощупал голову:

– У меня была всегда органическая неприязнь к помаде, и я-таки понимаю теперь почему.

– Боюсь, что эта неприязнь закрепится теперь за вами надолго, – ответил я.

Он не был безумцем. Он действовал с холодным умом. Но это редкий случай безумия, чтобы из одного состояния мгновенно почти переключиться в другое.

– Глядя на вас, мне хочется, наконец, знать, что же такое безумие. Если это похоже на то, что вы проделываете и если вообще каждое безумие может так благополучно кончиться, то это просто даже любопытно.

Я остановил доктора. Мне хотелось объясниться с Ларвиным. Я вышел в коридор. У дверей стоял Черпанов, который манил меня.

Я просто жаждал защиты – и я устремился к нему. Он взял меня под руку. Мне было это приятно.

– Вы слышали, – сказал он, – Мазурский сбежал? – Он показал бумажку. – Однако оставил письмо на имя Населя, что костюм у Ларвина и у Степаниды Константиновны. Боюсь, что не составил ли это письмо сам Насель, да и вообще не липа ли это с костюмом.

Я вспомнил ту бабу, которую увидел доктор в зеркале.

– Нет, костюм существует. – И я рассказал ему.

– Да я и не сомневался никогда. Итак, идемте к Ларвину и Степаниде Константиновне.

– Я? К Ларвину? Нет, лучше я пойду к доктору, – и я поспешно ушел, оставив Черпанова в полном недоумении, я ждал от него помощи, а он идет от меня. Нет уж лучше быть с безумцем доктором и увезти его в больницу, в конце концов я могу сказать, что пошел сопровождать его, я давно, мол, подозревал!..

L

Я отсутствовал несколько минут, однако доктор уже успел исчезнуть. Найти мне его было легко, масляные следы вели прямо в комнату дяди Савелия. Я застал их за оживленной беседой, то есть оживленной, конечно, по-своему: дядя Савелий вежливейше поддакивал, а старик Лев Львович – он тоже был здесь – кутаясь в потертый плед, ворчал неразборчиво "вон". У обоих в руках были сигары из докторских запасов. Доктор сидел опять на скрещенных ногах, прямо на полу, перед ним стояли снятые два сапога, рядом лежал лист газетной бумаги, и он доставал масло из сапога и выкладывал на бумагу.

Увидев меня, он поднес палец к мочке.

– Вот спор идет о стадионе и масле...

– Собственно, Матвей Иваныч, спора нет... – вежливейше откладывая сигару в сторону, сказал Савелий Львович, примеру его последовал и старик.

– Нет, зачем нам затемнять мысли? Спор есть, даже если я только сам с собой спорю. Я утверждаю, что масло из сапога – вряд ли был такой повод и с таким количеством аргументации, как у меня, – есть нельзя, а Савелий Львович утверждает, что можно, косвенно

намекая этим на неопрятность наших магазинов. Что же касается стадиона, то я с ним согласен, что надо идти на стадион.

– Идти на стадион! Еще этого не хватало! – воскликнул я. – Вам вообще выходить нельзя, вас теперь мухи обсидят.

– Это, собственно, не моя мысль, а уважаемого дяди Савелия. Он говорит, что надо быть вежливым: если о тебе говорят и тобой интересуются, то лучше самому пойти, нежели тогда, когда тебя приведут.

Старик с седыми волосами и дряблым лицом, отставив сигару, взял папироску и придвинул свой стул ближе к доктору. Доктор вгляделся в его лицо:

– У вас совершенно моложавое лицо, и вы модно одеваетесь... Любопытно, конечно, здесь есть ее отец...

– Итак, вы любите Сусанну... Трудно не любить такое существо, – вежливейше начал дядя Савелий, очень уклончиво.

Я знал, что разговор скоро не кончится, и пока разглядывал комнату дяди Савелия и его самого.

У него стояла этажерка с книгами – это были комплекты модных журналов, две книги о светском тоне, по стенам были развешаны картинки из французских журналов, это удивительная пустота, какой никогда в жизни не бывает. Он сидел, сложив руки на животике, был тщательно выбрит и выглажен, пиджачок из альпага блестел, но все это удивительно было – словно нарочно рвано. Модный журнал – последний – мужской был захватан, его, видимо, действительно рассматривали.

– Я не имею возможность следить за новейшими модами и слежу поэтому за старейшими.

– Оно и не накладно.

– Совершенно верно. Традиция одеваться, быть вежливым? Говорят, знаменитая актриса Э. Дункан пыталась есть руками, без вилки, но, как видите, даже пример такого великого человека не помог.

– Однако, масло, которое, собственно, принесено ногами, вы покупаете... А как же стадион? Вот вас обвиняют в том, что вы хотите взорвать пролетарский стадион...

– Да что вы мелете! – разозлился я. – Кто их обвиняет! Если б было что, то, поверьте, не нам с вами б их устрашать пришлось.

– Жизнь меняется быстро, кто знает, – вежливейше сказал дядя Савелий. – Если Матвей Иванович интересуется стадионом, сознаюсь, что и нас всех здесь этот вопрос волнует.

Доктор разорвал две пачки папирос, наверное, видя, что они не берут сигары; они курили папироску за папироской, комната была тесна, и скоро модные картинки приобрели какую-то жизненность, чему я не мог не радоваться, однако, два старика волновались:

– ... Видали ли вы плакаты о вежливости: ''Продавец, будь вежлив с покупателем и покупатель также!" Боюсь, что я самый вежливый человек в стране, и недаром гражданин Черпанов пригласил меня на Урал. Очень возможно, что буду преподавать вежливость на стройках. Меня пропускают только исключительно в виде вежливости необычайной, очень всех это удивляет.

– Но вы мне не ответили, хотя и вежливы, на мой вопрос о племяннице вашей и Ларвине. Вам много известно...

– Ну, вам тоже известно не меньше, если уж вам не известно, то кому же?

– Вон! – сказал Лев Львович, закуривая папиросу от папироски.

Комната все более и более наполнялась дымом. Старики приблизились еще ближе. Боюсь, что они чувствовали отвращение и страх перед доктором. За кого они его принимали? То, что доктор сидел без сапог вряд ли могло дядю Савелия вызвать к такой легкой беседе, мое внезапное появление – тоже.

Доктор имел привычку держать распростертую ладонь у мочки уха, и вот старик нес пепел с папироски на пепельницу, ему вовсе не было нужды проходить над ладонью доктора, я это утверждаю, но он прошел над ладонью и уронил туда пепел. Я вздрогнул, причем, движение это заметил и дядя Савелий, который в иное время поспешно сдул бы этот пепел, но здесь он отвернулся. Правда, то, что говорил доктор, давало полное основание для негодования!

– Вы способствуете тому, что ваша племянница, при ее жажде к интригам, при ее желании иметь связи, легко может продаться. Да, я ее люблю, я говорю это открыто, при отце.

– Вон!

– Этот позор, это лицемерие надо разорвать. Вы старик, неужели вы, обманывая весь свет и всю жизнь, спокойно войдете в могилу? Вы обманывали людей, угнетали рабочих, но даже мещанство не найдет вам оправдания в прекрасной семейной вашей жизни. Бог, конечно, чепуха, и раньше люди взывали к справедливости, а здесь я не знаю, к чему и взывать. Я вас ненавижу, вы мне омерзительны, я говорю с вами только для того, чтобы высказать вам презрение. Тут вы распахиваете ваш чудовищный и гнилой мозг и думаете:

"А доктор материалист, а как подхватила биология, как влюбился в дочь и не может отказаться от нее, несмотря на весь свой материализм! У доктора недостаточно организовано сознание!"

– Вон!

– А я вас только что понял, – сказал дядя Савелий. – Вы говорите о Сусанне. Девица невежливая и грязная. К принятию ванны у нас мешает недостаток дров, а также и то, что в ней постоянно сидит какой-нибудь посторонний человек, но ведь она же могла бы ходить в баню. Вы нюхали, как у ней пахнет из подмышек?

– Нюхал! – с восторгом воскликнул доктор.

Этому восторгу даже и дядя Савелий удивился:

– Но что вы находите в этом хорошего, не понимаю, вы просто какой-то болезненный человек. Грязная и мерзкая девчонка – и к чему восхищаться?

– Но вы не менее мерзки и грязны, и если в жизни присматриваться и размышлять по поводу всякой грязи, то тогда просто пулю в лоб или по крайней мере всю жизнь не покупать мыло, дабы уравняться. Я же не присматриваюсь к вам и к той чепухе, которая вас окружает, и вот вы, смеясь, хотели купить у меня масло для собаки, когда заведомо знали и вы и я, что никакой собаки у вас нету, и масло из сапога, где лежала моя потная и грязная нога, будете есть вы, дядя Савелий, парижанин, бывший в Париже три сезона.

– Жил. В молодости. Даже учиться хотел.

– И все врете. Никогда вы в Париже не были, не потому, что побывать в Париже я вижу подвиг, – мало ли идиотов бывает в Париже, – а потому, что по вашему куриному уму быть в Париже вы считаете очень важным; всю вашу жизнь вы торговали мелочью на барахолке.

– Но в Париже я был. У меня фотографии хранятся.

– Чепуха. Чужие выцветшие фотографии.

А дядя Савелий все так же невозмутимо стряхивал пепел – и я увидел, как последний раз он стряхнул на руку доктора уже не пепел, а тянул папиросой; но доктор отдернул руку, а голос его не повысился, он не вознегодовал; рука его напружинилась, его глаза сверкнули. Он даже испытал удовольствие. Он тоже схватил папироску и начал курить. Курили мы страшно.

– А вот заграничный галстук. Какой галстук в течение пятнадцати лет быть может неизносимым, как только парижский. Я жил на улице Сен-Мишель.

– Чепуха. Русский галстук, лодзинский галстук.

— Я извиняюсь, что поступаю невежливо, но разрешите снять воротничок.

Он скинул действительно воротничок, расправил любовно на коленях галстук, долго им любовался, он был синий с тоненькой где-то тонущей в глубокой синеве красной полоской. Какое надо питать уважение, чтобы носить его, не попортив, он даже не истерся в сгибах, он не засалился, не зря он читал модный журнал, потому что без обширных знаний так галстук сохранить невозможно. Я вообще за все время спора молчал, поэтому тем более удивительно, что дядя Савелий протянул галстук не доктору, а мне, и тотчас же, как только я взял галстук в пальцы, я подумал, что произошло это потому, что дядя Савелий не желал, чтобы доктор приводил в иное положение свои руки, особенно правую, она стояла возле уха не очень наклонно, не дрожала — и вся унизана была пеплом. Повторяю, что шло какое-то безмолвное состязание на то, кто больше выкурит. Стоял густой дым, но и сквозь дым я мог рассмотреть пепел и ожоги от папироски на руке доктора; однако он продолжал говорить.

— Допустим, что вам одному не страшно понимать, но вот когда вы собираетесь вместе, не кажется ли вам, что вы, два седых человека с дряблыми лицами, позорнейшим образом прожили вашу жизнь. Вы были паразитами, и теперь — по вашему делу, я не буду вдаваться в подробности, этот паразитизм вами укрепится, даже в семье. Что же мы видим в семье — одобряют, как продаются дочь и племянница!

— Я был в Париже, видел Венеру Милосскую. Она стоит в бархатной комнате, и бархат на скамейках так же потерт, как и у нас в Большом театре. Очень трогательно.

— Я б разбил Венеру, если на нее ездят любоваться такие гады. И, несомненно, найдется человек, который разобьет ее.

Меня просто даже тошнило от невероятного папиросного дыма, и мне не хотелось подвигаться поближе. Мне казалось, что пепел они ссыпают рядом со мной; меня удивляло одно: во-первых, бестрепетное лицо доктора, а, во-вторых, то, что он не менял положения руки, а ведь если это положение руки казалось неподвижным и странным — я хорошо знаю доктора, — то каким же оно должно было казаться им. Две папиросы они докурили почти вместе, я от волнения плохо слышал их голоса, и одновременно протянули папироски — и потушили их о руку доктора. То есть они углубились в тело, а затем синеватый их дым прекратился, и папироски были оставлены на некоторое время, покачались, мне даже показалось, что пахнет жженым во-

лосом, но это, конечно, только показалось. Я разозлился. Дядя Савелий попросил меня – боюсь, что они даже сами испугались, рука доктора по-прежнему была неподвижна, и он говорил все то же, развивая мысли, нисколько не повысив голоса, – передать галстук доктору. И я, вместо того, чтобы передать галстук, со сладострастием погрузил свою пылающую папиросу в галстук. Запахло тряпкой. Вначале на это не обратили внимания, но дым распространялся, и, признаться сказать, впервые я испытал такое удовольствие от огня. Я начал понимать людей, которые любят огонь.

Дядя Савелий, конечно, должен был опомниться первый, обеспокоиться. Я, так сказать, проверил воочию, так ли он любит одежду, и должен был сознаться, что он действительно любил: он перестал курить, заерзал – я наблюдал с удовольствием, – приподнял ноздри, убрал ладони свои с животика и завертелся на стуле. Лев Львович продолжал курить, доктор сидел молча, с опущенными глазами, тогда дядя Савелий отнял папироску и бросил ее на пол.

– Осмотрите себя, Лев Львович, не горите ли вы где.

– Вон, – прохрипел Лев Львович.

Дядя Савелий ощупал тело.

– Может быть, вы, доктор, опалились? – сказал дядя Савелий, однако же не подходя к доктору.

Доктор пощупал обнаженную свою до локтя правую руку, понюхал и опустил рукав – и я вдруг облегченно подумал, что если рука у доктора в масле, то он, несомненно, не обжегся, черт подери, и тогда я зря сжег галстук. Но дыра в нем расширялась. Я загасил ее пальцами.

– Доктор!

– Нет, я цел, – ответил доктор, – осмотрите себя.

– Я не могу гореть, я всегда очень осторожен.

– Если б я верил в совесть, я бы сказал, что она у вас запылала.

– Перестанем кривляться. В комнате пожар. Вы всюду приносите несчастье, доктор, это я вам доложу откровенно.

– Если считать несчастьем откровенность, то, пожалуйста, я рад быть таким почтальоном. Очень возможно, что вы сейчас сгорите, и вот теперь, когда смерть стоит у вашего порога, может быть, вы все-таки примете меры к тому, чтобы спасти вашу племянницу и дочь, Лев Львович.

– Разрешите вас осмотреть, вы безумец, вы сами горите, не замечая пожара. Папироска упала на ваше платье, и вы не замечая этого, горите.

– Не подходите ко мне. Да, я горю, но горю негодованием. Я не видал более подлого дядю и более холодного отца.

– Слушайте, – приглядываясь к доктору, сказал в ужасе дядя Савелий, – но на вас все тлеет.

– Вот вы побежите из горящего здания на стадион, и посмотрим, что выйдет.

– Вас необходимо залить!

– Меня уже заливали, все Средиземное море было опрокинуто на меня, и все-таки я выплыл.

Мне эта перебранка надоела, и я протянул галстук.

– Это просто я. Но я затушил пожар, хотя и не вовремя. Самый странный пожар... Когда прогорело окно...

Дядя Савелий схватил тряпку, попробовал пальцем, посмотрел на свет, вся вежливость его слетела:

– Вы просто негодяй!

Передо мной встало одутловатое и темнобагровое лицо Льва Львовича, и он прохрипел:

– Вон!

Я щелкнул его в нос, и он присел и дополз до стула.

– Вы уходите, доктор.

– Нет, я еще посижу, я не знаю – имею ли я право продать масло? С одной стороны, я его завоевал, но с другой стороны – какой же это трофей – топленое русское масло? Что это за репарация?

Я ушел.

LI

Я вышел удовлетворенный. Вообще я все чаще и чаще начал чувствовать удовлетворение. Я иногда боялся, что это удовлетворение исчезнет, и хорошо б с таким чувством уехать на Урал. По коридору расхаживал Черпанов. Я решил, что он поджидает меня. Я резво подошел к нему.

– К кому идти? – спросил я храбро.

Он посмотрел удивленно:

– Вы слышали, Мазурский удрал?

– Неоднократно, и от вас. Что ж, одним дураком меньше. Знаю также, что костюм он продал Ларвину и старухе за продовольствие и

лекарства. Я себя чувствую прекрасно и на худой конец, если вы меня поддержите в смысле драчки, то я могу помочь вам столкнуть лбами старуху и Ларвина в надежде, конечно, что из этого толчка вырастет костюм. Вспоминается мне по этому случаю рассказ...

Но Черпанов не выразил удовольствия по поводу моего рассказа. Он прошел в ванную, я за ним. Я настаивал, что необходимо идти к Ларвину.

– Да что вас огорчает! – воскликнул я. – В конце концов я один могу пойти.

– Но Мазурский исчез.

– Однако, костюм-то здесь. Или вас огорчает, что вы его не имеете возможность захватить на Урал? Боюсь, что он организовал бы пропажу лучших станков на комбинате.

Черпанов сидел на ванне и перебирал книжки.

– На Урал хорошо, когда я его туда повезу, но вот когда он сам поехал...

– Так вы предполагаете, что Мазурский поехал на Урал?

– А куда же ему ехать иначе?

– Он может выбрать место потеплее.

– Но ведь так же нету шести братьев Лебедевых.

– То есть, вы думаете, что он поехал к ним. Он же не спортсмен.

Черпанов вздохнул:

– А какие они спортсмены? То есть, они спортсмены, и даже хорошие, но редкий человек занимается прямым своим делом. Эх, Егор Егорыч, было б хорошо, когда б они были только спортсмены, а не интриганы. А если такие интриганы предупреждают меня: больше всего, Черпанов, остерегайся Мазурского, то значит предупреждение их очень и очень не лишнее. Остановись, говорят, но остерегайся.

– То есть, я должен понять, что вы приехали сюда по предложению так называемых шести братьев Лебедевых?

– Не от них прямо, но по их совету.

– Позвольте, они, что ли, принимают участие в строительстве комбината?

– Не принимают прямо, но косвенно имеют большое значение. Физическое возрождение человека, наряду с психическим, которым заведую я, вдруг выдвинуло их на первый план. Судите сами, люди приехали с полным набором физических инструментов в виде тенниса, футбола, волейбола, бокса и тому подобного, вплоть до город-

ков, а что я могу предложить в области психической – ни одной умственной игры. Я только всему этому планы составляю. Скажем, волейбол – натянул себе сетку и кидай мяч да веселись, а мне, скажем, театр организовать, уже не говоря о пьесе на местном материале, актеров попробуйте набрать. Вот они вышли вперед меня и начали влиять на дирекцию. А Мазурский приедет и разоблачит меня перед ними, и они захватят психическую часть, черт его знает, что он наболтает, они могут все даже и Мазурскому передать.

От всего услышанного я пришел в полное недоумение.

– Послушайте, Леон Ионыч, но ведь это же получается черт знает что такое. Но ведь это же протекционизм, если дело обстоит так, как вы его освещаете.

– Именно так.

– Но с этим необходимо бороться. Это нужно вскрывать. Если хотите, дайте мне полномочия, я поеду за Мазурским и все вскрою, это безобразие необходимо прекращать в самом начале.

Черпанов потрепал меня по плечу:

– Хороший вы человек, Егор Егорыч. Но тут помимо протекционизма есть масса и других причин, да и кроме того, я думаю, что я преувеличиваю значение шести братьев, хотя они и по психической чисто линии, в моей области, сделали многое. Судите сами: я пил, и пил зверски, поэтому – я должен вам открыть – что низвергнут был в бездну со всех постов, которые до того занимал, и был я библиотекарем в библиотеке, книги в которой от долговременного чтения и плохой бумаги, на которой их печатают, пришли в такую ветхость, что только ненормальный, свихнувшийся глаз может соединить их листы, и прежде чем дать читать, надо было рассказать содержание книги, после чего читатель обычно решался, но от слипшихся литер и ветхой бумаги либо ее раскуривал, либо возвращал обратно. Дело это было трудное и без пьянства невозможное, потому что совершенно безнадежно, книг было мало, и надо было их повторять, унылые беллетристические измышления, и на таком труде многие спивались, и решили назначить туда грамотных пьяниц, так как считали, что даже, может быть, подобная работа вызовет известное отрезвление. И вот приехали шесть Лебедевых, стали думать, кого же пустить по психической работе, и тогда говорят, мы его вылечим, хотя он наследственный алкоголик, для нас это даже и легче, мы предпочитаем наследственные болезни лечить. А для меня пора была самая тяжелая, я в жару не пью, разве что пиво, но тут при ситуации рассказа должен был даже пить голый спирт, если б его находил. Они прихо-

дят и говорят: ты, говорят, никуда, Черпанов, от нас не выскользнешь, наши кулаки тебя всюду найдут, хочешь ли излечиться и приняться за психическую обработку общества?

– Пожалуйста, говорю, только от рассказывания книг освободите.

– Мы, говорят, будем создавать рефлекс пьянства. За одну рюмку – удар кулаком, но удар кулаком своеобразного характера, будет бить один из шести, а есть разные – холодные, горячие, до крови, до икоты, и так как ты будешь ждать и где бы ты ни пил, мы тебя везде достигнем и найдем. И точно: в лес, бывало, уйду, не говоря уже про людей, налью рюмку, осмотрюсь кругом – никого, только выпью рюмку, как шарахнет кто-нибудь колющим ударом, так кишки перевернутся, смотришь – а один из Лебедевых сидит где-нибудь за пнем или за кочкой.

– Излечили?

– В две недели всю наследственность рукой сняло, но с тела и со смелости я спал. Дали мне тогда психическую переделку людей и направили сюда, так как я пока планов не составил, собирать рабсилу и изучать каждого в отдельности в его быту и составлять на каждого психологическую ведомость.

– Следовательно, выходит, что главную роль там пока играют шесть братьев Лебедевых?

– А как же иначе? Какие за мной заслуги, кроме пьянства, а они в ужас и сокрушение чувств Урал привели тем, что в декадный срок, в одних трусиках, обежали весь Урал с юга на север, причем, было у них на севере крупное столкновение с бандой бродячих кулаков, так они их лбами разогнали.

– А как так можно лбами разогнать банду?

– А вот и можно. Банда на них с оружием, а один из них подбегает сбоку – и трах, как козел, лбом в живот предводителя, а тот и кувырком, он вторично... Они, опираясь на лоб, подкову выпрямляют.

– Очень уж вы невероятные вещи рассказываете.

– А вот увидите, когда приедете на Урал. Вот вам фотография.

Он достал. Стояли, действительно, пятеро здоровенных дядей с узкими полосками лбов в полосатых майках и вытаращенными глазами.

– Позвольте, их здесь пять, а что касается лбов, то нельзя же эту полоску в палец считать за лоб.

– Их и есть пять.

— Но почему же шесть братьев Лебедевых?

— Не знаю, не догадался спросить, может быть, шестого они подбирают или умер, или в тренировке, они постоянно тренируются. Что может там наплести Мазурский?

— Так давайте я поеду, если вас это так беспокоит.

— Надо здесь дело покончить, а не ехать. Очень мы разъезжать любим. Костюм упустим.

— Да я могу пойти и достать.

— Согласны вы идти к Степаниде Константиновне?

LII

— Согласен, — ответил я, — но было бы лучше, если б не было там Ларвина. И я объяснил свою встречу с ним последнюю.

Черпанов рассмеялся:

— Видите, попробовали б вы в иное время разрушить имущество Ларвина, да он бы вас и на версту к нему не подпустил, мой психический метод ущемления действует безошибочно...

Степанида Константиновна нас ждала и, видимо, приготовилась, но в то же время видно было, что она польщена нашим приходом. Степанида Константиновна, как всегда, старалась и не говорить и в то же время не могла не говорить. Едва Черпанов уселся и начал хвалить, как она одевается отлично при еще слабо развитой легкой индустрии, она прервала его.

— Окаянный дом, не зря его похожим на яйцо сделали, таким, знаете, что его всем хочется съесть. Вот возьмите, пятьдесят тысяч будет на стадионе, и каждый про нас знает...

— Ну, уж и не каждый, — прервал ее было Черпанов. Но она уже понеслась.

— Мне доподлинно известно, что каждый. Я вынуждена была вернуть одеяла и подушки этой бабе, потому что она разгудела, она приходит и вытягивает из меня постепенно. Раньше она нас преследовала кладами. Видите ли, мы переменили несколько квартир, и в каждой после нас ищет клад.

— И находит? — спросил с чрезвычайным интересом Черпанов.

— А вас это интересует?

— Если клад в области готового платья, очень.

— Вчера, говорят к тому же, на стадионе какой-то сарай сгорел. И все на нас. Что же касается кладов, то они все найдены, но в этом проклятом доме непременно найдется, и ваше, Леон Ионыч, предложение, скажу вам по правде, совершенно уместно. Но я поставлю условием, при переезде чтобы нам дали квартиру в новом доме, чтоб никаких кладов, мне это все надоело...

Но, думаю, что ее вряд ли беспокоили клады, паника — паникой, но она искусно прятала истинную причину своего беспокойства.

— Вот шесть братьев Лебедей, шуточное прозвище, они тоже на Урале, — она вздохнула. — Видимо, раз им понравилось, очень оборотливые и умные ребята, но чересчур отважные, я им всегда советовала: не рискуйте. И вы нас не очень заставите рисковать.

— Рискнуть один раз — это поехать.

— Ехать-то мы согласны, но вы, может быть, как-нибудь по особенному заставите ехать?

— Нет, все будет по-обычному.

— А тут стадион...

— Но ведь совершенно дурацкий и глупый слух.

— И еще как дурацкий. Из нашего дома, видите ли, веден подкоп. Ведь тут нужно десять бочек пороха.

— Есть более совершенные средства, чем порох, — сказал я. Мне очень хотелось спросить о "шести Лебедях".

— Но ведь и современных средств бочку надо. А вы сами же видели все бочки в нашем хозяйстве. И, кроме того, у меня даже мысль мелькнула, что доктор не умалишенный, а отыскивает клад или порох. Все бочки рассохлись.

— Портфеля, наполненного новейшими взрывчатыми веществами, достаточно.

— Портфель! Так он, может быть, не клад ищет, а этот портфель?

Черпанов страшно переполошился при слове "клад", он заерзал по карманам, что выдавало его чрезвычайное волнение.

— Кто ищет клад?

— А доктор.

Черпанов успокоился.

— Десятки раз вам говорю, что это влюбленный, но не надо привлекать врачебного внимания. Потерпите два-три дня, а то у нас время в обрез, а в случае чего, так все можно свалить на доктора и на ту суматоху, которую он производит, надо разоблачить его лю-

бовь. Впервые вижу такого влюбленного, когда девушка может дать ему все, что она пожелает.

— Да что, разве моя дочь сопротивляется?

— Нет, я это не сказал.

— Так чего ж, каких еще доказательств внимания он желает? Жениться — пусть женится.

— Я сам видел, — вставил я, — как она ему отказала в любви.

— Странно, незачем ему было столько говорить, она запугалась, он ее переговорил, и ей захотелось ответить тоже красиво.

— Он чистой воды влюбленный, и я думаю повезти его на Урал. Вы знаете, я введу в инвентарь чувств и это чувство, я все-таки не могу не налюбоваться на него. Очень красиво любит. Редкая женщина может устоять перед такой любовью, но теперь разрешите перейти к другому вопросу: какое ваше отношение к одежде?

— А что, разве вы возражаете против одежды? Я без одежды ходить не согласна. Необходимо хоть купальные костюмы оставить.

— Никто вас раздевать не собирается, да вряд ли это кому и любопытно, хотя, конечно, это есть чистейшее дело вкуса, следовательно, ваш вывод не отрицательный по отношению к одежде?

— Бежать если, то нужно одежду полегче.

— Я так вас понимаю, — ответил он ласково на ее улыбку, — что вы намерены распродать все перед отъездом.

— Совершенно верно.

— О зятьях ваших не беспокойтесь, им костюмы будут доставлены первого сорта. Я знаю, вы беспокоитесь о Ларвине.

— Отчаянный, вот если б он меня слушал. А как вы думаете, это не опасно для жизни, вот и коммуна и переезд?

— Нет, только целебно. Распродать — вы правильно. Я рекомендую вам продать мне.

— Как не так, вы сами и организатор, сам и покупаете.

— А может быть, я покупаю в общее пользование?

— Они бесшабашные, да вот Лебедевы, а жаль, что один остался здесь.

— Позвольте, один из них здесь? — воскликнул Черпанов.

— Да я вам об этом уже и говорила!

— Ничего вы мне не говорили. Кто же это?

— Да Мазурский, — сказала Степанида Константиновна. — Он первый по бегу был, но совсем за жульнические проделки дисквалифицирован.

Я был крайне этим изумлен и поэтому мне становился все по-

нятнее испуг Черпанова и бегство Мазурского. Но размышлял я недолго.

Черпанов напер на старуху:

– Будем говорить коротко: отдаете ли вы мне или нет то готовое платье, которое получили от Мазурского?

Старуха замялась:

– Да я не понимаю, для каких вам целей нужно? Совершенно же странная вещь. То есть, ваши поступки. Леон Ионыч, я только на другой день понимаю, а этот и на третий день не пойму, хоть вы мне объясняйте, хоть не объясняйте, но я просто пугаюсь. Это страшнее, чем уехать на Урал. – Она начала багроветь и злиться. – Дайте мне отойти.

Черпанов понял это и сам отошел.

– Не понимаю, как можно простым предложением продать готовое платье навести на вас панику. Не годится оно мне?

– Да, вполне годится.

– Чего ж тут удивительного?

– Но вы нас не за границу же везете?

– Нет.

– Зачем же вам такое платье?

– А вот и нужно.

– Отойдите от меня, я начинаю гореть.

Черпанов отошел.

К сожалению, этому поучительному разговору нельзя было развиться, помешали и вошли Насель, Жаворонков и Трошин. Они, всякий по-своему, были чрезвычайно взволнованы. Насель подошел к Черпанову, потряс ему руку и сказал:

– Ну да, он сбежал.

Старуха побагровела, она напугалась и готова была выскочить в окно: кто-то сбежал раньше нее, кто-то учуял панику лучше ее, но ее успокоило то, что она знает, куда нужно убежать. Паника мгновенно как-то мяла всю ее фигуру, но затем следовал поток брани, который как бы направлял ее чувства по твердому пути. Она выпустила несколько изящных и ловко построенных ругательств, она готова к бегству.

– Кто еще убежал? – спросил Черпанов.

– Никто еще, а убежал Мазурский.

– Позвольте, но ведь вы мне от него записку передавали, чего же вы обеспокоились?

– Но беспокоишься, когда вы на записку не реагируете общи-

ми для всех средствами. Нас надо успокоить, в конце концов мы желаем знать, если ехать на Урал, то хотя бы какой-нибудь местком, что ли, избрать, чтобы кто-нибудь обеспокоился билетами: у меня на шее родственники, они требуют ясности.

— Ясность, пожалуйста. — Черпанов вынул письмо Мазурского из одного из своих бесчисленных карманов и прочел: — Видите, человек сбежал. Неизвестно куда, но все-таки заботился обо мне. Чем эта забота вызвана? Да тем, что я его испытывал, может ли он поехать на Урал, и он испытание это не выдержал и удрал к Черному морю.

— Почему вы думаете, что он удрал к Черному морю.

— Да все жулики направляются туда, все неприспособленные, а может быть, он чахотку у себя нашел, — одним словом, он почувствовал тяжесть, и его бегство вынуждает меня сказать вам, что вы выдержали испытание, а он нет. Вы можете войти в бесклассовое общество, а он нет.

— В чем же выражались эти испытания?

Но тут вошли Ларвин и Сусанна. Черпанов очень даже обрадовался приходу Ларвина, а тот шел разухабисто и развязно.

— Вот отлично, что пришел Ларвин, — сказал Черпанов. — Я рад буду развить перед ним свои идеи относительно того, в чем же происходило испытание, но раньше всего попрошу выслушать меня внимательно и особенно вас, товарищ Ларвин. Очень хорошо, что вы все столь быстро поняли необходимость поездки в бесклассовое общество, что вы так быстро согласились и вот уже требуете путевки и месткома. И ваши попытки к созданию месткома и требования совершенно правильны, но я должен сказать одно, что вы очень быстро начали возноситься. Все-таки мало того, чтобы попасть в бесклассовое общество, надо заработать себе право на жизнь в нем, а право это развивается на внимании к старшим товарищам, которые вас ведут.

— А чем же вам не оказано внимание?

— Всем. Понимаю, но в одном пункте все здесь присутствующие нагрешили. Я буду говорить прямо. Это всем вам известное готовое платье. Вместо того, чтоб честно передать его старшему товарищу, вы начинаете его перебрасывать из рук в руки и не видите даже в этом насмешки надо мной, а продолжаете делать свои выгодные дела. Костюм — что. Я на нем и не стал бы настаивать, если б не рассматривал этот вопрос принципиально. Дело в том, что вот и разговорчики о кладах и все прочее — это не годится. А кроме того, ну, за каким чертом вы натянете костюм? Ведь вас же и совесть и все окружающие засмеют, когда вы будете ходить в лучшем костюме, чем

ваш старший товарищ, да вам, наконец, и самим будет стыдно. Вот возьмем Ларвина, – человек, к которому прекрасно идет военный костюм, который будет комендантом охраны комбината, и вдруг нарядится черт знает во что...

– Именно, – сказал Ларвин и, наклонившись ко мне, сказал: – собственно, он прав, надо бы достать костюм да и отдать ему, зря я его замыл, перебросил.

– Кому? – спросил я тихо, но Черпанов позвонил в стакан:

– Внимание! Для возражений будете иметь слово, фактически я вам сейчас читаю почти официальный доклад о комбинате. Не ждали? Вы подробно узнаете о целях и задачах. Ошеломляющие сведения. Сейчас Егор Егорыч доставит вам планы, которые нами только что получены, и здесь, надо сказать, без ослепления, даже я, человек привыкший и принимавший сам в этом участие, и то был ослеплен и не могу без ослепления смотреть на это дело. Но раньше, чем опуститься нам в подробные планы комбината, раньше, чем я изложу вам те принципы, установки, опираясь на которые мы выберем местком, я позволю себе еще раз вернуться к тому вопросу, который я не зря, конечно, поставил в начале своего доклада. Я говорю опять-таки о готовом платье. Товарищи, если мы вначале будем себя вести так, то, извините, с какими же мы лицами приедем в комбинат? С лицами, наполненными собственностью, и мелкой собственностью, вдобавок. Я должен буду дать исчерпывающий отчет людям в каждом проведенном мною часе, а я буду говорить, извините, что я гонялся за костюмом. Но ведь это же странно, по меньшей мере, скажут мне. И они будут правы. А между тем, костюм американский, нужный не только для представительства, а вот скажите-ка вы все здесь присутствующие, – ради каких целей вы его прятали? Кто в нем приезжал? – Черпанов проявил странную горячность и запальчивость: – И этот вопрос к вам, как к военному, будет обращен в первую очередь, Ларвин! С какими целями вы вели переговоры с иностранцами? Может быть, вы продали какое-нибудь странное изобретение, нужное для страны? Кто приезжал?

– Никто не приезжал, – ответил Ларвин.

– Как никто? Что же, этот костюм с неба свалился? Ведь он готовый к вам попал?

– Готовый.

– Никто не шил?

– Нет. Мы и разучились шить, мы все в старье ходим.

– Отлично. Вы его получили от Мазурского. А Мазурский получил от Населя.

– То, что он получил от меня, иностранец не мог привезти, он получил от другого.

– А Насель от кого? Виляете, финтите! Отвечайте правду! Но не будем вести глупого допроса, допустим, что Мазурский взял не тот костюм, а здесь он определенно намекает на американский, следовательно, к вам-то, Ларвин, попал явно американский костюм. И это легко проверить. Несите его сюда, и тогда мгновенно между нами рассеется очень неприятное недоразумение, и мы сможем приступить к выбору временного месткома. Тащите.

– Да я вот уже и Егору Егорычу объяснил, что не могу его принести. Вы правильно говорили, зачем мне собственность. Я и отдал его. Может быть, он и обменяет на нужное дело.

– Отдали? Кому?

– Ну не все ли равно кому.

– Нет, вы обязаны сказать – кому. И общее собрание подтвердит, дабы я скорее начал свой доклад.

Общее собрание действительно подтвердило. Ларвин замялся:

– Но ведь у меня имеется в связи с вашим докладом ряд совершенно конкретных предложений, и мне от них не хотелось бы отступать.

Не отвиливайте и говорите, у кого костюм? Здесь черт знает, что происходит. Я скажу вам в глаза: много я всякой дряни отправил в свой комбинат, но подобной еще не видал, чтобы задерживаться на такой чепухе, – это уже совершенно странно. Кто этот человек, темные дела которого я, даже уполномоченный высшими инстанциями, не могу знать, в то время как все ваши дела узнал. Мне все известно, кто и что делает, а тут не могу. Доберусь до него, он прячет золото, понимаю. Недаром ходит здесь легенда вокруг дома о короне американского императора. Все это необходимо вскрыть.

Слово о короне произвело потрясающее впечатление на всех. Несомненно, об этом здесь знали. Но они напугались. Ларвин мгновенно стих.

– Я отдал его дяде Савелию, через Людмилу. Он действительно ведет все дела.

– Ну вот и кончено. Кто приведет дядю Савелия? Нет таких желающих? Он страшен для всех. Вы, Егор Егорыч, беретесь его привести?

– Нет, – ответил я, – меня не занимает это. Мне вспоминается одна история... А кроме того, мне любопытно прослушать предложение Ларвина.

– Никаких предложений выслушано не будет, я вынужден прервать доклад.

– Нет, вы должны выслушать мои предложения. Все это идет совершенно зря, не принимается никаких мер, тот же Черпанов говорит о возможности приезда комиссии, которая проверит его работу, но комиссия не увидит нашей подлинной перестройки. И если он проводит испытания, я не знаю, как он их над нами производил, но я по себе чувствую, что этого недостаточно и поэтому надо произвести общность имущества, надо проломать перегородки, устроить общее зало, произвести общность жен и детей, если мы буржуазия, отреченный класс, то наш переход надо показать по-подлинному, чтоб они увидали, если мы вздумаем сломать перегородки и решим устроить общую кухню, и если мы топили плиту по полену, – это уже указывает на то, что мы можем столковаться и об общей кухне и неужели не столкуемся об общей жене?

– Правильно! Таким образом возможна и разрешена проблема стадиона, увидят, что мы переродились, и, если домкомтрест согласится на сломку перегородок, то об этом заговорят все, при сломке будут члены домтреста, и они увидят, что никаких кладов нету.

Черпанов волновался:

– Но опять-таки дядя Савелий продаст костюм в другое место, и я так и не узнаю, кто же сюда приезжал.

– Да плюньте вы, – сказал я, – здесь развиваются более крупные события.

– А вы думаете, Ларвин предлагал серьезно?

– Не знаю, но похоже на то, что он не шутил.

– А даже вы, Егор Егорыч, так думаете. Хорошо, я берег для дальнейшего свой удар, но обрушу его сейчас.

Он вернулся на прежнее место. Вокруг Ларвина стояли шум и крики. Людмила была довольна – она может управлять, у нее тоже слова нашлись, она оживилась необычайно.

– Отлично! – воскликнул Черпанов. – Предложение Ларвина удивительно по своей меткости. Я согласен организовать его, но предупреждаю, что организация будет жестокая, и так как никто мне говорить по моему вопросу не дал, то все, значит, согласны с Ларвиным. Я тоже поддержал и буду на себя его осуществлять.

Он ушел. Я спросил:

– А где же ваш удар?

– Но вы видали.

– Но ведь предложение Ларвина только что всплыло, не могли же вы знать об этом раньше?

— Не мог, но я то же самое хотел предложить.

Слова эти возмутили меня. Шум продолжался. Сусанна смеялась. Я понял, что ничего не выйдет, тем более, что Черпанов убежал — и я вслед за ним. Странно, но он побежал на улицу, он остановился на крыльце и рылся в бумажках. Я устал, суматоха несказанно ослабила меня. Я ушел к себе.

LIII

— Ее страдания все возрастают, — встретил меня доктор, сидя на скрещенных ногах. Он ел хлеб с маслом, койка под ним качалась от движения мощных его челюстей, к ним прибавилась тайная симпатия во мне.

— Чем же закончилась ваша беседа с дядей Савелием?

— Я перекурил их. Они обалдели, и я ушел. Впрочем, я высказал им все свои соображения касательно их поступков. Так как прямо в лоб говорить не достигает цели, то я решил говорить иносказательно.

Я выразил сомнения, что доктор может выражаться иносказательно.

— Почему же? Я сказал, что если мы можем курить плохие папиросы так долго, следовательно, нам нужно в чем-то объясниться.

— А они?

— Они в голос сказали: ''Вон!'' Помните, как мы шли от Жаворонкова с антресолей?

— Вернее, падали.

— Не помните ль там под носилками лежали ходули?

— Нет, я заметил сани, так как об них расшиб лоб.

— Вам больше нравится лето.

— Я просто не люблю пыли. Вспоминается мне один случай...

— Итак, вы осторожно приподнимаете носилки и видите под ними ходули, вы их встряхнете от пыли, если хотите, можете в целях обезопаситься от заразы обернуть их газетой. Я бы пошел сам, но у меня болят ноги, мы их вынесем во двор и славно походим. Мне надо поразмяться, во дворе ветер, а забор заграждает ветер, попробуйте — сразу увидите.

— Вам не терпится превратиться в такую же ходячую легенду, как корона американского императора...

– А кто говорил об этом?

– Я рассказал.

– Давайте ходули. Мужайтесь, Егор Егорыч, мы перекроем славу короны, слава посредственностей, вы ее не знаете, – это самая мощная и крепкая сила, гений может погибнуть, надоесть, а посредственность будет жить, ей необходима посредственность, и она начинает меня любить. Кроме того, вам это любопытно в том смысле, что вы за мной будете бегать, это тоже вас развеет. Достаньте ходули, Егор Егорыч.

Конечно, в конце концов, если я постоянно возвращался к нему и Черпанов утомлял меня даже больше со своей последовательностью, то сидеть зря и спорить не стоит, да и лучше, конечно, дать ему ходули, пока он не придумал чего-нибудь более мощного. Я пошел. В комнате все еще слышался шум, там набилось много народу, доносился бас Жаворонкова. На лестнице был сильный полумрак и пахло затхлым еще больше. Я старался идти осторожнее но наткнулся немедленно на какие-то ведра, тазы, коромысло щелкнуло меня в бок, я раздавил какой-то пузырек, липкая жидкость с запахом дегтя облепила мои пальцы. Я стал жечь спички. Я увидел темные – больничные – носилки с белыми крашеными ручками. Я – через газету – встряхнул эти носилки, но пыли на них не было, мы ее выбили нашими телами. Под носилками лежали, действительно, ходули, очень крепкие на вид, то, куда ставится нога, было обтянуто кожей. Я их встряхнул и держал в руках, – может быть, это из циркового барахла, все, что могла подарить Сухаревка, а может быть, это заложено, да и вообще у меня мелькнула мысль: ведь это имущество не Жаворонкова, а заложенное, но кто же может быть здесь ростовщиком и неужели они еще водятся, потому что странно было появление этих предметов: весов, гирь, письменного стола. Доктор ожидал меня внизу. Я поделился с ним моими мыслями. Доктор ничего не ответил, в руках у него была мокрая тряпка; он быстро обтер ходули, легко вскочил в них и сразу вырос на полметра. Едва он двинулся по коридору, как страшный грохот, словно коридор исполнял обязанности барабана, понесся. Я зажал уши, но мне было страшно смешно.

– Не правда ли, я на ходулях кажусь гораздо красивее. Я заметил, что вы всегда смотрите на мои ноги, они у меня, действительно, несколько коротки, а здесь я величествен.

Здесь он поравнялся с комнатой, в которой шло собрание. В дверях ее показались Людмила и Сусанна. Сусанна была очень ожив-

лена, в коридоре было темно, но походка ее даже казалась крепче и не такая сонная:

– Вот и на ходулях он будет ходить.

– Конечно, – сказал доктор, останавливаясь перед ними и топоча, он не мог стоять и, покачиваясь, ходил перед ними, даже, пожалуй, танцевал.

– Этот легкий и пошлый способ упрекать в ходульности, но, если я нахожусь на ходулях, то я имею на это право. Но что поделаешь, вы, Людмила Львовна, я говорю это в полном уважении, имеете право сделать мне этот упрек, опять-таки про ходульность, а как же иначе, если человек не умеет найти и заставить человека поверить в любовь? Иные приподнимаются на пышные слова и сверзаются с них, другие – на пышные поступки, к сожалению, это легче, если у вас отличное здоровье, совершить такие поступки, но жизнь идет своим чередом, самопожертвования совершаются, все равно говорим ли мы наши слова или молчим. Я совершил много поступков, но теперь пришел к выводу, что все это зря и в конце концов у вас одной есть ко мне сожаление и вы мне можете дать совет богини, которая, как никто, может знать про любовь.

– Какие у меня советы?

– Не давай советы, Людмила, от твоих советов люди гибнут.

– Ведь приятнее, Сусанна Львовна, погибнуть от хорошего совета, чем погибнуть от своего бледного разума. Куда хуже сверзиться с ходулей и разбить о булыжники лоб, нежели погибнуть от огня вражеской артиллерии. Я признаюсь в своей беспомощности, я добился только совета от лица, которое знает, как разбогатеть, но вас не удовлетворит богатство, а сейчас держать богатство – все равно что держать реку, столь же трудно.

– Кто вам дал совет разбогатеть? – сказала Сусанна.

– Я поднялся на ходули, чтобы успокоить себя: вот вы не говорите: разбогатейте, а говорите: кто это, что за дурак и как можно дать совет быть талантливым, в нашей стране – талант – это богатство единственное. Дайте мне совет, Людмила Львовна.

– Да какой она вам может дать совет, вы совершенно обалдели.

– Вам все почетно, Сусанна, она может дать совет. Можете ли вы дать такой совет, что Сусанна меня полюбит и пожелает жить со мной?

– Могу!

– Нет, не можете.

— Могу.

Народ уже начал собираться. Вокруг доктора образовался круг, и он носился по нему с большим искусством. Все стояли отупелые, видно, "прорабатывая" в себе те мысли, которые возбудил в них Черпанов, а еще больше всполошило их предложение Ларвина.

— Почему же ты раньше не могла дать совета, а теперь можешь?

— Он не входил в коммуну.

— Правильно! — воскликнул доктор. — Совершенно правильные оценки. Я должен, граждане, перед вами извиниться в том, что я проделывал, но это просто было какое-то ослепление, я просто временами болел, и это уже больше не будет повторяться, так как Людмила Львовна меня вылечит, она мне даст совет, она мне даст прочесть свою книгу.

— Книги нет.

— Где же она?

— Отдана читать.

— Кому?

— В редакцию.

— Какой же совет вы можете дать?

— Будьте проще.

— Врет, — сказала Сусанна, — врет, не надо мне простых людей, совершенная ложь!

— Это мне самый трудный и почти самый неисполнимый совет, но я попытаюсь его исполнить, однако, мне очень бы хотелось отблагодарить вас и всех вас, граждане, за то внимание, которое вы оказали моим больным нервам, в том заблуждении, которое я испытывал. И мне кажется, что та помощь, которую я могу существенно сейчас оказать вам, может быть чрезвычайно полезной. Вам сейчас абсолютно необходимо спокойствие, вы должны, и вы сами понимаете, как вы глубоко должны продумать тот поступок, который вы думаете совершить, да и мне необходимо успокоиться, я тоже еду с вами на Урал.

— Вы?

— А вы как думаете, Егор Егорыч? Разве я могу остаться здесь, мне интересно посмотреть психический перелом, может быть, я излечусь от своей боязни посредственности и шагну вперед, но суть в том, что вас сейчас чрезвычайно беспокоит история со стадионом. Я понимаю всю нелепость слухов, но их можно опровергнуть только одним способом. Я, к сожалению, могу дать совет только как воздействовать на посредственность, — это пойти самим и присутствовать на водном празднике.

– Невозможно.

– Почему невозможно? Вот жаль, что здесь нет ни Мазурского, ни Черпанова, но первый исчез бесследно, а второй может вам устроить пропуск. Конечно, идти прямо туда – это очень трудно, сразу, вы увидите пятьдесят тысяч глаз, устремленных на вас, но праздник этот через несколько дней, а сейчас там идут непрерывные тренировки, почему бы нам не потренироваться и, скажем, сегодня же вечером небольшой компанией не явиться на стадион. Согласитесь, что когда люди являются на стадион и своим появлением говорят всем в лицо: вы ждете взрыва от нас, но вот мы пришли вместе с вами веселиться, и что же вы думаете, мы стадион намерены взорвать вместе с собой, что ли? Как ни рассматривайте, но поступок этот – поступок героический, как вы думаете, Егор Егорыч?

– Мне вспоминается такой случай...

– Мысль ваша совершенно правильна, хотя и не так ясно выражена. Итак, вы согласны, Жаворонков, Насель?

– Придется идти.

– А нельзя уехать до праздника?

– Нужно спросить Черпанова.

– Говорят, трудно достать билеты.

– Следовательно, возможно, что и останемся на праздник, но тут главное духовное волнение помешает завершить наши дела. Репетиция поступка займет у вас час, а затем вы сразу себя почувствуете лучше, и все ваши дела мгновенно провернете.

– А что, там много народу?

– Не так много, но все-таки есть.

– Возгласы какие-нибудь в нашу сторону будут.

– Помилуйте, мы ли не отпарируем? Ручаюсь вам за полную благопристойность. Степанида Константиновна, как вы?

– Надо посоветоваться с дядей Савелием.

– Я советовался.

Она изумилась:

– Вы? А затем, зачем же вам советоваться, если у нас полный семейный развал?

– Развал-то развал, но все-таки вы думаете скрепить семью, нет, ее не будет на Урале...

– Хорошо, мы идем.

– Я вас должен вылечить от испуга...

LIV

Немедленно, когда выяснилось, что на стадион идет весь дом, не исключая дряхлых стариков и детей, то мы пожелали идти туда днем. Доктор настаивал на вечере. Вообще, как выяснилось, доктор любил театральные эффекты; если б было возможно, он не прочь бы был и зажечь факелы и пустить парочку соответствующих плакатов. Между Населем и Ларвиным возник спор о Черпанове – нужно ли его брать. Насель говорил, что нужно, поскольку его идея имеет скрытый характер, опытный, так сказать, то он пока является тоже обывателем и простым жителем дома. Ларвин же, который после того, как высказал свои поправки к проекту, начал, видимо, уже считать, что Черпанов пользуется славой почти понапрасну и что неизбежно слава уральского предприятия должна перейти к нему, Ларвину, отклонял, говоря, что никто и не подумает обвинять Черпанова в взрыве стадиона, так как вид у него был совершенно светский, разве что скажут, что он раскрыл заговор. Насель же настаивал, что вид у него такой же и обилие карманов не больше, чем у Ларвина. Спор, так как спорящие разгорячились, мог затянуться, но, к счастью, он прервался тем, что выяснилось, что Черпанов исчез. Однако, все придали этому событию большое значение, так как доктор, хотя и по иным мотивам отложив до вечера, оказался прав, собрались только-только к девяти часам.

Вначале большие споры и пререкания вызвали костюмы. Часть обитателей, особенно в верхней части дома во главе с Жаворонковым, настаивала, что необходимо надеть лучшие одежды, но не показать, что мы подмазываемся, другие же, во главе со Степанидой Константиновной говорили, что необходимо надеть похуже и даже самые худшие, что люди, оклеветанные, загнанные до величайших несчастий и все-таки сохранившие необычайную гордость и мужество, к третьим же принадлежал Насель, они воздержались от спора, потому что его родственники имели перемен меньше, чем одну, но как ни странно, задержали именно не споры, а вот эти последние, которые, казалось, и не должны бы задерживать, они, видите ли, начали чистить и приводить в порядок свои костюмы. Вначале они чистили в коридоре, но так как их мельчайшая пыль, чрезвычайно двусмысленного свойства, не желала садиться на стены и на пол, а устремлялась в двери, в квартиры, они объясняли, что в комнатах открыты форточки, но квартиранты объясняли это просто привычкой вышеобозначенный пыли жить в одежде, и последние вынуждены были тоже

чиститься. Теперь пыль летела просто от команды к команде, как летает хороший волейбольный мяч, это называется на языке игроков "пасовкой".

Чистка обратилась в перерутивание и упреки, и так как возникла возможность появления в море брани Степаниды Константиновны, при ее способности дико всех оскорбить, кто-то очень ловкий предложил пойти рассыпаться для чистки по двору. Здесь все уладилось, к счастью, подул ветер, пошла пыль от разбираемого храма, и Жаворонков высказал неосновательное, на мой взгляд, опасение, что эта пыль может посчитаться религиозной пылью, что всех вдохновил бог и чтобы все перед тем, как идти на стадион, молились. Ему возразили совершенно основательно, что в разрушенных храмах молятся только дураки, да и те воздерживаются, так как они хранят свою голову, на которую может упасть плохо взорванная стена, поэтому опасения совершенно напрасны, но что пыль может возбудить подозрения, что они слишком медленно шли, и, так сказать, раздумывали — стоит ли идти. Эта мысль всем показалась достаточно увесистой, и все с особенной тщательностью начали очищать пыль постройки; правда, я пробовал их убедить, что вопрос идет только о репетиции, не более, необходимой больше для себя, но они никак не могли понять, как может быть репетиция без зрителей, идея накопления внутреннего опыта им — в данном случае — казалась бессмысленной, они просто думали, что доктор, боясь, чтобы они не напугались, назвал этот поход репетицией, и хотя им было известно, что на стадионе никакого увеселения сегодня и не предполагается, однако они верили в какое-то неожиданное увеселение, может быть, для них специально организованное, может быть, люди собрались для того, чтобы посмотреть на их храбрость. Как бы то ни было, но лица старались выразить полный наплыв героических чувств, и внутреннее достоинство было необычайное.

Любопытный читатель спросит меня, как же в данном случае держались женщины — они все-таки были вознесены на какой-то пьедестал — и как понимали они слово "репетиция", — повторяю, что споров по этому вопросу не было и споры были чисто формальные, как видите. Назвать состояние их движений — женщина больше всех выражает состояние своего духа в движении — абсолютно спокойным было б просто назвать самого себя лжецом. Достаточно бесцветные девицы, из родственниц Населя, из окружения Жаворонкова, меняли платья, прически, завивали одна другую, затем вдруг размачивали, то красили губы, то стирали, пока не пришла полусонная

Людмила, которая желала расставить парочки; доктор думал, его поставят с Сусанной, но с ней встал Ларвин, это обстоятельство, видимо, очень огорчило доктора. Кто знает, не задумал ли он всю эту затею для того, чтобы иметь возможность повести Сусанну под руку на стадион. На том, как мы строились, необходимо остановиться особо. Когда начались пререкания относительно того, в каком порядке идти, доктор совершенно основательно заметил, что вся история военного искусства, главным образом, заключается в том, как и в каком порядке построить войска. Он привел несколько примеров, превосходных по эрудиции, но не применимых в данном случае. Вначале хотели детей и подростков пустить вперед, но решили, что они могут учинить какую-нибудь пакость или разворовать лотки у торговок фруктами, причем, как только высказали это высказывание о воровстве, глаза детей и подростков разгорелись и тогда их решили пустить с краев шествия, но тут возникли препятствия: во-первых, они будут постоянно глазеть в лица старших, оборачиваться и тем замедлят шаг, а, во-вторых, из-за глазения плохо соизмерят свой шаг и попадут под ноги. Возник в связи с этим проект пустить их в середину, а взрослым замкнуть круг, но тогда в кругу детей плохо будет видно, и получится опасная для впечатления искусственная пустота, искусственное увеличение своих рядов, как поступают с куклами в театре. В этих спорах дети утомились, их постоянно переставляли с места на место, и, кроме того, если они будут внутри круга, будет утеряно моральное воздействие, что на взрыв, мало того, что пришли сами, но и дети явились рассеять эту клевету. Однако, чем дальше шли пререкания, тем становилось очевидней, что дети удерут и тогда возникло желание пустить их с краю, но связать шнурком как друг с другом, так и с родителями, – этот проект всем понравился, начали уже связывать, чему дети очень обрадовались, но кто-то высказал опасение, что создастся впечатление у стадиона, какое же это разрушение клеветы, когда дети являются связанными, и была высказана мысль, что детей нужно просто выпороть вначале и обещать им более жестокую порку, если они разбегутся. Мысль эта всех воодушевила, и родители расхватали детей и увели их в комнаты пороть. Напрасно доктор взывал к их благоразумию, даже отказывал вести, ему возразили, что коммуны и яслей еще нет, и поэтому дети их полное достояние и они могут их пороть, когда и сколько захотят, что здесь мог бы сказать авторитетное слово Черпанов, но он благоразумно исчез, дабы они сами наивозможно быстрее и удачнее покончили со своим прошлым. Пока доктора вразумляли, какой-то нетерпеливый

отец уже начал пороть, и раздался вой ребенка. Доктор устремился туда, но, воспользовавшись его уходом, началась порка в противоположном конце. Пока доктор бегал от одного отца к другому, пока один отец вытирал вспотевшую руку, порка урывками прошла, и дети стояли смирно. Доктор даже отказывался вести, тогда спросили его совета, как же он посоветует поступить с детьми, и он сказал, что проще всего их взять на руки и нести, если они считают необходимым появиться с детьми. Его совет вызвал пренебрежительный смех. Дом наполнился суматохой.

Наконец, зажглись фонари и мы тронулись. Дети шли очень хорошо, и родители ими были довольны. Возник вопрос, в нем все приняли участие — кто же пойдет вперед. Доктор хотел пойти с Сусанной, но как я уже говорил, она шла под руку с Ларвиным, а ее вперед никак никто не хотел пустить; если Ларвин имел какие-то общественные заслуги, то она-то никаких, и даже, наоборот, всегда мешала общественности, в частности, никогда не подметала коридора, и после нее всегда в уборной перегорали лампочки. На последнее замечание, последовавшее сверху от Жаворонковых, она обиделась и утащила Ларвина в толпу. Доктор, таким образом, получался ведущим, он хотел взять с собой меня, но ему возразили, что если доктор имеет какие-то заслуги, то я-то, Егор Егорыч, хотя и милый человек, но путаюсь у всех между ногами и вообще неизвестно, для чего выпущен на свет, с детьми меня пустить невозможно, да кроме того и вид у меня очень всегда странный. Лучше всего мне остаться и караулить дом, хотя тут и оставили несколько дряхлых старушонок, но им может прийти в голову мысль направиться в гости друг к другу, стукнуться лбами и сдохнуть, а что ж им сдыхать, когда на них и проездные деньги еще не получены. Доктор категорически настаивал, чтобы я шел. Я с удовольствием бы остался, Черпанов, конечно, поступил благоразумно. Доктор извинился передо мной от имени всех. Нам нужно было пройти два переулка, небольшую площадь, излюбленное место торговцев фруктами, и там стоял через бульварчик окрашенный под сталь чешуйчатый забор стадиона.

Молчание, с каким мы вышли за ворота и направились по улице, показалось мне тревожным. Я замыкал собой шествие. Пожалуй, лучше привязать было ребятишек за веревочки, нежели они нагоняли тяготу своими вздохами, а, кроме того, как их выпороли, они потеряли всякий интерес к посещению, и взрослые, едва только исчез из наших глаз наш яйцевидный дом, стали замедлять шаги, так что я вынужден был крикнуть доктору: "Куда вы бежите!?" Он остано-

вился нас дожидаться. Здесь сразу кто-то высказал предположение, что как же мы попадем на стадион, когда Черпанова нет с нами. Ряды зашатались, и они бы, несомненно, расстроились, если б порка не заставляла ребят не идти на провокацию и, крепко схватившись рука за руку, не выпускать взрослых, они помнили, что подобные обещания держались взрослыми точно.

Доктор утешил, сказав, что Черпанов ждет у ворот стадиона, и я на этом случае мог проверить степень своей доверчивости, ибо я немедленно поверил, что Черпанов нас действительно ждет, но Ларвин первый выразил сомнение и высказал желание пойти вперед и проверить.

– Никто не пойдет, – сказал доктор, – я знаю, вы склонны удрать, держите, дети, их крепче!

Странно, в силу ли того, что он заступался или детям просто было более приятно вести взрослых, чем быть ими ведомыми, но и я и доктор с той минуты получили среди детей много союзников, они крепче схватились за руки и двинулись. Взрослые легонько заупирались, но направились вперед. Доктор посоветовал, что если все-таки для него понятна робость, он и сам-то трепещет неизвестно почему, то лучше всего твердить фразу-"Мы не желаем взрывать!" Если повторять это неизменно, то так получится прекрасное успокаивающее средство, а если желают, то можно это и петь хором на какой-нибудь общеизвестный мотив.

Совет его не встретил никакого участия, и я один попробовал. Мне приходилось все время идти в хвосте и видеть, как толпа колеблется, волнуется, и ручонки детей, вначале они держали друг друга за локти, но затем должны были за кисти, а затем и за пальцы. Наше шествие, имевшее вначале вид овала, постепенно приобретало вид змеи со всеми ей присущими особенностями, вихлянием и шипением. Вдруг толпа дрогнула. "Сомкнись крепче!" Оказалось, что под руки детей прыгнул дядя Савелий и словно раздвоился или он на руках вынес Льва Львовича с его багровым лицом, но в общем они солидно, но в то же время до странности быстро удалились от нас, причем я даже не слышал обычного "вон!" Льва Львовича. Начались пререкания, зачем же идти, когда одни будут отдыхать, а другие страдай, да и вообще бессмысленно, так как не поверят, потому что получится уже не дом, а только представительство от дома. У нас к шествиям привыкли и потому не обращали внимания, только несколько прохожих с удивительным однообразием в голосе спросили, куда же мы затеряли наше знамя?

Доктор всех утешил, что и этого вполне достаточно, к тому же мы прошли два переулка, и видна была площадь, утыканная лотками с фруктами, и бульварчик, и за ним виднелись высокие ворота стадиона, фонарь, афиши. Но вот как раз площадь, лотошники уже убирали свои лотки, торговый день кончался. Наша толпа никак не решалась выйти на площадь. Насель высказал предположение: как же так, надо бы от милиции разрешение взять, известить, что все-таки получается демонстрация, урегулировать движение, когда была толпа, он шел, но когда они вытянулись в нечто осязаемое, он уже не может без извещения соответствующих органов. Ему возразили, что он мелет глупости, однако исчезновение дяди Савелия всех смутило до крайности. Я посмотрел на лицо Степаниды Константиновны: оно выражало крайнюю степень паники и готово уже было разразиться бранью, и тут бы мы все перебранились, но она вдруг остановилась, найдя такую причину, по которой уже никто ее упрекнуть не мог. От нее повели носами и отшатнулись, девицы взвизгнули.

— Вперед, граждане! — воскликнул доктор, трепля детей по головам. Их подталкивали взрослые, направляя лица их к лоткам, но они, то ли помня наказ, то ли запах, издаваемый Степанидой Константиновной, казался им более удивительным, чем запах фруктов, смотрели ей на ноги.

— Отчего вы остановились, Степанида Константиновна?

— Оттого же, отчего убежали мой муж и брат, — ответила она с необыкновенным достоинством.

— Но вы двигаетесь или нет? — стали ее понукать, прекрасно зная, что она двинуться не может.

— Я двинусь, когда совсем стемнеет и опустеет площадь.

— А до той поры будете стоять?

— Буду. — Отвечала она твердо.

— Удивительно. Но что ж, у вас ноги стали чугунные?

— Вам хорошо рассуждать за кругом, а вы просуньте сюда нос.

Доктор протянул голову над головами мальчишек.

— Уважительная причина, — сказал он, отворачиваясь, — однако мы не можем разомкнуть круга и не можем совершенно бесцельно приходить на стадион без Степаниды Константиновны.

— Абсолютно. Решайте скорей.

— Ребята, распускайте руки.

Но ребята не желали распускать рук, хотя им и заманчиво было оставить Степаниду Константиновну среди площади, подобную монументу. Наконец, самый смелый потребовал от родителей торжествен-

ного обещания, что они не будут пороть. Родители дали согласие с удивительным единодушием, тогда ребята, осмелев, просили, чтоб им разрешено было погулять по площади вплоть до ухода Степаниды Константиновны.

Та выразила протест, что не позволит над собой такое публичное осмеяние ее поступков, но родители возразили, что дети желают позабавиться возле лотков с фруктами, а не возле нее. И детям было дано разрешение. Однако, они ждали команды доктора, и тот, наконец, сказал: "Пускай!" Цепь упала, родители, подростки поспешно направились домой, дети сгрудились, усевшись на булыжники, и Степанида Константиновна присела на корточки и разразилась дикими ругательствами. Доктор пошел через площадь, я его догнал в надежде встретить там Черпанова, но его не было. Мы купили билеты без всякой рекомендации и прошли. Доктор заказал пива.

– Говорю вам твердо, Егор Егорыч, что на последние деньги заказал бы для всех пива, если б все дошли.

– Из прошлой вашей речи можно было понять, что вы отказываетесь от гипотезы касательно любви и войны. Вы же подтвердили то, что они думают о вас.

– Пусть думают. Я никаких ошибок не совершил, Егор Егорыч... Вы куда встаете? Неужели спать?

– Спать, – ответил я, уходя.

– Сосните, сосните, а я посижу и подумаю.

LV

Возле ванны перегородка была разворочена, три доски были выкорчеваны вместе с гвоздями, в четвертую был вбит топор, на топоре висела фуражка Черпанова, здесь его застали или прервали. Я поспешно вошел в ванную. Черпанов сидел, как обычно, роясь в книжках и записочках. Лицо у него было недовольное. Он протянул мне телеграмму. Там было только два слова: "Выехали. Лебедевы".

– Это что же, Мазурский наделал? – спросил я, тоже чувствуя смущение.

– Может быть, и Мазурский, а может быть, их и комиссией назначили по проверке всех вроде меня, но тут что главное? Главное – то, что они на первого меня наскочут.

– Почему же им на вас первого наскакивать?

— Потому, что пока я не поднимался, они были спокойны, а как я показал психичность работы, так они и почувствовали, что скоро будут уничтожены и свернуты.

— А какая же психичность работы, ее разве что мы здесь на месте чувствуем, вот если б вы им послали поезда два с рабочими.

— Но они могут думать, что у меня здесь приготовлено десять поездов. Но в общем-то все обстоит благополучно, мне бы только костюмчик достать.

— Дался вам этот костюм.

— Встретят по-другому.

— Но многие, знаете, пословицы революцией опрокинуты.

— Пословицу, конечно, не кувыркают, ее измять легко. А вы чувствуете, что должны понять люди, которые всю жизнь в трусиках проходили, когда перед ними пройдет человек в миллиардном костюме?

— С чего вы решили, что это костюм с миллиардера?

— Иначе и быть не может. А корона? Вот тут еще перегородку начал рубить, да телеграммой помешали. Несомненно, Мазурский доехал. Может быть, он даже на аэроплане летел. Очень уж он скоро там очутился. Теперь я жду от вас большой помощи, Егор Егорыч, и совета.

— Я рад вам услужить.

И я, действительно, был рад. Хотя Черпанов очень и хорохорился, но смущение его все более возрастало, пока он со мной говорил.

— И я тоже рад. Вы отличный товарищ и умница, Егор Егорович, хотя вам часто и не хватает сообразительности. Вот вы одобряете или нет то, что я начал ломать перегородки?

— Почему же не одобрять, если люди, действительно, желают уничтожить перегородки, но ведь одного желания мало, надо сообразить и то, что сможешь ли ты прожить. Для меня более странным кажется то, что самое большое через три дня уедут на Урал.

— Почему через три дня?

— Но ведь через три дня праздник на стадионе, а здешние почему-то опасаются, а, наверное, десятки праздников были, и никто не опасался, а тут в нашу сторону обернутся. Может быть, они опасаются, что со стадиона какая-нибудь комиссия приедет проверять их поступки или решено будет на стадионе устроить субботник и разнести этот дом к чертовой матери.

— Но вы совершенно не знакомы с правами и обязанностями физкультуры, Егор Егорович.

– Я не знаю, какие ей права теперь присвоены. Судя по тому, как меня лупцевали здесь, и если в этом сказывается влияние стадиона, я могу сказать, что большие права.

– Ну-с, вот, однако, мы уклонились от нашего разговора, именно о костюме и о перегородках. Я теперь глубоко раскаиваюсь, что поддержал Ларвина при его предложении. Ну, я думал, что это, так сказать, бытовая болтовня, и через час откажутся. С тем, чтобы испытать, болтовня ли это, когда люди возвращались со стадиона, я для проверки, саданул топором по перегородке, и что же: вместо отговора, я всюду и от всех услышал только одобрение своему поступку. Признаться вам, не столько меня расстроила телеграмма, сколько вот это одобрение, я из-за него остановил и рубку.

– Значит, люди твердо решали сломать свой быт. Очень приятно и даже любопытно посмотреть.

– Для меня любопытен только дядя Савелий. Он всех тверже и фактически все здесь ему принадлежит. Вот и страшно то, что костюм к нему перешел, это доказывает, что это ценная вещь. Я долго все это рассматривал и пришел к убеждению, что жизнь идет, приспособляясь и, надо сказать, мы с вами умело к ним приспособились, но дядя Савелий...

– Однако, если вы считаете его ростовщиком и ему все принадлежит, то я видел массу всяческой дряни в его и окружающих квартирах.

– Это все только для декорации, для того, чтобы резче подчеркнуть свою бедность. И разговоры об искусстве он вел с вами, видите, тоже для той же цели. Однако, как бы вы предполагали взять у него костюм?

– Прийти и поговорить...

– Нашли с кем разговаривать! Он вас двадцать раз обведет вокруг пальца, а затем, как вы думаете, почему он убежал раньше всех от похода на стадион?

– Просто раньше всех почувствовал то, что позже его почувствовали другие.

– Ой ли? А не подумал ли он: зачем это Черпанов в доме остался и не с тем ли, чтобы обследовать, а если и удастся, то обворовать мою комнату? Уверяю вас, вот какую гадость может подумать обо мне человек. Вот почему он начал проверять свои двери, их у него три, и во всем доме только в его комнате ставни. За ним надо следить правильно, потому что, если есть интерес создавать общность имущества, так только из-за него, потому что только от него и мож-

но кое-чем поживиться, для коммуны, конечно, а не для себя. Но вообще-то он, конечно, обманет и улизнет. Ведь что Мазурский? Чепуха. Куда он может убежать? А этот убежит так, что вы его и с ищейками не отыщете. Ему все должны и обязаны, и каждый рад его приютить. А ходит такой вежливый, разве можно подумать, что пол-Москвы такой человек может оплести?

– Мне кажется, что вы преувеличиваете. Какие же ростовщики в эпоху социализма? Да и вообще это персонаж из устаревших романов.

– Ну, не ростовщики, так валютчики. Черт знает, что это такое – покупщик наиболее ценных вещей и умеющий, главное, хранить их. Вы не думайте, что он выдаст их, – нет, вся его слава покоится на своеобразной честности, он не выдаст, ему вы можете доверить хотя бы золотую корону...

– Далась вам эта легенда.

– К слову пришлось. Но дело не в том. Удерет, ей-богу, удерет. Я убежден, что собирает и справляет свои монатки, да у него они, черт знает, где и хранятся, а здесь у него есть самое главное, чем он себя передо мной выдал, на чем я его поймал, и Лебедевы, хотя и много лет здесь жили, не могли его поймать. Вы обратили внимание, какие там сундуки у дочерей их – один, а у него нет, и все-таки главное добро не здесь, но это неважно. Надо его только из дома не выпускать. Надо нам за ним следить, иначе все ценное сплавит.

– Не понимаю вас, Леон Ионыч. Если человек добровольно не желает передавать имущество, то какая же ценность его, если мы его поймаем. Разве только для очистки коммуны.

– А может быть, американский миллиардер и есть дядя Савелий? Может быть, это и есть тот человек, который приехал из Америки покупать драгоценную корону, может быть это и есть американский дядюшка? Тогда все понятно. И костюм, и его хитрое поведение, и то, что он улизнуть хочет.

– Извините, Леон Ионыч, но мне даже обидно, что вы мне говорите такие нелепости и, глядя на вас, заставляете думать, что и вы таким нелепостям можете верить.

– Гипотеза, не более, Егор Егорыч, и было б неплохо, если вы б этому могли поверить; если и верить этому, то надо иметь такое же железное сердце, как у меня, дабы не растеряться. Ведь если, действительно, факт, что американский миллиардер, то факт американской короны...

– Да полноте меня разыгрывать. По этому случаю мне вспоминается такая история…

– Позвольте, Егор Егорыч, но верите вы тому, что дядя Савелий может убежать?

– Если у него есть хотя бы доля сотая приписываемых ему вами грехов, то что же ему остается делать?

– Вот вы и заговорили правильно. Теперь, есть ли возможность его уговорить продать мне костюм?

– Опять-таки при правильности хотя бы части ваших установок – то нет.

– Ну вот, видите? Я верю в силу своего слова, а тут и я могу сдать, да не в силу слова, сколько в силу своего положения. Поэтому, так как время не ждет, вы не удивляйтесь, но другого выхода нет, сколько ни думайте, сколько ни заседайте…

– Любопытно, что же вы придумали?

– Я думаю, что его надо обокрасть.

– Это что же, со взломом, убийством или как по-легкому?

– Совершенно по-легкому. Мы можем заставить его ломать перегородку, хоть он и трусит, но от субботника не откажется, а если он откажется, можно легкий пожар на кухне устроить. Я так и думал, что доктор работает, но, признаться, он меня своей методой сбил. Сознаемся, – попросту вы новички в этом деле. Я подсыпался к нему по-всякому. Я так все-таки многих в лицо знаю, вижу знакомое лицо, но кто такой и что за странная манера работы, но я все-таки его поддерживал и уговаривал, говоря, что это агент ловит кого-то, и Степанида Константиновна соглашалась терпеть, но теперь, когда подошел нужный момент и нам совершенно необходимо объединиться, мы раскроем карты.

– Странная манера у вас шутить, Леон Ионыч!

– Чего странная?.. Будет волынить! Давай план разрабатывать.

– Я отказываюсь.

– Слушай, это идейное воровство, это же имущество коммуны, другого выхода нет.

– Мне надоели ваши шутки, Леон Ионыч.

Он встал и начал собирать свои бумажки:

– Это не больше, как проверка, Егор Егорович, испытание на честность, о котором я уже докладывал. Я пошутил. А общность имущества – ну черта ли в этом дерьме, кому оно нужно? Насчет костюма мы проверим, сходим к нему, и вы увидите, каков он, дядя Савелий. Я пошутил, может быть, мы его и получим, вот его бы

продать кому-нибудь, ну на кой черт везти это барахло, а будут еще думать: ах, Зоя в моей юбке ходит, ах, Жаворонков мои часы взял, небось, если б свои часы были, так не одел бы каждый день. Не можете ли, Егор Егорыч, подыскать такого покупателя, кому бы мы все имущество замыли, а, во-вторых, не можете ли, опираясь на мои доводы, докладик закатить, соответствующий общему собранию?

– Это что же, продолжение шутки?

– Почему?

– Да какая же это общность имущества, если вы его продадите?

– А что же, я себе деньги, что ли, предполагаю брать? В конце концов приятнее иметь общие деньги, чем барахло, которое, кстати сказать, на Урале никому и не нужно будет.

– Нет, я отказываюсь и доклад делать и, тем более, покупателя искать.

– Обиделся! Обиделся! Ну вот что: испытание окончательно закончилось. Я вам даже и программу испытания могу показать, если вы думаете, что я не шутил.

– Очень мне нужна ваша программа!

– Да не обижайтесь! Есть на что! Неужели вы в себе воровские чувства ощущаете, если обижаетесь? Нет, Егор Егорыч, сейчас нам должно быть не до обид. Вы вот изволили по стадионам прогуливаться, а я вот в ванной сидел и думал. В сущности, зря я согласился на предложения Ларвина. Ну, общность имущества, откидывая выводы, разве я неправду вам говорил, что имущество это ни черта не стоит и для меня важны люди, а ведь теперь сколько может быть лишних разговоров и склок. Ну, отлично, общность имущества, а общность жен? Во-первых, принцип дурацкий и глупый, хотя бы и потому, что и без этого все жены общи.

– Извините, но вы говорите пошлости.

– Пожалуйста, пошлости. Не прошло и нескольких дней, и Людмила и Сусанна были моими? Были.

– Когда это и Людмила успела быть вашей?

– А тут как-то по дороге. А Людмила и Сусанна все-таки лучшие представители женского пола в нашем доме, а на остальных и смотреть противно. А как только они будут общими, так они же на меня могут претензии заявить; ведь тогда черт знает какая буза может получиться, мне же работать нужно, а после каждого раза я должен отдыхать четыре дня, у меня кровь древняя.

Я не мог не расхохотаться.

– Откуда вы решили, что у вас кровь древняя, Леон Ионыч. Кровь у всех достаточно древняя, если мы действительно от обезьяны происходим.

– Во мне есть цинизм, а это признак древней расы. Видите, как я вас нехорошо испытывал. И я еще могу сорваться, но меня запутали с этой ответственностью и с этой общностью.

– Должен вам заметить, что у вас странные понятия о коммунизме.

– Чем же они странны?

– Да вот рассуждения об общности жен и прочем. Они не выскакивают дальше буржуазной клеветы на наш строй.

– Позвольте, но я, что ли, придумал все это? Здесь кто? Последние представители буржуазии. Так это я коммуну-то придумал?

– Однако же вы ее одобрили.

– Просто брякнул. Не думал же я, что они всерьез меня примут, да здесь и поход на стадион многое показал. Для них выяснилось, что они героями быть не могут и что вся теперь надежда на спасение – надежда на меня, так как они на стадион не в состоянии прийти.

– Невероятно что-то. А, братья Валерьян и Осип...

– Они же шли в толпе.

– Шли.

– И тоже отстали?

– Отстали.

– Ну так в чем же дело? Оказывается, и они ни к черту со своими финками не годятся. Да вы не верите.

– Трудно поверить.

– Хорошо, я продемонстрирую вам.

И он повел меня на кухню. Зрелище, свидетелем которого я был, можно было б назвать одним из удивительнейших, если б мне не пришлось быть свидетелем более удивительных зрелищ. Имя Черпанова, улыбка в его сторону, честь и одобрения не сходили со всех уст. Вот что есть слава! Ему поставили сами чайник на огонь, причем, подбрасывая вне очереди дрова, и не чужие, а свои, смотрели на руки и говорили, что ему все перегородки разбить ничего не стоит. Какая-то разбитная девица сказала, что как только создастся "комиссия любви" – ну, распределит, комиссия по любви, – Черпанов повел оком в мою сторону, – то она, не стесняясь, выставит кандидатуру на любовь Черпанова.

– А если дети? – спросил он грубо, но все признали его шутку

чрезвычайно милой и нашли, что присущая ему грубость придает колорит внеклассового общества, которому чего и скрывать свои чувства! Черпанов мог нюхать безнаказанно, чем пахнет в мисках, он даже запустил пальцы в миску и вытащил плавающий сверху кусок сала, Жаворонков крякнул, но он его дернул за бороду, и тот тоже пошутил, то есть дотронулся до его подбородка. Можно было чувствовать упоение какое-то на кухне. Черпанов прошелся, съел, хотя ему и не хотелось, стакан сметаны. У Ларвина отнял баранки, которые он кому-то принес, влез ему в карман и достал конфеты, саданул по животу Степаниды Константиновны, его поход был стремителен и мрачен, ему хотя все и улыбались, так он пронесся по кухне – и исчез. Даже на меня, как на его секретаря, попала часть благодеяний – мне налили тарелку манной каши, и я, черт ее знает, почему, вообще-то я терпеть не могу манной каши, но я съел. Я рад был исчезнуть. Однако, когда я доел манную кашу и пошел к Черпанову, его уже не было.

LVI

Доктор Андрейшин рассуждает о "финках и о любви". После некоторого недоумения, Егор Егорыч понимает, что речь идет о своеобразных нравах провинциальных и московских хулиганов с одной стороны и, с другой, беллетристов и литературных критиков.

... В нашей с вами жизни (...), Егор Егорыч, мы не употребляем финку и ее даже сравнить с "пером" нельзя, причем, странно, что сопоставление "пера" и финки одинаково, но я думаю, что это скорее всего случайно, потому что, что мы можем сделать пером? Оклеветать в стенной газете соперника? Написать письмо в редакцию, составить плохую эпиграмму или сообщить о том, что наш соперник, напившись третьего дня в дурной компании, рассказал несколько контристо пахнущих анекдотов? Пустяки. Такой укол незначителен и пуст...

Доктор решается на "последний поход". Тот будет направлен против братьев Мурфиных, Валерьяна и Осипа. Матвей Иваныч предварительно связывает руки Егора Егорыча, дабы не дать братьям повода для высовывания финок.

LVII

Братья Мурфины предлагают доктору свою сестру Людмилу, несмотря на то, что Матвей Иваныч требует, чтобы присутствовала на беседе его возлюбленная Сусанна. Людмила, желая судить о решимости его, испытывает доктора и дает ему пожевать тарелку овса.

Затем Валерьян выдумывает новую пытку: он дает доктору испытать новый способ передвижения – ракетный велосипед. Неудачный опыт вызывает пожар, но доктор остается цел, невредим и невозмутим.

Осип угощает его зловонным тортом. Но тут разъяренный Егор Егорыч метким пинком опрокидывает торт на головы преследователей доктора. Несмотря на то, что руки у него связаны за спиной, храбрый бухгалтер нападает на двух братьев. Начинается ожесточенная драка, и братья высовывают ножи из карманов. Но страшные их финки оказываются деревянными.

LVIII

Преследуя побежденных и осмеянных врагов по коридору, Егор Егорыч пробегает мимо комнаты Ларвина. Здесь собралась пьяная компания...

Они выбежали в коридор, эти два серых паршивца, я их подогнал к дверям комнаты Ларвина, полуоткрытым (...) Сусанны там не было. Компания: Ларвин, Насель, Жаворонков, несколько родственников Населя – пьянствовали. Они меня встретили подобострастно.

Доктор увидел через мое плечо, что Сусанны нет, и тотчас же ушел, скрылись было и братья, но, увидев, что может пропасть закуска, подсели и тоже начали выпивать. Людмила тоже села. Пели известную песню – с припевом "Уходит жизнь". Пели неплохо, но грубо, вся дикость была здесь, когда еще недостаточно пьяны, что называется "в лоск", но когда уже проявляется грубость.

Право же, если прислушаться, то это походило на волчий вой. Лица у всех были мрачные, сухие, с широкими носами, с железными

скулами, поджарые – особенно в припеве выпадали все звуки и оставался один: "У... у...". Мне подумалось, что все звериные вои опираются на этот звук, мне стало противно, припев расширялся, особенно вытягивалось лицо Ларвина, а за ним тянулись Насель и его родственники с тоненькими мордочками и бухал "у" Жаворонков!

LIX

В коридоре Егор Егорыч встречается с Черпановым. Тот сообщает ему свои проекты и опасения насчет планов Лебедевых и Савелия Львовича.

Егор Егорыч и Черпанов идут к дяде Савелию. Савелий Львович с наглым притворством гласит о своем намерении ехать на Урал. Черпанов обличает его в лицемерии, но чувствует себя бессильным перед таким хитрым врагом.

LX

Доктор Андрейшин решает отыскать того злодея, который был причиной того, что Сусанна оказалась падшей женщиной.

Постучали в дверь. Я уже знаю стуки. Это Насель. Так оно и оказалось.

– Доктор любит подумать, – сказал он, садясь возле меня на койку, – это хорошо, я пока успею с вами поговорить.

– Вряд ли нам есть о чем разговаривать, – сказал я, – я решил на Урал не ехать.

Решение, которое я высказал Населю, вылилось из меня внезапно. Я очень обрадовался этому. Мальчишеский конфуз, что оконфуженный вернусь в больницу, прошел, кроме того, мне, признаться сказать, надоела истеричность Черпанова и особенно последние разговоры с ним. Сверх того я просто гордился тем, что перенес столько испытаний с доктором и мне будет хорошо поделиться в будущем воспоминаниями. Я только жалел, что не сказал этого доктору, но и то, что не сказал ему, доставило мне удовольствие.

– Понимаю, – сказал Насель, – вы снимаете с себя всю ответственность, но я просто хотел с вами лично переговорить, безразлично к тому же, едете ли вы на Урал или нет.

– Поговорить можно. Мне, кстати, вспоминается одна история…

– Маленькая история, – сказал Насель, – а сказать, до такой ли вы степени близки с Черпановым, чтобы знать, получил ли он телеграмму от Лебедевых, как я слышал?

– Получил.

Чрезвычайное беспокойство отразилось в и без того беспокойной фигуре Населя.

– Следовательно, мои родственники не обманулись, и вы читали ее.

– Читал.

– Они выезжают сюда?

Я кивнул.

– Ну вот, так и знал, а все родственники, всем им надо зимние шубы, а нет, чтобы на приличную работу поступить, переквалифицироваться. Убьют они меня, Егор Егорыч.

– Родственники?

– Нет, Лебедевы. Как вы полагаете, громадное влияние имеет на них Черпанов, боятся они его?

– Я думаю, что наоборот.

– И я тоже так думаю. Следовательно, если нам навстречу им поехать или разъехаться, то и это невозможно, Черпанов до их приезда не согласится выехать, он напугался, как по-вашему?

Я подтвердил его соображения.

– Какую власть могут приобрести голые мускулы? Ведь ума нисколько нет, будь бы ум, я бы не согласился, а мне и родственники, и они говорят: действуй, Насель.

– Что, всучили кому-нибудь какие часы?

– Ох, больше, Егор Егорыч. Убьют они меня. Ведь это же звери, а не люди, они, озверев, все могут кулаками раскидать. Единственное спасение, Егор Егорыч, это Ларвин правильно придумал, – устраивать нам коммуну и побить эту грубую силу высотою наших идеалов. Но ведь вот вопрос: кого же нам избрать председателем коммуны?

– Кого? Черпанова, конечно.

– Мы уж думали, Егор Егорыч, но какой же он коммунар, если Лебедей боится? Надо лицо авторитетное, чужое и спокойное. Мы думаем пригласить доктора Матвея Ивановича.

Я рассмеялся.

– Как же? Доктор вас страшно обижал, и вы все его обижали.

— Ну, мало ли кто кого в государстве обижает, а здесь некоторым образом государство.

— Скажите, но кто же это мы?

— Да ведь у нас такая ячейка. Валерьян Львович, да я, ну еще некоторые примкнут к нашему движению. Доктор Матвей Иванович — человек стойкий, крепкий, кроме того, можете быть уверены, что Сусанна Львовна на все согласится, и можете ему передать.

— Извините, я такие гадости не передаю.

— Зачем же гадости, если девушка соглашается быть матерью.

— Матерью? Согласилась?

— Как же, как же. Так что посодействуйте, Егор Егорович. Ведь если б я согласился поехать с Мазурским, все бы шло более прилично, но я отказался ехать с ним к Лебедевым, а он на меня такое наплетет!

— Да что вас с ними связывает, спекуляции, что ли?

Он со злостью плюнул:

— Родственники меня связывают! Просто не решаюсь вам сказать, но вы и на доктора несомненно имеете влияние, укажите ему, как важно и лестно ему быть председателем, тем более, что и Сусанна Львовна соглашается.

— Позвольте, но ведь вы говорите, что Сусанна Львовна любит до такой степени доктора, что соглашается быть его женой и матерью его ребенка, но для меня тогда кажется странным, как же вы думаете провести в вашей коммуне общность жен? Ведь это же — один из лозунгов Ларвина, который вы поддерживаете?

— И буду поддерживать. Повторяю вам, что это единственная возможность воздействовать на Лебедей. Усмирить их неистовство, так сказать. Что же касается доктора и общности его жены, то для него мы проведем исключение.

— Как же так: первая коммуна такого рода в СССР, и председатель коммуны будет иметь отдельную жену?

— Это для него будет отдельная, а для всех будет как бы общая.

— То есть, вы его будете обманывать?

— Зачем обманывать? Это он нас будет обманывать.

Необыкновенная мысль осветила мою голову.

— Позвольте! — воскликнул я. — А не дядя ли Савелий дал вам такие советы?

Насель смутился.

— Что ж, Егор Егорыч, я буду откровенен: он.

– Не советую я вам говорить это доктору.

– Почему же? Разве уж вы так точно знаете его душу? Если он столько времени и с такими лишениями добивался любви Сусанны Львовны, причем, даже, извините меня, ревновал, то ведь ему счастье даром идет. Я вас только попрошу передать дословно, о чем я говорил, а кроме того, с ним и Сусанна Львовна будет говорить.

Я лег на койку. Любопытно знать, что такое они наделали с Лебедевыми и что это за Лебеди? Мне захотелось на них посмотреть. Вряд ли мы завтра уедем. Насель вздохнул, хотел еще что-то сказать, но, видимо, я разговаривал с ним плохо, или просто в силу врожденной его трусости и слабости, Насель, несомненно преувеличивал и силу Лебедей, и сделанное с ними сообща преступление, но все-таки подпольная работа капиталистов, как я наблюдал, тесно соприкасалась с преступлениями, в конце концов они все являлись торговцами краденым, какими-то своеобразными ворами, которые, будучи ворами, все же не сознают, что они воры. Я-то понял это сейчас и думал, что вряд ли у Черпанова могут быть такие чудовищной нелепости полномочия, но проверить мне их не трудно. Конечно, со всем этим будет дикая возня и может быть мне неприятность, но я вел себя глупо, надеясь, с одной стороны, на доктора, с другой – на Черпанова, в конце концов надо и рассуждать собственным умом.

Уговаривая себя подобным образом, мне, конечно, было не до спанья. Я вскочил. Мне хотелось узнать, точно ли караулил Черпанов дядю Савелия. Если он караулит, то, несомненно, исполняет какую-нибудь возложенную на него задачу, пожалуй, действительно, дядя Савелий – самая важная фигура из всех в доме. Я выбежал на крыльцо. Черпанов, покуривая в кулак, стоял в воротах и смотрел одновременно и в окна дома и на двор. Я подошел к нему.

– В конце концов, – сказал Черпанов, – вы, Егор Егорыч, состоите у меня в помощниках, получаете жалованье, но ни черта не делаете. Покараульте хоть часочек, а я на крыльце вздремну.

– Я служу у вас скоро две недели, Леон Ионыч, но не знаю, какой у меня оклад и получу ли я его.

– А хоть завтра.

– Нет, благодарю. Я должен вам сказать, Леон Ионыч, что я отказываюсь от поездки на Урал.

– И прекрасно. Не будете под ногами мешаться. Вот мне надо насчет костюма к Валерьяну и Людмиле идти, а вы туда раньше попали и напакостили, обидели, подрались, а еще сознательные.

– В данном случае, если я с вами пойду, это ничего, кроме пользы, вам не принесет.

— Почему так?

— Они желают доктора избрать председателем коммуны.

— Мысль хорошая. Позвольте, но ее непременно дядя Савелий выдвинул?

— Он.

— Ой, убежит, ой, до чего же хитрый. Слушайте, Егор Егорыч, тогда я вам говорил, как испытание, а теперь серьезно. И даже отлично, что вы у меня не служите, иначе можно было б рассматривать подобный разговор как служебное насилие. За две недели все-таки я вам выплачу, об этом не беспокойтесь. Разрешите вас спросить, Егор Егорыч, как вы относитесь к золоту?

— Да безразлично.

— Нет, к личному пользованию?

— Никогда не было.

— Плохо. Силы не знаете. Но деньги любите?

— Если они нормально добыты и без хлопот.

— То есть, жалованье. Обюрократились вы, а еще молодой. Хорошо, но хотите за одну ночь получить пять тысяч жалованья, самое меньшее.

Я промолчал, — и от неожиданности и от любопытства, кроме того, я знал, что молчание заставляет всегда Черпанова говорить более связно. Он продолжал:

— У вас нет оснований верить в корону американского императора, а у меня есть. И, по-моему, корона эта хранится у дяди Савелия. И я даже знаю, где. Видели вы, на полу стоит плевательница, какая в вагонах употребляется, причем, верх у нее снимается, и он в нее усердно сплевывает. Почему такой человек, который так стильно выдерживает свою комнату, будет держать отвратительную плевательницу, постоянно напоминающую о вагонной пыли. Вы возразите, что купил случайно... Окно открывается. Нет, ветер. И что тут такой гнусный фонарь? Ничего не видно. Нет, такой человек ничего случайно не купит, а она тяжела, ногой не опрокинешь, а по размеру как раз для короны, потому что ее делали не громоздкой, дабы легко было через границу перевезти. У меня есть пять тысяч для организации этого дела, и я их вам отдам, а мне корону. Иначе меня убьют.

— Кто убьет?

— Лебедевы убьют. Никакая это не комиссия, и вообще это несчастьем было для меня, Егор Егорыч, познакомиться, да, собственно, какое это убийство!

— Убийство?

— Мое убийство, духовное, меня как лица. Было у меня маленькое граверное заведение в Свердловске, занятие у меня родовое, и папаша у меня, Константин Пуджогорский, его имел, он был антрепренером, но, спасаясь от воинской повинности в империалистическую войну, открыл для работы на оборону такое типографски-граверное заведение, штемпеля и печати. Тут и подучился я, заведение перешло ко мне. Я это дело расширил и даже очень отличную спекуляцию проводил с печатанием библии, но тоже лопнул и вынужден был поступить на службу. Сами знаете, Егор Егорыч, каково из командования в подкомандование попасть. Скучно! А тут ко мне на улице однажды супчик подходит и прямо спрашивает — не желаете ль подзаработать? Пожалуйста, говорю, но только чтоб нелегальщины никакой. Нет, говорит, мы по спекуляции. И заплатили мне за штемпель солидные суммы. Наделал я штемпелей, знакомства в данной области. И вдруг все исчезло. День, неделя, две — нету заказчиков. Значит, кто-то влопался, а меня заберут. Думаю, надо удрапать. Забираю монатки и на станцию. А тут мой заказчик в поезде уезжает и его провожают несколько здоровенных дядей. Он за несколько минут подводит меня к ним и говорит: вот, окружите и используйте, он у меня деньги и документы украл. Кричать мне бесполезно. Или я карманник или жулик? Что лучше? Молчу. Кончилось, они ему руки пожали, а мне говорят: иди, беги от нас. Я и ушел. А в переулке — раз, по уху. Смотрю — один из пяти. На улице — раз по зубам. Смотрю — другой из пяти. Я убежал, и на бульваре вам описывал, как они меня по затылку огрели. Но сути главной я им не открыл... Они меня привели, и верно, говорят, мы тебя везде найдем, от нас не скроешься. И я поверил. Система воспитания удивительная, я вам скажу. Дают они мне документы, велят усы отрастить. Отрастил. Документы, говорят, на имя Черпанова, поезжай и корону американского императора выкради. Я и в больнице был, и точно меня там доктор видел, удостоверился, что есть такая корона и весь город говорит о ней.

— Почему же они сами ее не могли найти?

— Они ее было совсем нашли и решили, что у Степаниды Константиновны мозги деревянные, ошиблись, а корона-то у дяди Савелия. Почему они уехали — мне неизвестно. Вообще, в этом деле много неизвестного. И зачем им возвращаться, что им мог Мазурский сказать, и куда я побегу с короной, особенно костюм меня убедил. Они мне дали сюртук, чтобы я его для завязки знакомства продал. А теперь, если я их не встречу с короной, они меня убьют.

— Да бросьте, это чепуха, никакой короны нет.

— Как нет? А ювелиры украли золото. Они с ним и разошлись, чтобы с дискредитированным человеком дела не иметь. Очень жаль, что вы с Мазурским на эту тему не поговорили.

Его рассказ о Мазурском меня взволновал. Вначале я думал,

— Мне жаль, Леон Ионыч, но мне просто не верится, что вы самозванец. Такой умный человек, такие удостоверения!

— Да что мандаты! Я гравер. Я вам в течение одного дня сотню удостоверений могу наделать. Это дело плевое. А, кроме того, документы на имя Черпанова были.

— А телеграмма от дирекции?

— Я должен был пойти и кое-что сделать. Я сходил к инспектору. Затем послал телеграмму. Я легализовался. Телеграмма эта меня и смутила.

— Позвольте, но мог настоящий Черпанов появиться?

— А что дурного я сделал против дела настоящего Черпанова? Я же вербовал. Я даже увлекся этим делом. Вот сейчас смотрю и думаю: может быть, этот административный восторг и погубил мою жизнь? Никак не могу припомнить, кто мне эту первую мысль о нелегальной вербовке дал – или доктор, или дядя Савелий. Если доктор, то все правильно, а если дядя Савелий, то обкрутил; он почувствовал, что корона уходит из его рук. Надо, Егор Егорыч, действовать. Я вам открылся.

— Боюсь, что вы все шутите, Леон Ионыч, тем более после того, как я отказался от службы. Мысли же о короне мне кажутся совершенно нелепыми.

— Ну, что ж, можете на меня донести. А вообще советую вам смотаться отсюда. Ну, придут, заберут меня. А что узнают? Если не я, так никому не поймать дядю Савелия с короной! Ведь иностранец-то приезжал.

— Да вы пошутили.

— Пошутил. Пойдите в уральское представительство, и вам скажут, что Черпанов стоит здесь-то. Единственный способ развязать ваши сомнения. Только мне не мешайте. Идите сейчас же.

— Сейчас ночь.

— Можно и ночью, раз такое спешное дело. Валяйте и не собирайте зевак своим растерянным видом.

Я ушел в комнату чрезвычайно смущенный. Не скажи мне Черпанов о представительстве, я бы ушел совсем, но мне было как-то неловко. И если б не разговор с Населем. Доктор все еще сидел на разбитых кирпичах. Несколько раз выходил я ночью. Черпанов все еще стоял. Доктор вернулся вскоре.

что он шутит, но теперь я начинал ему верить. Кроме того, и обычной его самоуверенности было мало и по карманам он не шарил.

LXI

У Сусанны сидит доктор Андрейшин. Она отвечает отказом на все его предложения – посетить вместе Петровский парк, выйти замуж за него, и т.д.

Все чаще в разговоре Сусанны с доктором упоминается о ее воровских похождениях, о короне американского императора и о ювелирах, которых, не получив короны, Сусанна покинула, отдав себе отчет в их болезненном душевном состоянии.

Сусанна, по мнению доктора, больна: она страдает слабоволием и подчиняется тому, у кого воля сильнее.

LXII

Действие еще раз развертывается в коридоре: Насель с великим трудом ломает перегородки. Полусерьезно Егор Егорыч предлагает ему поджечь весь дом.

Подходят братья Мурфины. Они болтают о многочисленных свадьбах готовляющихся с тех пор, как в доме № 42 была объявлена общность имущества и жен.

Черпанов решает собрать всевозможные комиссии и торжествует, узнав, что братья Валерьян и Осип передали заграничный костюм Сусанне.

Весь дом переполошен подготовкой свадеб.

LXIII

Я проходил мимо дверей, возвращаясь, и взглянул на Черпанова. По всему можно было заключить, что волнение его достигло крайнего предела. Он уже не опирался спокойно о воротный столб, а поминутно выглядывал на улицу, наконец, залез на забор, но тут интерес мальчишек от разбираемой церкви переметнулся к нему, и

он вынужден был спрыгнуть, тогда на заборе, в свою очередь, появился мальчишка, который, увидев меня и Черпанова, выразив свистом полное разочарование, скрылся. Жара стояла томительная. Наконец Черпанов подошел ко мне, а это тоже показывало крайнее смущение, иначе б он подозвал меня.

– Так вы настаиваете на том, чтобы я пошел к Сусанне? – спросил он, перебирая свои книжки.

– Мне абсолютно безразлично, – холодно ответил я, – я просто жду доктора, чтобы уйти на вокзал, вы в чем-то заинтересованы, и мне эта непонятная чепуха надоела.

– Непонятная! Вам-то уж никак нельзя сказать, что происходящее здесь было непонятно. Что же вам более всего непонятно?

– Да хотя бы вот ваша функция.

– Я вам ее разъяснял подробно.

– Однако, от этого, боюсь, она стала еще темней.

– Так вы настаиваете? Хорошо, я иду. Вы дядю Савелия не видали?

И, не дождавшись ответа, он пошел вперед, но, сделав несколько шагов, обернулся:

– А разве вы не хотите пойти?

– Я? Нет. Сусанна Львовна обидела меня, а я ее. Нам встретиться будет неприятно.

– Но в данном случае вы явитесь для нее очень интересным вестником, и она вам все простит.

– То, что вы хотите купить костюм?

– Куда! Больше! Берите выше.

– То, что вы хотите обворовать дядю Савелия?

– А вы поверили? Вот и шути с вами. Нет, Егор Егорыч, я пришел к очень ответственному моменту моих соображений. Я решил жениться на Сусанне Львовне.

Я рассмеялся.

– Чего вы ржете? А если она мне нравится, во-первых, а во-вторых, только войдя в круг ее семьи, я могу сплотить вокруг себя необходимое мне ядро. Я удивляюсь, как это раньше не приходила мне такая блестящая мысль?

– Позвольте, но не вы ли поддерживали предложение Ларвина, инспирированное, как вы говорите, дядей Савелием, и сами жалели, что вам раньше оно не пришло в голову?

– А тактически я признаю сейчас необходимым действовать подругому.

— Но вы говорите, что у вас есть инструкции от авторитетных органов, не могут же эти инструкции в одном пункте говорить одно, а в другом другое?

— А вы видали эти инструкции?

— Нет.

— То-то. — Он стукнул себя по голове: — Эта штучка стоит многих инструкций. Вы что же, не советуете мне жениться? Или вы хлопочете насчет Сусанны для доктора? Так вам не отхлопотать. Советую такими низкими делами не заниматься, у доктора и без этого достаточно длинный язык.

— Чтобы вы не думали так, я могу пойти с вами к Сусанне Львовне, тем более, что вы утверждаете, что она рада будет меня видеть.

— И обязательно.

Комната сестер была густо набита народом. Я там увидел пары, которые приводил Ларвин к братьям, было еще несколько каких-то совершенно серых людей, судя по той торжественности, которая была у них на лицах, тоже относившихся к разряду женихов и невест, пол их можно было только отличить по одежде.

Людмила безостановочно вертела одну из невест перед зеркалом, примеряла ей платье, совала ее рукой за ширмы и высовывала... Причем, можно было удивиться, что ширмочка такой удивительной вместимости. Повертывая очередную перед зеркалом, она сказала в нашу сторону:

— А вот еще женихи пришли!

Черпанов одернул платье и сказал:

— Не женихи, а жених.

Ларвин подхватил с сундука:

— Тогда с вас в общую идею.

— Что это еще за общая идея? Идеями я распоряжаюсь.

— Совершенно в вашем плане, Леон Ионыч, мы из него не выпрыгиваем, а только дополняем. Поскольку выходит, что несколько свадеб в один день, а столы у всех разные, то мы решили развернуть один общий стол, объединив, так сказать, всех за свадебным пиром, но вскладчину, а завтра уже, выходит, общность жен, а здесь, видите, и индивидуальные женитьбы, соединение нового и старого, а завтра останется стол, а жен уже не будет. Все выразили этому обстоятельству большое сочувствие, и за этим столом прекратятся различные ссоры, до того раздиравшие наш дом.

— Идея правильная, но как же так вы решаете без меня?

– Без вас, Леон Ионыч, невозможно! Идея ваша, наше уточнение, а председателя стола вы назначаете.

– Хорошо. Я буду председателем. Я тоже женюсь. Сусанна Львовна, не возражаете?

– Давно бы пора, если б вы такой не были занятый.

– Но здесь одна ночь, и затем разворачивается перед вами новая жизнь. Где думаете устроить общий стол?

– В коридоре. Козлы видали? Будут постланы доски, и в том коридоре, где были драки и шум, мы увидим пиршество, а затем, кто знает, вдруг во время пиршества придет нам мысль устроить субботник и сломать все перегородки к чертям. Вообще, знаете, это удивительная мысль, когда рабочий класс живет в квартирах, мы, так сказать, случайные люди в революции, производили совершенно передовые дела. Что значит интеллект. А коридор! Вы не возражаете против коридора?

– Я? Нет. Там места много. Удивительно, что раньше эта мысль не приходила в голову – сделать здесь общественную столовую.

– А главное, будет живописно.

– Живописно? Стойте! Были вы сегодня у дяди Савелия?

– Так, мельком. Он, знаете, тоже на пир приглашен.

– Позвольте, но идея пира вам или ему принадлежит? Живописно! Ясно, что ему! Что он хочет со мной сделать? Напоить? Так я не буду пить и не засну, и не сможет он убежать. Кому принадлежит эта идея?

Он потряс за пиджак Ларвина.

– Уверяю вас, что это общая идея. Верно?

Раздалось несколько голосов, подтверждающих, что идея была действительно общая. Черпанов недоверчиво потоптался:

– Хорошо, я приму сражение. Убежден, что дал вам ее дядя Савелий, нет, не такие у вас мозги. Да вы, Егор Егорыч, посмотрите на эти рожи.

Рожи, действительно, были странные. Напряжение, пот от кухни, жир от приготовлений и новая одежда, носы, глаза – все это было смешно.

– Никто не поверит, а затем Черпанов не такой наивный, но тем не менее, вызов его принимаю, он, может быть, и согласие дал для того, чтобы показать, что не удерет, а на самом деле думает удрать. Теперь приступим к практической стороне вопроса. Кто у вас избран организатором стола? Имейте в виду, что фактически получается так, что этот стол будет одновременно и общим собранием,

столь тщательно нами подготовленным и долго ожидаемым, поэтому к назначению президиума надо относиться сугубо продуманно.

– Все зависит от вас, Леон Ионыч.

– Продовольственной секцией ведает у нас Валерьян Львович, я думаю ему и поручить.

– Отлично. Возражений нет. Принять. Валерьян, валяй на кухню.

– Ну что я понимаю в продовольствии...

Черпанов подтолкнул его. За ним вышло несколько человек. Людмила продолжала примерять и рассаживать на сундук. Невесты сидели неподвижно, как куклы, вытаращив глаза на многочисленные книжечки Леона Ионыча. Черпанов выразил живейшее удовольствие, что приготовление невест идет так быстро, а затем остановился против Сусанны.

– Итак, поскольку вы не возражаете против того, чтобы быть моей женой, Сусанна Львовна...

– Не возражаю? Но ведь мои возражения вас не убедят, да и вы не будете тверже оттого, что вас убедят.

– То, следовательно, Сусанна Львовна, так как нам необходимо председательствовать на свадьбе и все внимание присутствующих будет обращено на нас, вот и сейчас, смотрите, как на нас внимательно смотрят отцы и родственники...

А они смотрели не столько внимательно, сколько растерянно; уж очень ловко превращала Людмила Львовна их детей в женихов и невест, казалось, что она может дать такой совет, что люди погрузятся в такую глубину любви, из которой никогда не выкарабкаться, в которой они забудут все – и пищу даже, и питье; кроме того, им хотелось, несомненно, видеть такое же волшебное превращение у Черпанова, этой глубинной ответственности, – ковров в присутственных местах нигде нет, а в загсе имеется коврик. Это что-нибудь да значит! – думали они, вернее, Людмила Львовна заставила их так думать.

– А пускай смотрят! Можно уйти!

– Зачем уходить? Мы должны тоже с вами уйти за ширмочку и тоже оттуда появиться перед зеркалом! Но, конечно, появление мое перед зеркалом и среди толпы женихов в этом велосипедном пузыре будет смешным. Мы должны обдумать этот вопрос. Раньше всего, никаких приданых. Я враг приданых, и мне даже смешно об этом думать, не для того мы строим общий стол, чтобы возвращаться к этой идее. Однако, тот вопрос, какой я поставлю перед вами, должен возбудить в вас сомнение, поэтому я говорю – за это плачу деньги.

– За меня! Людмила, он за меня платит деньги!

– Да нет, выслушайте. Буду говорить фактами. Вам Валерьян Львович передал за известное вознаграждение костюм...

– Какой костюм?

– Готовое платье заграничной работы.

– А, это зеленое!

– Да нет, говорили, что оно серое. Американцы предпочитают серое...

– Не знаю, что они предпочитали двадцать лет назад.

– Почему двадцать?

– Да что вы ко мне пристали? Вам его надо?

– Но я заплачу деньги.

– Деньги – так деньги, могу взять и деньги, а лучше всего, достаньте мне за него вязаный шелковый костюм такого же цвета.

– Правильно! И немедленно же. Вы наденете зеленый шелковый, а я зеленый... Ну не к лицу мне зеленый. Нельзя ли серый?

– Принесли бы серый, отдала б.

– Так-таки зеленый.

– Да что, я его перекрашивала?

– А ну, покажите! Очень любопытно посмотреть.

Людмила Львовна, как кукол, сняла невест и женихов с сундука. Он загудел, зазвенел, завыл, поднимая свою крышку. Сусанна достала сверток, завернутый в бумагу цвета молодой сосны. Черпанов буквально горел и вряд ли верил своим глазам. Насель, Жаворонков и другие выразили живейшее сочувствие, другие же сожаление, что не сумели содрать с него гигантские деньги, какие может дать он один, что Сусанна продешевит, одним словом, пока Сусанна развертывала сверток – Черпанов даже присел от волнения и как бы заиндевел. Признаться сказать, я тоже волновался, потому что появление костюма, который я считал совершенной и безнадежной выдумкой, очень удивило меня. Сперва мы увидали темную подкладку. Черпанов приподнял руки, как бы умоляя развернуть. Сусанна встряхнула. Я увидел заграничную марку. "Отличная фирма, и подкладка одна и та же, сколько лет прошло, а все одинаково! Вот что значит Америка! А говорят, там нет традиций! Но я понимаю марку, однако, почему одинаковый подклад?" Черпанов говорил это, положив руку на костюм. Сусанна не имела возможности развернуть его. Лицо его посерело, но он старался утешить себя. Его смущали американские традиции.

– Я хотела сделать из него себе осенний жакет, – сказала Сусанна.

– Это было б преступлением! Такие вещи на жакет! Развертывайте!

Она развернула. Брызнуло темно-зеленое сукно и – золотые пуговицы с двуглавыми орлами. Черпанов пощупал пуговицы, стукнул в них пальцем, вообще постучать пальцами всем хотелось. Томительное молчание прервал Жаворонков:

– Очень странные костюмы носят в Америке. Недаром говорят, что там корону заказали нам.

Черпанов воскликнул:

– Позвольте, но это же тот сюртук, который поручено было мне продать!

– Не знаю, что вам поручено продать, но, может быть, и мы попали в число вами продаваемых?

– А почему вы, Жаворонков, не использовали этого костюма для того, чтобы выкроить себе рясу? Ведь это тот костюм?

– Тот, – растерянно подтвердил Жаворонков.

– А неужели, Насель, родственники упустили такое сукно, оно напоминает им время, когда б они могли вас эксплуатировать еще больше. Тот костюм, который я у вас ловил?

– Он самый.

– А вы, Ларвин, неужели и вам он не годился? Куда же вы смотрели, за чем заставили гоняться и тем отклонили меня от главных идей. Ведь это, Егор Егорыч, заговор, явный заговор против моей идеи, и сегодня же надо поставить этот вопрос на президиум! Да что же это такое?

– Позвольте, но вы чего ожидали?

– Того же, чего и вы, Егор Егорыч, – костюм американского миллиардера, который должен был купить известную вам вещь, которая перешла в частные руки из рук государства, но хитрый человек, так как за миллиардером проследили, дал ему переодеться в нашу одежду, дабы он ушел незамеченным. В цене, что ли, не сторговались, но это самая главная улика, говорящая за то, что корона находится в этом доме, все держат костюм, думая, что он явится за известной вещью. Понимаете?

– Но, значит, костюма нет?

– Но вы сами говорили, что есть.

– Я говорил о костюме, который взяла в заклад Степанида Константиновна.

— Никакого костюма я не брала.

— Ага, видите, она не брала никакого костюма. Может быть, вы, Егор Егорыч, присвоили костюм? Граждане, кто продал ему костюм? Егор Егорыч, вы растяпа, никакой американский миллиардер с вами дела иметь не будет, он посмотрит только на вашу рожу, ведь это вареная тыква, а не рожа! Отдайте костюм!

— Да вы с ума сошли, Леон Ионыч!

— Ну вот, изволите видеть, я же и сошел с ума. Конечно, это удобный способ отстранить человека от дела, к которому он приник, но я предвидел это, на это есть испытания. Вот вам... — Он посыпал справки. — Пожалуйста, вот даже по Фрейду и по всему. Все в порядке! Что вы хотите за костюм! И я вам все выкладывал. И он удирает! — Он посмотрел в окно.

— Ну вот, теперь-то Черпанов погиб. Уже поздно!

Он схватил сюртук, кинулся вдруг к выходу. Все уставились в окно. Людмила тоже посмотрела:

— А, женихи!

Я увидел на извозчике несколько здоровенных ребят в черных майках с белыми полосами. Я сразу узнал их по фотографии — эти низкие лбы и русые кожи. Черпанов выбежал, оттолкнул доктора, который смотрел, как он несется по двору, держа сюртук за ворот, золотые пуговицы его блестели.

— Что, он узнал уже?

— Да, в окошко видел.

— Он не мог видеть. Он перелез через забор. Я сторожил возле кухни. Окно хотя и высокое, но мы с вами забыли про ходули. Он подошел к нему на ходулях и вылез. Черпанов сложил в чулане все, что можно было, и даже ключи от чуланов себе взял, но он забыл про ходули.

— Но странно, можно было поставить стол на стол.

— Поставить можно два стола, но этого мало, он так и сделал, один с кухни, другой от себя, но этого мало. Черпанов знал это, и здесь-то и пригодились ходули.

— Позвольте, вы говорите о дяде Савелии.

— Ну да. Вот, видите, и дверь открыта. Совершенно нагло. Боюсь, не предупреждение ли это: спасайся, кто может, и Черпанов бросился спасаться.

Доктор закрыл дверь.

— Да он вовсе не оттого, он, может быть, даже и не видал, что

дядя Савелий скрылся. Он увидал в окно, что подъезжают Лебедевы.

– А так! Тогда бежим за ними.

– Куда?

– Туда, куда и они.

Мы побежали. У ворот с чемоданами стоял извозчик в полном недоумении. Подъезжали еще двое, в руках одного было кресло, кто-то крикнул, мне послышалось, что зовут доктора, да и кресло было какое-то знакомое, но доктор волочил меня за собой.

В конце переулка бежал Черпанов с сюртуком в руках, редкие прохожие спрашивали, черные майки, что-то ответив, продолжали молча бежать. Вообще бег был очень солидный... На лице доктора была написана такая озабоченность, какой я не видал у него никогда...

– Только не подавайте вида, что мы намерены заступиться.

– За кого?

– Лебедевы! Вот они какие! Нет, я не думал про Лебедевых! Мы выпустили из вида спорт, Егор Егорыч!

– Вы хотите сказать, физкультуру, Матвей Иваныч?

– Нет, я говорю именно – спорт. Боюсь, что здесь-то была моя главная ошибка, Егор Егорыч.

Мы обогнули переулок и выбежали на набережную неподалеку от Бабьегородской плотины. Нас спросили, указывая на бегущих:

– А чего это у них номеров нет, что это за пробег? А впереди с зеленым кто?

– Впереди тренер, а машет зеленым, чтобы показать, что все спокойно.

Они бежали друг за другом на таких спокойных интервалах, что никому в голову не могло прийти, что они ловят Черпанова, да и он не хотел, чтоб очень обращали на него внимание, он понимал, что когда попадет на мост, в толпу, то предлог для того, чтобы поймать его, найти будет трудно; он бежал не столько оттого, что знал, что он убежит от них, а сколько для того, чтобы собраться со своими мыслями.

Наконец, он собрался. Как раз неподалеку против дома, принадлежащего некогда Цветкову, он остановился, свернул сюртук, сунул его подмышку, и первый из братьев Лебедей, продолжая бежать гимнастическим шагом, поровнялся с ним и легонько, наотмашь, ударил его! Теперь только я понял весь страх, который испытывал Черпанов от их битья. Никак я не думал, что можно так бить, на это

и со стороны смотреть было страшно, а у меня, как вы знаете по предыдущему, накопился достаточный опыт в данной области. Удар был звонкий, оглушающий, но такой, что как будто лопнули все связки.

Черпанов, по-прежнему поддерживая сверток под мышкой, покатился под откос, он падал очень привычно, не надеясь на снисхождение, вяло, именно так, как мог бы падать человек, испытавший силу кулаков, и тогда я понял, что он мне говорил почти всю правду в последней нашей беседе и он есть именно тот гравер, о котором он рассказывал.

– Отойдите, граждане, – сказал один из них, – здесь идет тренировка!

– Какая же тренировка! – воскликнул было я, но доктор оттащил меня. Мы встали на дороге, так что нас Черпанову не было видно, и он нам не был виден.

Трое из Лебедей повернулись лицом к воде, а двое к нам, сжав кулаки. Признаться, сердце у меня сжалось. Жара, особенно эти кулаки и этот бесподобный удар, нанесенный ими Черпанову, совершенно лишали меня желания драться с ними, но я знал, что здесь для доктора самый чудесный предлог подраться, и недаром же он бежал, так озабоченно сохраняя силы. Лучше б всего мне избежать драки, но я понимал, что здесь-то я непременно буду драться. Однако, доктор стоял неподвижно, прислушиваясь к тому, что бормотал внизу Черпанов. Четверо кулаков, направленных против нас, тоже не обращали внимания на нас, мало ли какие могут остановиться прохожие, к тому же, они прислушивались. Если откинуть спортивные термины, которые употреблял один, я рекомендую читать, откидывая также первый вопрос, который задавался для прохожих:

– Ты?.. Прекрасно!

Удар. Черпанов, видимо, пытался подняться. Молчание. Он встает, желает объяснения. После опыта, проведенного им в Москве, он верит в могущество своей мысли.

– Зачем же ты набирал, когда можно было безопасно ломать комедию?

Молчание.

– Я думал набрать и передать рабочих строительству.

Опять удар. Молчание больше предыдущего раза в два. Плеск воды. Вздох. Черпанов собирается с мыслями.

– Ты?.. Прекрасно.

– Но ты собирал рабсилу по краденому паспорту?

– Но ради моих заслуг!

– Они будут учтены, а основная задача, порученная тебе?

Двое с кулаками, направленными на нас, нетерпеливо воскликнули, им надоело охранять тыл, и они желали участвовать в допросе:

– Мы так и предполагали.

Голос инструктора:

– Все идет прекрасно!

Опять удар. Черпанов долго собирался с мыслями, инструктор воскликнул, но никто не отвечал, я думал, что он упал в воду. Вдруг крик:

– Ну разве с вами сговоришься! Ничего я от строительства, увиденного в Москве, не обалдел. Я вам говорю: корона у дяди Савелия.

– Не трогай дядю Савелия!.. Прекрасно!..

– Прекрасно! – воскликнул доктор.

Удар. Черпанов молчал, боюсь, что он не смог вынести, но он заговорил своим ослабевшим голосом:

– Ты?.. Прекрасно!..

– Ты нашел подлинного Черпанова и с ним сговорился! Мы этого не учли.

– Что мне подлинный Черпанов, я сам себе Черпанов! Я действительно предъявил великую идею, и вот, когда надену костюм, вы увидите!

Здесь они подобной наглости не вытерпели, ударили сразу, но Черпанов не падал, они все сбежали вниз, били его, перекидывая друг другу, он носился среди них, как мешок, но не отпускал сюртука, а словно кланялся. Наконец, он прорвал фронт – и упал в реку.

Если со стороны посмотреть, то люди баловались, они били не так, как бьют вообще, размахиваясь чуть ли не за версту, а сила мускулатуры была с разбегу не более осьмой метра, пинками, так сказать. Ему подали руку, они знали, что он не утонет. Но его не было.

– Утонет! – воскликнул я.

– Нет, – сказал доктор. – Они правильно угадали, что Черпанов ошеломлен московским строительством, но не учитывают силы этого ошеломления.

Черпанов вынырнул метрах в пятнадцати, вначале из воды выныривали записные книжки, карандашики, ручки, показывая след его ныряния, листки, мандаты, печати, затем показались его бутсы – желтые с белым, они плыли, толкаясь носами, быстро потонули, вообще удивительно, что они выплыли. Я думаю, что для придания

себе роста Черпанов насовал такое количество стелек, что они и поплыли отдельно; затем показался он сам, держа в зубах зеленый сюртук. Пуговицы ярко блестели на солнце. Нужно было, чтобы Черпанов доплыл до середины реки, пока Лебедевы осмыслили то, что происходит и что произошло с Черпановым.

Налево был темный свод храма Христа Спасителя, желтый забор вокруг, затем парапет набережной, Каменный мост, напротив – Дом правительства, образовалось нечто вроде опрокинутых качелей, посредине которых плыл Черпанов, – два столба с перекладинкой, причем, перекладинку изображал мост. Ошеломленные, Лебедевы посмотрели друг на дружку и побежали. Черпанов плыл, но так как вид его был странный, то к нему направился катер речной милиции; он прибавил силы, плыл он хорошо, но эти пять фигур с необычайной быстротой бежали через мост – черные с белыми полосами.

Они добежали до моста, катер догнал его у моста тоже, он выскочил и побежал: Дом правительства, как огромный кулак, вознесся над ним. Он бежал впереди, они пересекли улицу и скрылись там, где строят и разбирают дома, он проскочил перед трамваем, они отразились на кирпичном цвете трамвайного вагона. Милиция за ними. Раздался свисток.

– Кто поймает первый?

– Пойдем домой, там нас ждут не менее любопытные события!

– Любопытно, поймают или нет?

– А это разве важно? Они не учли его силы, и сами погибнут при этом, да и он тоже.

Мы постояли. Я вспомнил про человека, окликнувшего доктора, и мы вернулись. Перед дверями в зеленом кресле сидел М.Н. Синицын.

– Мы привезли кресло, а вы разве вернулись, Матвей Иваныч? Приезжаем, кресло товарищу Черпанову, а тут испуг – и все забились кверху. За кого они нас принимают? Никто не берет кресло! И передать некому! Все удрали наверх, не можем же оставить кресло, вот мы и решили кого-нибудь подождать. Хорошо, что вы пришли. У меня готов для вас подарок, Матвей Иваныч.

LXIV

Мы столпились у входа, возле кресла, оно разинуло пасть, как бы моля о хозяине, оно удивительно походило на Черпанова, когда тот упал возле воды, после первого удара Лебедевых, оно безнадежно смотрело на ворота, которые поминутно меняли людей, а не они меняли его.

Я много раздумывал по поводу кресла. Вот символ спокойствия! Вот где человек намеревается как будто просидеть всю жизнь, сидит, обдумывает, прикидывает, посылает корабли в экспедиции, учит детей, обдумывает комбинации, в общем, успех должен сопровождать это сидение – палисандровое и черное дерево, и если неудачно – трах, представление кончилось, как в театре, человек летит вверх тормашками, не насладив тщеславия и не добыв неистощимых денег! Боюсь, не в этом ли особняке началась его честолюбивая карьера и не сюда ли оно вернулось, в этих комнатах и в нем есть что-то общее, оно даже как-то радостно улыбается, смеясь над людьми, которые хотели избавиться от него и доставили величайшее удовольствие. Конечно, оно предпочитало б, чтобы в нем сидел Леон Ионыч Черпанов, но что ж поделать, можно примириться и на другом.

Припоминается мне... На минутку на ручку кресла присел доктор.

– А, Синицын, заграница? Нет, я все еще не управился. Но сегодня мы выезжаем непременно. Делегацию мы догоним?

– Боюсь, что при всем желании вам ее не догнать.

– Я смогу дать потрясающее интервью.

– И интервью вам не дать. Делегация вчера возвратилась. Они очень плодотворно съездили и очень довольны.

Доктор несколько был сконфужен, не тем, что ему не удалось съездить за границу, а тем, что он собирался сегодня выехать, но он мгновенно оправился.

– Ну что ж, я рад, что избавлен от тяжелой обязанности давать интервью. Как ни приготовляй, но всегда постараются подсунуть тебе гадость. Мне двадцать семь лет, и еще много раз успею побывать за границей, я об этом не грущу, но я достиг самого главного. Я могу поставить точный диагноз. Как дело с нашими больными? Я их оставил на ваше особое попечение.

На лице М.Н. Синицына выразилось смущение. Да и на осталь-

ных тоже, видимо, они сочувствовали ему. М.Н. Синицын рад бы был потушить этот разговор, но он не особенно любил отступать, поэтому, для того, чтобы привести себя в должный вид, он переспросил с точностью, всегда доказывающей его внутреннюю тревогу:

— Вы говорите о ювелирах? О братьях?

— Да, я говорю о моих пациентах. Как их здоровье?

— А, здоровье их отличное. Даже, я бы сказал, слишком.

— Вот это и мне казалось удивительным. Приступы... которые должны бы, судя по поставленному диагнозу, показать их неизлечимость полную, казались мне неправильными. Я уже говорил вам, что увидал в этом травму и травму психологического свойства, наиболее легкую из всех, но маниакальный бред указывал на то, что они больны. Мне казалось это ошибкой.

— Вы уже мне об этом излагали. — М.Н. Синицын хотел замять этот разговор, но доктор желал высказать свои мнения, он как бы готовился к тому, чтобы изложить их пред ученым обществом, но я чувствовал что-то неладное в том, как глядел М.Н. Синицын, но доктора было трудно остановить.

— Совершенно верно, у вас мало знаний, но у вас прекрасное чутье, и мы с вами великолепно сработаемся, Синицын. Итак, я стал думать: что же упущено? Все знакомые переспрошены, все их родные — а их мало — здоровы, следовательно, вопрос мог идти только о любовном потрясении, о таком, что они скрывали, не желая этого человека выдавать. Они любили одну женщину, для меня это было ясно. Когда я с ними — в минуты прояснения их рассудка — разговаривал, они подробно и с легкостью рассказывали свои похождения, обычные похождения и ухаживания, — сходились в лесу, где-то сошлись, расстались, но за полгода до болезни нить их рассказов прерывалась. Они занялись работой — и тут они начинали говорить о короне американского императора, над которой, будто бы, начали работать, вернее, разрабатывать план. Затем, за две недели до их болезни, пропадает из ювелирно-часовой мастерской громадное количество золотых часов. Знакомых у них не было. Вопрос в том, с кем они ходили в кино? Я начал расспрашивать о том, какие картины видали в кино, хотя бы по этому установить, ведь знакомство могло быть случайным, уличным. Нет, ни в кино, ни в театре за полгода они не бывали, следовательно, эта возможность миновала. Однако, некоторые намеки на то, что в их комнате бывали женщины и девушка с узким лицом, были. Но это только намеки, которые мне удалось достать один раз, но юридически это не значило ничего.

— Решительно ничего, — сказал М.Н. Синицын, — тем более, что вы влюбились в эту девушку.

— Обождите, но тут товарищам будет более интересно узнать, как я на нее натолкнулся. Никаких следов! Ни в чем! Даже из памяти вытравлено тщательнейше. Но должна быть необычайная красота и необычайная несчастливость. В чем должно было заключаться несчастье ее для таких людей с крепкой волей, упрямых и твердо идущих к своей цели, как братья. Ясно, что в полном безволии и в редкой, какой-то ювелирной и классической красоте, но человек такой, который не знает, кого же предпочесть, человек, который может постоянно уйти из-под вашей воли, которого надо бояться. Их разговоры были, наверное, страшно мучительны, целыми ночами мешали им работать, они стали работать и выдумывать наиболее трудные работы, чтобы показать один другому, что его воля сильнее, чем у брата, — вот здесь-то и возникла идея американской короны, вначале шутя, в поисках какого-то необычайного заказчика, а затем углубляясь — я нашел большое количество литературы, посвященной Америке. Я стал осматривать комнату, где они жили, их платье, в котором они работали, они парни были нежные и добрые, очень хорошие ребята, мне их было искренно жаль, помимо того общественного значения, которое приобрела болезнь и связанная с ней эпидемия! Мне хотелось найти на их платье следы рук женщины; какая-нибудь стежка придает значение, хотя сколько в трехмиллионном городе классически-красивых и несчастных безвольных девушек с узким лицом! Ах! Это узкое лицо и узкие руки! Сколько я их встречал на Петровке! Итак, я осматривал на платье братьев каждую пришитую пуговицу. Так как они рвались от порывистых их движений, то все они оказывались новыми — и вам понятно, что они из одной мастерской. Я стал шарить в столах "Мурфины". Несколько разных сортов! Они их могли купить случайно, но на толкучку они не ходили, знакомых спекулянтов у них тоже не было. Следовательно, их мог доставить только человек, у которого и по настоящее время имеются запасы пуговиц. Я посмотрел справочник, зашел туда, мастерская закрылась как год, но девушка с узким лицом была. Теперь я проделал следующее: в беседе с братьями я сделал резкое движение, так что оторвалась пуговица от брюк, и, положив на стол сломанную пуговицу, сказал: "Вот находятся люди, которые говорят о преимуществах частного труда над общественным, а вот вам разительный пример — государственная пуговица цела, а пуговица, изготовленная "Мурфиными", лопнула". Они изменились в лице и резко отозвались

о частной собственности. Я быстро переменил разговор, дабы не утомлять их внимания. Предо мной возникла такая картина, что преступление должно быть случайным и неудавшимся, причем, я и до сего времени не знаю: было ль у них золото, как они утверждают, — было, но взяли ль его преступники? По-моему, золота не было. Я с Сусанной беседовал. Картина такова. Вы увидите ее подтверждение. Две сестры. Обе здоровы. Хотя и не голодали, но в деньгах нуждались. Задумались над вопросом о бандитизме раньше, чем заниматься спекуляцией, которой их учил заниматься дядя Савелий, и подумали, что таким способом, пожалуй, легче достать деньги. Шли разговоры насчет выбора, но колебались и страха не испытывали, но в одиночку преступления совершить не могли. Шли на вечеринку, встретили там отчаянных парней. Возник вопрос: удобно или не удобно взять их с собой, а пока пошли потолкаться по рынку, над которым задумывались в связи с последними разговорами с дядей Савелием. Заметили торговца, продающего драгоценности. Кто-то не то в шутку, не то всерьез сказал: "Ограбить бы кого-нибудь". Мысль понравилась. Быстро составили план. Рынок стал закрываться. Начали следить за торговцем, пошли за ним с рынка, но ограбить не удалось, помешали. Тогда сестра вспомнила молодых ювелиров. Иногда они брали работу на дом, а тут хвастались, что им дали починить несколько хронометров золотых... Пришли, послали вперед, по жребию. Пошли и, постучавшись, сказали: "Жилищная комиссия по осмотру квартиры". Впустили. Стали осматривать квартиру, ходили минут двадцать-тридцать, но никаких намеков на хронометры не нашли. Юрьевы в тот день их не брали. "Надо решаться или уходить". Хотя и раньше сестры уговаривали — "не причинять вреда", а тут вред выходил — надо было допрашивать. У Икса был револьвер. Тот выхватил и наставил. Ювелиры сказали, что ничего нет. У них, действительно, ничего не было. Стали искать сами. Но тут вошли сестры, которые, увидев револьвер, закричали: "Икс, брось!" Ювелиры тоже закричали. Тогда те бросились и убежали. Сестры больше не появлялись. Вначале ювелиры думали, что ослышались, но затем решили, что она — наводчица. Они были у ее родителей. Вы сами испытали, как они могут производить чарующее впечатление, когда захотят, и как их трудно вывести из себя, мы тоже испытали. На Юрьевых, людей наивных и замкнутых, родители произвели впечатление полной честности, помилуйте, не жалуются, что разорили, и с охотой поступили на государственную службу! Они считали, что это уже огромный перелом для человека, если он поступил на госу-

дарственную службу. Теперь надо было сказать родителям, но в то же время что-то и утаить, дабы их не расстраивать, вообще, решили забыть и работать, но разгоревшееся честолюбие пошло дальше, они вообразили, что у них – если желают ограбить – хотели отнять необыкновенное предприятие. Вот тогда они и начали рассказывать о короне американского императора. Казалось бы, они должны были скрытничать и держать про себя, но нет, они грабителей хотели уязвить – и, может быть, вернуть. Отсюда можно проследить рост легенды о короне американского императора. Место, где они жили, возле Сухаревской башни, давало обильный плод для того, чтобы легенду эту разнести по Москве. Они бродили по рынку и беседовали, к тому же, стали выпивать, а на рынке бывает 100 000 человек ежедневно. Происшедшее ограбление, конечно, не имеет связи с ними, но повлияло на их душевное расстройство чрезвычайно...

– Ну, как сказать! – воскликнул М.Н. Синицын.

Он любил театральные эффекты. Он встал, распахнул дверь, сделал пригласительный жест – из дверей вышли братья Юрьевы... Они сконфуженно улыбались. Доктор был возмущен необычайно, я его никогда не видел в подобном состоянии. Он накинулся на М.Н. Синицына. Он кричал и даже затопал ногами:

– Это безобразие! Пользуясь своей властью, вы увели больных и заставили их выслушать мой рассказ. Я потребую снятия вас с работы! Да это что, вы испортили мне все вашим невежеством! Вы понимаете, что вы наделали! Вы закрепили их травму!

– Успокойтесь. Что касается того, что меня снять, то меня и без того сняли с работы. Единственный и последний раз в жизни я оказался удачным врачом. Пользуясь вашим разговором, тем, что вы обещали поставить правильный диагноз, и тем, что их лечили уже полгода, таская по различным больницам, я подумал: а не полечить бы мне их по-своему? Оказалось, в тресте точной механики – знакомые ребята. Я попросил у них инструменты и материал. Отпустил ребят и вот уже пятидневка, как они здоровы, а вчера их выписали.

– Но вы их не должны были сюда приводить. Они могли увидеть ее. Это чрезвычайно опасно.

– Я тоже подумал, но если б не особенные обстоятельства! Сдаю я сегодня свои дела по больнице, – а вдруг появляется передо мной Савелий Львович Мурфин. Желаю, говорит, открыться, так как узнал, что выздоровели ювелиры, имею к ним близкое отношение, – и вообще посоветоваться. Ограбление совершили Лебедевы.

— Лебедевы?

— А тот как же? Им надоела власть Мурфиных и то, что они исполняют при дяде Савелии роль следопытов. Захотели жить самостоятельно. Подговорили Населя и Валерьяна. Насель руководил, но и отказался продавать награбленное, и тогда они испугались и уехали на Урал, а Мазурского оставили следить за дядей Савелием. Мазурский посватался — об этом речь позже. Они решили свалить все дело на ювелиров и подговорили Валерьяна пойти к ним. Они даже сунуть кое-какие вещи должны были, но не грабить... Теперь, узнав на Урале про корону и про то, что Мазурский вздумал жениться на Сусанне Львовне и может их засыпать, они не решались сами ехать в Москву и послали разузнать обо всем Черпанова, рассказав, что Жаворонков там главное лицо и что у него есть корона, которую Черпанов должен достать всеми силами. Они думали, что Черпанов, в поисках короны, всех разгонит и тогда пропадет возможность их вообще засыпать. Выслушав Савелия Львовича, я позвонил в МУР, а девицы, увидев нас, решили, что мы приехали с агентами МУР'а. Меня же за то, что я взялся за врачевание, да особенно таких важных больных, как Юрьевы, сняли с работы. Да если вдуматься, то и правильно, но я применил просто те способы терапии, какие думали применить вы, но, конечно, это было безрассудно. Теперь меня, кажется, хотят в театр перекинуть.

— Напишите пьесу, — сказал я.

— Для пьесы, помимо наблюдений, которыми, конечно, я могу гордиться, необходимо дарование. Что такое, в сущности говоря, пьеса?

— Да что пьеса, если рассматривать ее формально, — сказал доктор. Он уже успокоился и сел в свою обычную позу, скрестив ноги. — Существует много мнений. Мы, врачи, часто путаем законы врачебной психологии с законами искусства. С точки зрения искусства герои Достоевского все здоровы, а с точки зрения врачебного — больны, что доказывалось много раз. Точно так же и о Шекспире... Он внезапно повернулся к ювелирам: — Вы ее любите еще?

— Нет.

— Я прочту доклад, а вы его будете иллюстрировать. Он будет публичный. Мы разобьем легенду короны. У меня есть много исчерпывающих фактов. Но вы должны выступать только в том случае, если ее действительно разлюбили.

— Как можно любить такое отвратительное явление?

— Вам сколько лет?

– Двадцать один и двадцать три.

– Какая разница! А мне двадцать семь, и я уже думаю иначе. Но вы выздоровели, я рад.

Я не буду описывать, как появились агенты МУР'а и с ними дядя Савелий, который указывал на всех и даже на меня, но меня не взяли. Мне очень было жаль, что не было еще никаких сведений о Лебедях и Черпанове. Увезли и Сусанну. Дом был опечатан. Обитатели дома № 42 выдавали друг друга, особенно старался дядя Савелий, но его чрезвычайно смутило то, что свободно уходил я. Здесь он увидел свою гибель. И он был прав.

Доктор мне сказал:

– Вы значительно возмужали за эти две недели, Егор Егорыч. Как приятно, что Юрьевы могли так легко излечиться от любви. Сусанну заберут в колонию, она узнает о моем докладе, и увидит мою волю, и будет перевоспитана. Я женюсь на ней. Я ее люблю.

– По этому поводу мне вспоминаются две истории...

Он рассмеялся впервые моему анекдоту. Я был чрезвычайно доволен.

– А, правда хорошо?

– Что именно?

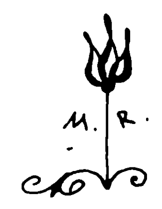
– Да вот то, что я рассказал.

– Я не слышал.

– Но вы смеялись.

– Я смеялся над тем, что... – Он остановился. – Не обижайтесь. Анекдоты ваши не смешны, и ваше счастье, что вы их рассказываете редко. Я вас люблю, я рад, что приобрел здесь друга. Я вами горжусь. Мы будем вместе работать.

И он пожал мне руку. Мы шли вечерней Москвой... Она была пленительна.



Imprimerie «Syntaxis»